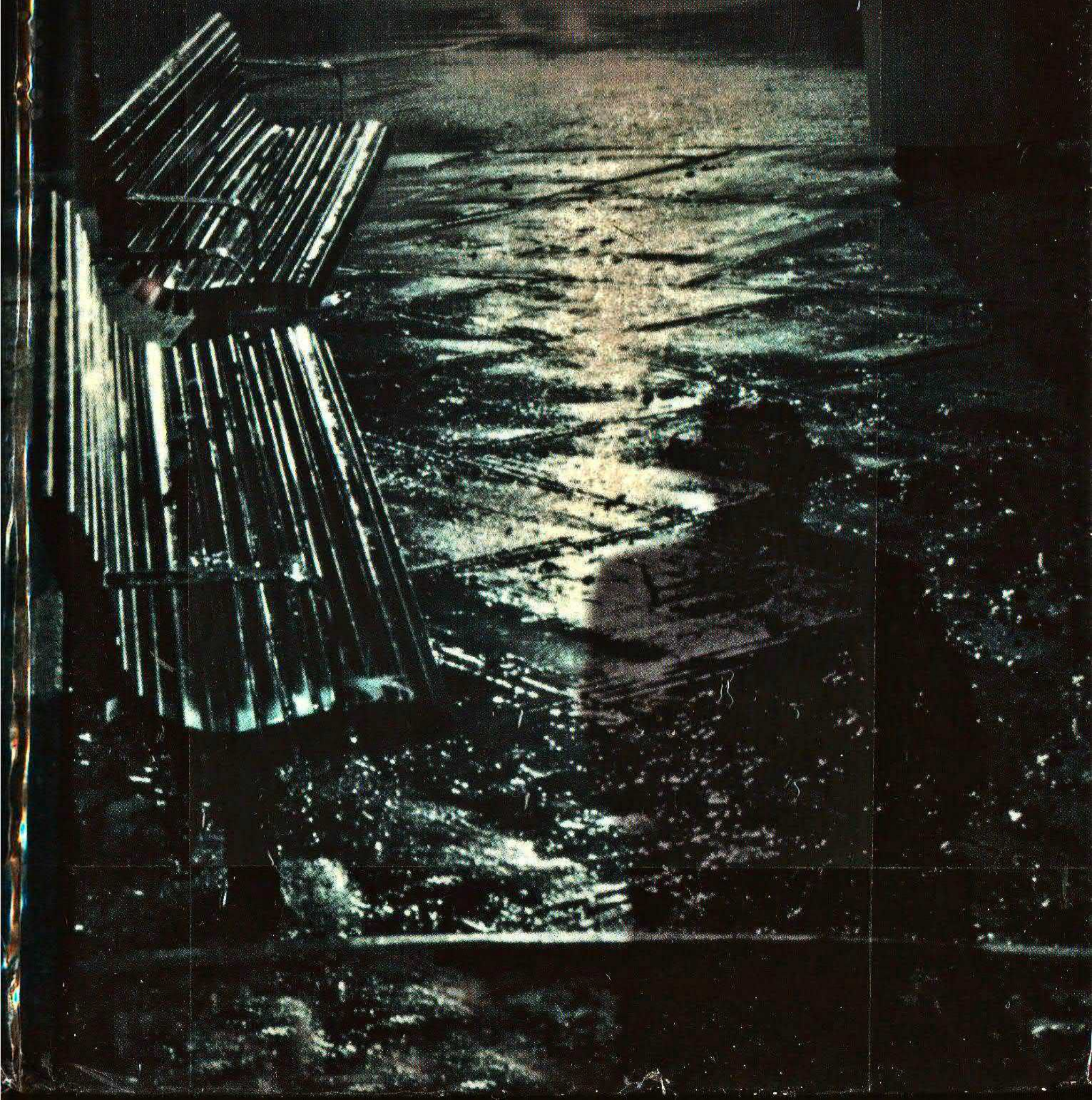


даниил гранин

*Все было
не совсем так*



даниил **границин**

*Все было
не совсем так*



ОЛМА
МЕДИА ГРУПП

Москва
2010

ББК 66.4 (2 Рос)

Г 77

Гранин Д.

Г 77 Все было не совсем так. — М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. — 576 с.

ISBN 978-5-373-03322-0

Даниил Александрович Гранин – лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей. Его имя давно уже стало символом не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Это писатель с потрясающей судьбой, наряду с талантом обладающий еще и набором лучших человеческих качеств.

Новая книга Даниила Гранина удивит читателя. В ней нет конкретного сюжета и главного героя, намеренно нарушена хронология, рассказы сменяются краткими заметками и воспоминаниями автора, смешное перемежается с трагическим, сложное – с простым. Нарушены все общепринятые нормы, но читать текст при этом – безумно интересно. Потому что из отдельных историй, мыслей и эмоций автора сложилась яркая картинка, противоречивая и неоднозначная, как сама жизнь.

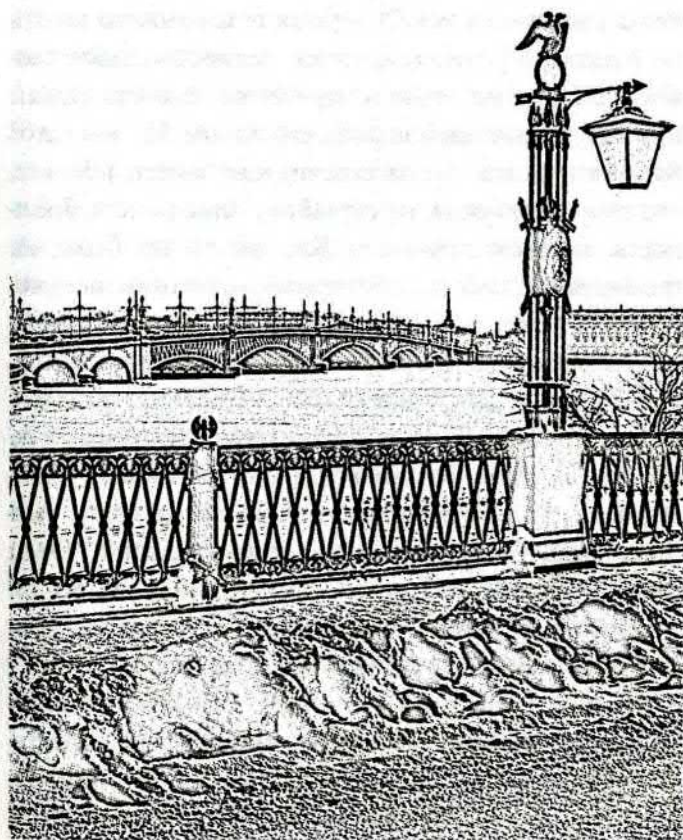
ББК 66.4 (2Рос)

ISBN 978-5-373-03322-0

© Д. Гранин, 2010
© ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010

Мне достался мир постоянно воюющий, суровый, где мало улыбок, много хмурого, мало солнца. Обилие талантов и запретов. Я попал в него не в лучшую пору. В этом мире мне тем не менее повезло. Мне достались времена трагические, весьма исторические, главное же, от них осталось сокровенное чувство счастья — уцелел!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Как человек появляется на свет Божий, как он растет в первые свои годы, как становится человеком — ему самому неведомо. Начало жизни в памяти у него не остается. Самое важное пропадает. Память о детстве появляется к трем-четырем годам, когда начинается «я». О первых годах можно узнать по рассказам родителей, нянек, какие-то сценки, словечки... Природа зачем-то прячет от человека самый нежный, сладостный период его жизни. Но для чего? Какой-то смысл это засекречивание имеет, ибо все, что творит природа, не случайно, отнюдь не небрежность, не злокозненность. Как бы то ни было, Д. появился на свет в собственном сознании поздно. Даже не в три, а, скорее, в пять лет.

Он застал своего отца старым. Много старше, чем другие отцы. А мать была молодая. Ее рядом с отцом принимали за его дочь. Отец смущался, и Д. страдал за отца. Только когда они оставались вдвоем, жалость к отцу проходила. И то не сразу. Для этого надо было, чтобы они куда-то шагали. Отец опять становился сильным и неутомимым. То же происходило, когда отец размечал лесосеки, делал зарубки, определял, откуда взялся сухостой, жучок.

Жизнь Д. сложилась не очень обычно с первой минуты появления на свет Божий. Можно сказать, что появился он в самый неподходящий момент. Под Новый год. Прямо на балу. Испортил матери

праздник. Ее увезли от стола. Или с танцев. Позже она утверждала, что, несмотря на беременность, танцевала. Она была танцунья, певунья, и Д. мог бы подождать со своим появлением годик-другой. А уж сутки — наверняка. Тем не менее он, словно нарочно, появился именно под Новый год, причем данные расходятся: то ли он все же успел проскочить до боя часов, то ли после.

Я никогда не видел его в младенчестве, но сохранилось несколько фотографий — пухлый, круглоголовый младенец, с довольно смышленными глазами, сильный и, судя по рассказам, имел весьма здоровые легкие.

Рождение в новогоднюю ночь, несомненно, сказалось на его веселом и в то же время задумчивом характере, поскольку под Новый год обычно обновляют надежды, отказываются от вредных привычек, берут всякие обязательства, так и он не раз начинал новую жизнь, в итоге у него набиралось несколько разных жизней.

Несмотря на некоторую досаду, мать была рада его появлению. Он был первенец, и наверняка его можно считать желанным ребенком. Для отца — несомненно. Батюшка торопился закрепить за собой молодую жену. А чем их привяжешь — детьми. «Брюхатить их надо», — повторял еще и в шестьдесят, и в семьдесят лет. Как-никак разница у них составляла двадцать пять лет. С первой женой разницы не было, а с этой приключился большой разницей.

Быть желанным ребенком не всегда удастся. Потом, может, тебя и полюбят, но важно, как тебя зачинают. Надежды, любовь, которые оба, мужчи-

на и женщина, вкладывают в миг зачатия, многое определяет. Биологи могут не учитывать непосредственного влияния психологии на качество зародыша, но сестры в родильных домах, те четко различают желанных и нежеланных младенцев.

Итак, он был желанным, и это не раз помогало ему, наделило его способностями, здоровьем, я бы даже сказал, удачливостью.

Плодите желанных детей!

Несколько смутных картинок, загадочно-безымянных, вот и все, что имеется в распоряжении Д. о начале его сознания. В течение первых трех лет завершается становление личности. Ибо главное, как считают генетики, закладывается в наследственном коде, который в свою очередь создается в таинственный и прекраснейший миг зачатия новой жизни.

Итак, первая пора детства Д. в основном известна лишь по рассказам родных, отдельные картинки, словечки, выхваченные из тьмы.

Мать была красавицей. В состав ее красоты входил ее голос и фигура. Д. любил ее голос, наверняка она пела над ним, когда он был еще маленьким, этот чистый высокий голос вошел в него вместе с грудным молоком.

С ее голоса все и началось у отца, когда они еще не были отцом-матерью. Отец был тогда лишь командировочным, попавшим в Литву по делам. Шел он по своим делам и услышал в переулочке пение. Он свернул туда, пошел на голос как замороженный... Впрочем, не будем преувеличивать. Не такой уж он был мечтательный юнец, не был он и искателем приключений. Это много позже расцвело в их

рассказах: «Услышал, как я пою...», «что-то повело меня...». Думаю, что, скорее всего, он просто плутал, ища в незнакомом городе контору, куда направлялся.

Итак, услышал над собой голос, посмотрел наверх и увидел свисающую из окна ножку. Она, ножка с пальчиками, розово просвечивала на солнце. С ножки свисала туфелька. Все это хозяйство принадлежало девице, которая восседала в окне второго этажа, там она шила и пела и болтала голый ногой, вторую поджав под себя.

Ножка была безупречной формы, той самой, которая нравилась Александру, в дальнейшем — Саше. У каждого мужчины к женской ноге есть свои требования. Эта ножка могла претендовать на всеобщий эталон. Будучи выставленной отдельно, она являла бы классический образ. К тому же ножка эта двигалась, видна была до колена и чуть выше. Так что на Сашу действовали и звуковые, и зрительные, и, я бы сказал, эротические силы. Неудивительно, что он застыл перед этими силами с раскрытым ртом. Вид у него был такой, что сверху раздался смех, нога дернулась, туфелька упала перед ним. Далее все развивалось с фатальной неизбежностью. Он поднял туфлю, зашел в подъезд и поднялся в белошвейную мастерскую. Ножка и туфля принадлежали прелестной особе, так показалось ему, все у нее соответствовало голосу. Можно представить себе его вид: провинциал в суконном пиджаке с брезентовым портфелем, в парусиновых туфлях, ошалевший от множества смеющихся женщин, стрекота швейных машинок. Он протянул девице туфельку, девица возьми и поцелуй его, чмок-

нула в щеку, а он хватать ее и в губы, видно, она чем-то ответила в этом поцелуе, что-то, несомненно, произошло внутри поцелуя, потому что всякий поцелуй имеет свое внутреннее содержание. Отцу помогло то, что он изобразил смешок — опыт обращения с женским племенем у него был. Вечером они уже гуляли в парке. Девицу звали Анной. Он называл ее Ньюрой. Три вечера подряд они куда-нибудь отправлялись. Побывали в кондитерской. Катались на извозчике: шикарный экипаж с фонарями, на красных рессорах, извозчик был с малиновым кушаком.

Пока что знакомство их выглядело забавой. С его стороны — солидный господин, отец семейства, он сам подшучивал над собой. Несомненно, он выбрал правильный тон. Никаких неприличных поползновений. Не было больше ни поцелуев, ни объятий. Он держался с ней по-отечески и покровительственно, она кокетничала вовсю, напевала, хихикала, принимала театральные позы, демонстрируя свои достоинства. Их разделяла целая жизнь. Она была девушкой, он же имел жену, дочь, которые жили в Киеве, то есть бесконечно далеко от нее, от этого литовско-русско-польского города.

Они оба делали вид, что их встречи ничего не значат. Она была из большой бедной семьи с множеством братьев и сестер, где никому до нее не было дела. Во всяком случае, она не спешила домой. Она была белошвейка, у него же как-никак было положение, он работал на лесной бирже, какое-то у него имелось дело, поддела, четвертушка, дохода не было, но прочность была.

Перед отъездом он повел ее в настоящий ресторан. Она раздобыла праздничное платье. Сам он был во второй раз в жизни в ресторане, для нее же это было невероятное событие, чудо. Она ахала, не стесняясь своего восторга, вертела хрустальные бокалы, гладела на официантов в черных костюмах.

Конечно, он пускал пыль в глаза этой девочке. Вильна была в те годы провинцией по сравнению с Киевом, а пыль пускал потому, что решение созревало. Сам он о своем решении не знал. Он лишь не хотел отрезветь, опомниться.

Произошло ли объяснение в самом ресторане или позже — неизвестно. Стороны расстались растревоженные... Александр уехал, далее события стали убабываться. Когда вернулся в семью, стало ясно, что надо разводиться. Будучи человеком дореволюционных понятий, наш герой, вернее, отец нашего героя относился к разводу серьезно, считал это событие не менее ответственным, чем женитьба. Более ответственным. Потому что новая женитьба ничего не требовала, кроме свободы и решимости. Развод же требовал обеспечить прежнюю семью средствами к существованию. Такие у него были понятия. Вообще развод был катастрофой, но катастрофу остановить он не мог. Нужны были деньги, много денег, которых у него не было. Для него, мелкого служащего, сумма неподъемная. Раздобыть — где, как? Не было хода назад и не было — вперед. Тут были и другие обстоятельства, неизвестные нам, все они вели в отчаяние. Вот об отчаянии мы знаем точно из того, что произошло дальше.

Его посылают в Петроград, в командировку. Там у него был приятель, огромный толстяк, выпивоха.

Спустя годы Д. еще успел увидеть его и запомнить. Они выпили, и Саша рассказал ему о своей беде. Признался, что готов на себя руки наложить.

Вполне возможно, он уже имел какие-то обязательства перед Анной, мало ли — обещал ей, расстроил ее помолвку с кем-то. А может, все же что-то было между ними, и такое, что по его понятиям не позволило ему отступить. В те времена невинность девушки почему-то высоко ценилась и, соответственно, много для нее значила. Нынешнему человеку даже трудно понять такое трепетное отношение к этому чисто условному препятствию.

Выслушав его признание, приятель предлагает единственное — отправиться в игорный клуб. У Александра имелись при себе казенные деньги для закупок лесосек, вот на эти деньги и сыграть, прежде чем руки на себя накладывать. Логично? Пропадать — так с музыкой! И повел его во Владимирский клуб. То было известное заведение, где действительно гремела музыка, был ресторан, все это состояло при зеленых ломберных столах, при рулетке — короче, при игорном промысле.

Февральская революция 1917 года уже произошла, а рулетка все так же крутилась. О крупнейших исторических событиях современники часто понятия не имеют, много позже они читают об этом в книгах, обнаруживают в кинофильмах — оказывается, рядом что-то происходило.

Старик Меженко, известный библиограф, уверял меня, что Октябрьской революции как таковой не было: «Уверяю вас, я как раз 25 октября 1917 года вечером на извозчике проезжал мимо Зимнего дворца, все было тихо. Посидел в гостях,

возвращался через Дворцовую площадь, опять ничего не заметил».

Во Владимирском клубе играли по-крупному, Александр смотрел-смотрел, вообще-то в карты он играл, в преферанс по копейке, но имел большую азартность. Жалованье, конечно, не позволяло развернуться, здесь же ставки делали неслыханные. Он взял да и купил фишек на все казенные деньги, какие ему были выданы, так что переступил. Честь, наработанную репутацию, доверие — все переступил.

Как вы понимаете, поставил на кон свою судьбу, и тут же рядом с его судьбой встала на кон и еще крохотная судьба нашего будущего героя. Обе они принялись уговаривать Фортуну. Повязка на глазах мешала ей видеть Александра, может, оно и к лучшему — вид у него был не гусарский. Хотя состояние его передалось, и ему «пошло». Выигрыш за выигрышем, пока он не достиг нужной ему суммы для развода. На этом он остановился, сгреб все денежки и сбежал.

В его натуре таился игрок. Рулетку же видел впервые. Рулетка, она игра обнаженная, она наглядная игра, она — чистый азарт.

Как он удержался от продолжения, как обрубил свой азарт... Для игрока это наиболее трудное. Ему помогла любовь.

Много позже в помещении клуба открылся театр. Сохранился грот, отделанный диким камнем, и залы. В каком из них шла та игра, Д. не знал, он бродил по фойе, пытаясь представить, как все происходило. Буфет, стойка, стеклянная стена, столики, женщины. Выпил ли отец, выигравши, помолился ли, отблагодарив Бога за удачу...

Бывая в этом театре, Д. испытывал странное чувство, давнее волнение отца как бы передавалось ему: память стен? Память места?

Итак, отец выиграл развод, а значит, освобождение, значит, молодую жену и новую жизнь. Решил он ее начать на новом месте. Все заново. Выигрыш отдан прежней семье, отец остался на нуле. Но в сорок четыре года он чувствовал себя полным сил, а главное — счастья. Он был свободен и любил. Для этого человека счастьем было любить. Для некоторых важно быть любимым, ему же нужно было иметь, кого любить.

Быстрый крупный выигрыш этого новичка в рулетку говорит о том, что браки действительно заключаются на небесах. Думаю, что занимаются там этим делом не от скуки и не из любопытства, а потому, что, если призадуматься, это есть важнейшее в жизни человека и человечества. Удачные браки создают устойчивость общества, генетический отбор, атмосферу любви и прочие радости. Вы спросите, а как же неудачные браки? Думаю, они тоже нужны. На примере Александра видно, что первый брак его устарел, испортился и, чтобы появился наш герой, нужен был совершенно новый брак. В этом Д. был твердо убежден, поэтому так и способствовал этому еще до своего появления. То, что он появился еще до родов, он был в этом уверен, ибо не представлял себе мира без своего хотя бы незримого присутствия.

Заявил Д. о себе, как я уже говорил, на новогоднем балу. Посреди праздника начались схватки, наш герой, услышав музыку, звон рюмок, постучался в

этот мир. Действия его свидетельствуют не о себялюбии, а скорее о любопытстве. В дальнейшем дата его рождения вызвала споры, проскочил ли он до боя часов или после, обстоятельство немаловажное при призыве в армию и прочих его делах, оно позволяло ему становиться то старше, то моложе. Рождение в новогоднюю ночь сказалось на его характере с постоянным желанием начать жизнь по-новому, без вредных привычек.

Несмотря на срыв мероприятия, мать была рада его появлению. Отец тоже был счастлив безмерно. Ребенок был зачат в разгар их любви, в самый ее романтический период. Александр пребывал в состоянии сказочного принца, который извлек Золушку из бедственного захолустья, выиграл, можно сказать, в рулетку, привез в столицу. Разница лет в ту счастливую пору придавала прелесть их отношениям. Анна не могла опомниться от чудесной перемены своей жизни, от того, что смогла вскружить голову такому серьезному мужчине, из-за нее он бросил семью...

Появлению Д. все обрадовались. Хотя для той эпохи он был ни к чему, поскольку эпоха была не для новорожденных. Младенцы не могли благоденствовать в двадцатые годы XX века, особенно в Петрограде. Там наступила голодуха. Шла Гражданская война. Колыбель революции для младенцев не годилась, поэтому семья переместилась в деревню, поближе к лесу, лесозаготовкам.

Постоянно борются забвение и память, не поймешь, что именно мы забываем, почему этого человека, хорошего, умного, мы забываем, а никчемного помним. Что-то памяти удастся отстоять, что-

то удастся изъять. Остатки те, что сохраняются, это и есть — личность, она состоит из воспоминаний, и прежде всего детских.

Воспоминания, если угодно, нуждаются в уходе... Их полезно перетряхивать, освежать, осмысливать, особенно ранние. Неслучайно Лев Толстой начал свою работу с рассказа о детстве. В двадцать восемь лет он занялся воспоминаниями, тем, чем обычно кончают. Максим Горький стал писать «Детство» в сорок пять лет. А Михаил Зощенко писал «Перед восходом солнца» в сорок девять лет и долго мучился, пытаясь восстановить самую раннюю память свою, прапамять. И в этом деле добился редких результатов, это был удачный опыт такого рода реставрации памяти. Однако, думается, что работы его были бы тем легче, чем раньше он занялся бы ими.

Любимец Мнемозины Владимир Набоков лучшим способом доказал, что детство — родина писателя. «Другие берега» выстроены из сокровищ детской памяти, это торжество детской памяти. Каким-то чудом он сохранил свежесть ее красок, запахов, ощущений.

«Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике кучерский зад с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке, они показывали двадцать минут третьего». Окончание фразы должно подтвердить фотографическое устройство набоковской памяти.

Однажды, будучи в США, в Канзасском университете, я разговорился с бывшим приятелем
16 В. Набокова. Он рассказал любопытные подроб-

ности, как Набоков ухаживал за своей памятью, можно сказать, лелеял ее. К примеру, в годы своей жизни в США, а затем в Швейцарии, он не обзаводился собственной мебелью, книгами. Жизнь в гостиницах, пансионатах позволяла это. Он всячески избегал приобретать вещи — они, как он считал, отнимают память. Он старался сохранять мир своего детства во всех микроподробностях нетронутым.

Что касается моего героя, он растранижил свою память, у него осталось лишь несколько бессвязных картинок, клочки. То, что происходило между ними, — неизвестно.

Спустя три года после рождения мы застаем нашего героя в деревне Кошкино. Отец его занимался там лесозаготовками для Петрограда, который в те времена отапливался исключительно дровами. Леса окрестных губерний сводились на дровишки. Эшелоны шли к столице. И зимой, и летом. Ибо летом тоже топили плиты, на них готовили пищу.

Кто бы мог подумать, что придется объяснять такие вещи, как дрова, вязанка дров, поленница, дровяные склады, дровяные биржи, баржи, которые везли эти дрова в город. Дрова, дрова... Детство моего героя проходило, можно сказать, среди дров. Точнее, на границе между лесом и дровами, в том промежутке, где лес превращается в бревна, доски, баланс, пропс, рейки, клепки, дрова, опилки, живицу, деготь, дранку...

Дрова сопровождали его еще много лет, последнее из всего набора отцовской жизни. Василюстровского района

От Кошкина сохранилась в памяти всего одна картина: к окну на лодке подплывает отец. Диковинная, как сон. Долгое время она так и висела, отдельная, непонятная, ничего кругом, только окно, у окна Д. с кем-то, и на лодке подгребает отец. Во взрослости, уже старея, Д. вдруг попробовал выяснить, что же это могло значить, каков смысл этого видения? Оказалось, что так действительно было, в деревне Кошкино произошло наводнение, и отец приплыл на лодке, взял их из избы и увез. Его трехлетнего. Пожалуй, это было самое раннее воспоминание. Ничего из детства до этого он не помнил. Может, что и было, но, как и большинство людей, он запустил свои воспоминания, они заросли, заглохли. В силу необычности осталась лодка у окна — ошеломление памяти.

За первой картинкой следовали с неизвестными промежутками:

...Лошадь обмерзлая, мохнато-седая от инея, пока ее запрягали, он общипывает намерзшие на нее сосульки...

...Собака воеет, кидается на дверь, мать выпускает ее, она мчится в ночь, потом прибегает назад, тащит мать, та идет за ней и находит отца на дороге. Он бредет, опираясь на ружье. Оказалось, когда он возвращался, за санями погнались волки, лошадь понесла, сани перевернулись, отец подвернул ногу...

...Горы опилок вокруг пилорамы. Лучшее место для игр. Вместо песка песочницы — пахучие опилки. Внутри, когда зароешься поглубже, они теплые, еще глубже — горячие. Опилки лежат слоями: жел-

тые, белые, красноватые, кремовые, коричневые, смотря что пилили...

...Рейки, которыми сражались, рейки-пики, рейки-шпаги.

...Лыжи, сделанные отцом, с веревочками, с палками, а на палке — деревянные кружочки, а лыжи — широкие, натертые свечкой.

Картинки следуют все чаще, пока не сливаются уже в связные воспоминания. Примерно отсюда можно было начинать рассказ о детстве. И далее переходить к истории формирования моего героя, которая, пока она не написана, кажется интересной для всего человечества, на все времена. Таково преимущество ненаписанных вещей, они всегда хороши.

Однако, разглядывая разные сценки, я, несмотря на нетерпение героя, вижу не столько его, сколько его родителей.

Уехав из Петрограда, они перемещались из одного лесничества в другое. Гражданская война полыхала поблизости, заглядывала светом пожарищ. Налетали банды: то белые, то красные, то зеленые; наверняка происходило что-то значительное, можно сказать, историческое, о чем герой мой не знал, потому что не расспрашивал, он упивался своей ребячьей жизнью, считая ее несравнимо интереснее, чем все то, что происходило с родителями, да и со всей страной.

Если бы он читал Фрейда, то знал, что становление личности происходит с четырех до восьми лет. И родители его не читали Фрейда, да и что это могло бы изменить. Им помогала любовь, а остальное решали картошка, керосин, валенки.

Хоминг — нахождение дороги — необъяснимая способность, присущая птицам, позволяет им совершать перелеты в тысячи километров, безошибочно находить свои места гнездовых, зимовок. Той же способностью обладают рыбы, некоторые млекопитающие, некоторые насекомые во время роения. А человек, «царь природы», этого лишен.

* * *

У Эйнштейна есть несколько высказываний о природе научного познания. Это — одно из самых глубоких и точных: «Важнейшее чувство ученого — ощущение тайны».

В нем он видел источник истинной науки: «Тот, кто не знает этого чувства, кто не в состоянии удивляться и застывать в благоговении, все равно что мертв».

* * *

Разум наш то, что не сумел объяснить, отринул, заклеил абсурдом: вещие сны, предчувствия, привидения, колдунов, заговоры, гадания, хиромантию, астрологию... Все это объявлено вне закона, выброшено за пределы науки.

* * *

Время от времени ему снился песчаный пустынный пляж, солнце, он идет и видит перед собою след — отпечаток одной босой человеческой ноги.

20 Одной! И больше ничего, кругом нее чистый плот-

ный песок. Ступил ангел, передумал и улетел. Сон повторялся годами.

ВЫИГРЫШ

Первые годы были для молодой жены интересны. Укрытая в деревенской глуши от питерского голода, от грабежей, очередей и прочих невзгод, она с живым чувством отдалась деревенской жизни незнакомой страны, незнакомого быта и быстро приспособилась. Помогала и красота, и певучий голос ее, и мужняя практичность. Он занимался делом, которое всегда ценилось в деревне, — изготавливал главный строительный материал. Кирпич, конечно, тоже нужен был на печи, но лес — больше — во всех видах.

Нюра училась выпекать хлеб, делать кокорки — вкуснейшие ржаные лепешки с творогом, морковью, — собирала ягоды, варила варенье, солила грибы, огурцы, огородничала.

Был в памяти Д. один недеревенский праздник. Если аккуратно сложить все кусочки, продолжить смутные линии, по местам распределить краски того солнечного дня, то появится большой дом с колоннами, огромная веранда, застекленная цветными стеклышками. Длинный праздничный стол, накрытый белой крахмальной скатертью. Праздник происходил в помещицьем доме. Следовательно, поблизости оставалась неразгромленная, несожженная усадьба. Принимал отца и мать не управляющий, а сам помещик, это тоже известно по тому, что об этом долго говорили в семье. О том, как он

почему-то уцелел, почему-то живет в этом доме, почему-то его не трогают. Приглашен же отец был для игры в преферанс. В результате Гражданской войны наступил дефицит партнеров.

Впервые Д. видел роскошь, да еще в действии. Большую керосиновую люстру. Полотняные салфетки. Мать пела под гитару русские и польские романсы. Мужчины играли в карты. Даже если это происходило в двадцатые годы, все равно это было чудо, потому что согласно «Краткому курсу истории партии» главная задача работы в деревне была «всемерное кооперирование крестьянских масс». Следовательно, шла кооперация, изгоняли дворян, а в детской памяти ничего подобного найти не удастся. Вместо этого блестит огромный самовар на столе, стоит фарфоровая сахарница со щипцами, и разноцветные стекла веранды дробят долгое летнее солнце так, что повсюду горят на лицах, на белом пиджаке отца цветные пятна.

Хозяин был громадный, с громадным смехом и громадным голосом. Д. назвал его «дядя Пу». Появился он вновь спустя несколько лет, в Питере, когда отец уже был выслан, такой же громкий, барственно-веселый.

Отца Д. считал всемогущим, он командовал пилорамой, огромным и страшным сооружением. Машина справлялась с любым толстенным бревном. Пронзительно визжа, пилы прорезали всю его длину, чуть меняя голос на сучках. Каким-то образом сила эта переносилась на отца. Он один знал, что идет на доски, из чего делать, какой товарняк. В лесу он ходил, как среди своих, среди

деревьев, делянок, в сплетении тропок, просек, лежневых дорог. Он был неутомим в ходьбе, мог шагать с утра до вечера мелкой своей неторопкой походкой.

Первые годы, беря сына с собой, он через час-другой оставлял его у ближних смолокуров, лесорубов.

Особенно утомительно было хождение по железнодорожным путям. Дорог лесных не хватало, и в дальние лесосеки ходили, делая крюк, по шпалам железной дороги. Смоляные шпалы лежали неровно, сбивая шаг. Отца почему-то это не беспокоило, он шел себе и шел. Беда матери была в том, что она не видела мужа ни в лесу, ни в дороге, ни в работе. Там он был хорош, там его чтили, там им можно было любоваться.

Деревенская здоровая жизнь шла матери на пользу. Она расцветала с каждым годом. Чувствовала это, понимала свою наружность. А наружность ее все же была нездешняя: черты лица тонкие, волосы пышные, талия тоже не деревенская, крутая, да и вся ее походка; ее руки, хоть и загрубелые, но для другой, деликатной работы, пальцы длинные, гибкие. Более же всего выделяло ее умение красиво одеться, что бы ни надела, обязательно не так, как все носят: то косыночкой украсит, то кружевом, и самая затрапезка на ней нарядна. Вкус сказывался. И никак ей было не смешаться, не раствориться в деревенской жизни. Отец рядом с ней — мужичок. Хотя он ростом не уступал, но как она встанет на каблучки, так кажется выше. Может, от его коренастости: плечи широкие, ноги чуть кривоватые, шея крепкая, носа было много, и загар постоянный от

зимних ветров и морозов, от костров. Тело белое, а руки, шея, лицо — медные.

Имей они хозяйство, свою избу, свой огород, свою живность, даже без поля, все равно это втянуло бы ее в настоящую деревенскую жизнь. А так у служащего человека положение непрочное: сегодня здесь, завтра перекинут в другой леспромхоз, все время шла реорганизация, сокращение, сокращение происходило со времен революции постоянно. Главные приметы советской власти — очереди, лозунги и сокращение штатов.

Изба была казенной, огород тоже. И лошадь казенная. Своего немного: несколько книг, справочников по лесному хозяйству, сапоги, одежонка. Машинка швейная ручная для матери была куплена, и на ней шились первые костюмчики сыну. Машинка была богатством.

Жили весело. От того, что нить жизни легко рвалась в те годы, от этого спешили радоваться, гуляли крепко, бояться как следует еще не научились, поэтому гостей много было и сами в гости ходили.

На престольные праздники ехали в соответственную деревню, где храм был в честь своего святого, отца всюду зазывали, привечали. Вели от одного к другому. Всюду самогон, пироги, песни.

Отец на праздниках был при галстукe и пиджаке.

Д. помнит рубашки отца: серые, немаркие, с пристяжными воротничками, и одну белую, выходную. Помнит золоченые запонки отцовские, бритву его, помазок, запах отцовского мыла. Прочно отпечатаны в памяти дощатые половицы, устланные полосатыми грубооткаными половиками.

Особенно хорош был субботний вечер, когда они с отцом возвращались из бани. Баня была в огороде, внизу у реки. Топили не «по-черному». Парились там крепко. Д. спасался внизу, подняться на полоч не мог. Мужики наверху настегивали друг дружку, потом выбегали на улицу, раскаленные, пар от них шел, — и в речку. Страшно было видеть, когда зимой они бухались в снежный сугроб. После бани, с узелками, распаренные, причесанные, умиротворенные, поднимались к дому — и за стол. В доме было все прибрано, полы свежeweмыты, выскоблены, можно на таком субботнем полу лежать, играть, никто не скажет: «Встань, чего на грязном разлежся».

Отец любил тогда выпить, закусить. Что тянуло к нему людей? Может, добродушие. Скорее же всего уютность. Рядом с ним можно было расслабиться. Выпив, отец тоже расслаблялся, смеялся, шутил, а сильно захмелев, уходил спать. При мирном своем характере он был спорщик. Причем азартный. Однажды на Масленицу он заспорил с кузнецом, кто больше съест блинов. Оба они чуть не погибли, не желая уступить.

Нормальное состояние детства — счастье. Огорчения, слезы и наказания — все быстро смывается счастьем. Ты беззащитен, поэтому тебя все любят, мир еще полон родных, полон открытий, удивлений и приключений.

Азарт спорщика Д., видимо, унаследовал.

На реке, где протекала летняя жизнь, зашел спор, кто дальше пронырнет. А чтобы точно замерить, решили нырять с гонок, то есть с плотов, и проби-

раться под ними, пока хватит воздуха. Так и сделали. Д., нырнув под бревна, решил не перебирать их руками, а поплыть, для этого загрести вниз. Поплыл, но, видно, там, внизу, поплыл не по прямой, потому что, когда почувствовал, что «воздух кончается», стал выныривать, стукнулся головой о бревна, потерял ориентацию. Плышет, перебирает руками скользкие бревна, и никак они не кончаются. Темно, просвета нет, заметался он под бревнами, не выплыть ему, стучит в бревна, так ведь не достучишься, не раздвинуть их. Гонки стояли вдоль берега, перевязанные плот за плотом, длинные-предлинные. Гонщики себе шалаш на нем сладили, сидели там и, услышав ребячьи голоса, почувствовали что-то неладное. Вытащили Д., еле откачали, отлежался он на берегу, растерли его самогоном, но, главное, никто не сказал родителям, ни ребятя, ни взрослые не выдали.

На спор многое делалось. Прыгали с сараев, ходили ночью в горелый дом. Самое же страшное было лечь под поезд между рельсов.

На железнодорожную ветку, где грузили платформы пиленым лесом, укладывали шпалы, доски, приходили паровозики, надрываясь, тащили платформы на разъезд, чтобы прицеплять их к составу. Под этот паровозик с платформой и ложились. Как сцепщик уйдет, так нырк между колес и лежи. Под платформой не страшно, страх весь — от паровоза, когда он над тобой идет, обдавая тебя жаром, дымом, запахом масла, грохотом огромных своих колес. Малышня этим довольствовалась, те, кто постарше, лет восемь, те ложились на главный путь под большой состав. Отказаться было нельзя.

Взрослые не представляют себе жестокость детских порядков и принуждений. Армейская принуда слабее детской. В армии тебя накажут, у детей тебя отлучат, что ужасней. Отлучат, презируют.

Надо было перед самым идущим поездом выскочить на дорогу и лечь руки по швам, машинист уже не мог затормозить, и весь состав проносился над тобой. Ложились под товарные поезда. Под пассажирские не принято было. Машинисты ругались. Пытались проучить, высыпали горячую золу, если успевали. Заводилой был Петька Хромой. Ему ступню перерезало при такой выходке, он ловко прыгал на одной ноге или хромал с костылем.

Был он сыном хозяина чайной. На чайной висела вывеска, где был нарисован самовар с бубликами. Петька верховодил по праву. Он сочинял игры, сочинял всевозможные истории. Проводил соревнования по прыжкам, по бегу, по бросанию камней в цель, целые олимпийские программы. При этом был диктатор. Награждал чемпионов баранками. Отец у него был красавец, могучий мужик, он клал жердину на плечи, как коромысло, вся ребятня повисала с обеих сторон на эту жердь, и он нес их по улице.

Их раскулачили первыми. Погрузили на телегу всю семью и увезли в район, а потом, говорят, выслали. Чайную сделали казенной, там сразу вместо чая стали подавать водку. Граммофон куда-то исчез, баранки тоже, а потом чайная сгорела.

Тот момент, когда их погрузили с узлами в телегу и все заплакали — мать Петькина кричала, билась, муж держал ее за руки, — запомнился крепко. Петька обошел друзей, каждому из мальчишек

по-взрослому пожал руку, пожал и Д., сплюнул сквозь зубы.

Лицо остренькое, бледное, торчащие тускло-войлочные волосы, сам он худенький, вдруг вытянувшийся — это осталось в памяти Д. навсегда. На расспросы никто ничего Д. не объяснял. «Вырастешь — поймешь», — сказал отец.

Это у Д. было первое столкновение с ликвидацией кулачества. Нормальное детство аполитично. Бедность и богатство в те годы никак не сказывались на ребячьей жизни.

На следующий год семья переехала в другой леспромхоз. Там были тоже лесозавод, лесная биржа, но не такая глушь. Жили на полустанке Кневицы, кажется, километрах в сорока от Старой Руссы. Возможно, на переезде настояла мать. Она все больше тяготилась сельским захолустьем. Ее тянуло в город. Каждый вечер, в восемь часов, заходя, она отправлялась на перрон к питерскому поезду. Приходил туда весь «высший свет» поселка: учитель, фельдшер, бухгалтер лесозавода, почтарь, являлись с женами, приодетые, особенно по воскресеньям, гуляли по высокой дощатой платформе, постукивая каблучками. Гармонист играл. Молодые пели. Выходил начальник разъезда в фуражке, милиционер в белой гимнастерке. Курили, общались, новости местные обсуждали. Нечто вроде клуба. Как позже на курорте старорусском, где ходили по галерее, попивая целебную водичку, здесь вместо водички лущили семечки подсолнечные, тыквенные. Иногда угощали друг друга монпансье из желтых круглых баночек.

Приближался поезд. Стоял он минуту. Редко кто приезжал или уезжал. Скидывали мешок с почтой,

посылками. Пассажиры глядели на местных, те на них. За зеркальными окнами вагонов стояли бутылки вина, кто-то лежал, с верхней полки лениво обегал глазами эту туземную публику, были вагоны мягкие, там висели бархатные занавески, люди смотрели оттуда безулыбчиво, строго. Короткий гудок, и поезд трогался. Глядели ему вслед, пока красные глазки последнего вагона не исчезали вдали. Расходились притихшие.

Почему-то думается, что эти поезда волновали мать. Звали ее куда-то. У Блока точно схвачена эта тоска полустанков:

*Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.*

*Три ярких глаза набегających —
Нежней румянец, круче локонов:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...*

Мотив проходящего мимо поезда повторялся у многих русских писателей. Можно вспомнить Катюшу Маслову, которая, стоя на той же платформе маленькой станции, видит в окне освещенного купе Нехлюдова в бархатном кресле.

Когда Д. впервые прочел Блока «Под насыпью...», ему сразу привиделся их разъезд и мать. Не разобрать было, что она говорила. Лицо ее белело смутно. Унесенное временем, оно глухо напоминало о том, что было еще что-то важное...

Вспоминая, что-то и присочинишь, иногда удастся извлечь из-под слоев позднейших красок подлинник, он оказывается куда невзрачнее...

Переезд в Старую Руссу не принес отцу никаких льгот. Вообще стоит заметить, что вся трудовая деятельность отца ознаменована не повышениями по службе, а перемещениями. Повышений не было. Ступенек не было. Была смена лесов, леса нарвские, кингисеппские, псковские, новгородские, затем сибирские.

Из Старой Руссы отцу приходилось мотаться в леспромхозы поездами, а затем на попутках. Д. уже не мог сопровождать его по лесным делам. Старая Русса из русских уездных городов — звезда первой величины. Город старинный, старше Новгорода, и курорт там замечательный, да и просто красивый, культурный город. Там поселился Ф. М. Достоевский в последние годы своей жизни. Нравилось ему здесь. Город и впрямь был хорош. Прежде всего — курортный парк, рядом с которым получил отец квартиру. Парк был огорожен, поскольку посещение было платное. Но всякая ограда имеет дырки. Д. со своей компанией постоянно болтался в парке. Больше всего их привлекала купальня. Тоже закрытая, исключительно для курортников. Купальня была выгорожена на озере. Вода в озере соленая-пресоленая, минеральная, считалась она целебной. Такой концентрации соли Д. нигде в России больше не встречал. Лежать, покоиться, не шевелясь, без всякой возможности утонуть было забавно. Нырнуть и то трудно, так выталкивает зеленоватый теплый рассольник. Совсем как на Мертвом море.

Плавать его научил отец. Бросил с крутого берега в реку, и вся недолга. Напугал, Д., крича, барахтался в ужасе, захлебываясь, но вдруг ощутил, что держится на воде. Ужаса было не так много, больше крика. Отец в труселях, смеясь, стоял на берегу, а он плавал хорошо и саженками, и лягушкой. Несколько раз он учил сына, показывал, поддерживал рукой — бесполезно. Бросил, и все само получилось. С той минуты началась водяная жизнь Д., которая пошла рядом с земной, пешеходной, сидячей жизнью. Реки, речонки, озера, моря, заливы, океаны, зимой — бассейны, и всегда это была радость.

Пожалуй, ничто не доставило ему в сумме столько счастья, как водная стихия. И в минуты этого блаженного слияния тела с теплом озер и рек всегда охватывала благодарность отцу. Учите детей плавать, своих детей, чужих детей. Это самое прочное, надежное помещение вашего, если позволено выразиться, благодеяния. Всегда помнят того, кто научил плавать, ездить на велосипеде, играть в шахматы, так же как помнят первых учителей.

Полноту жизни Д. ощущал почему-то на воде. Точнее, в воде. Особое чувство вызывало море, его волны вступали сразу в отношения с пловцом, с ними надо ладить, считаться с их настроением. До какой-то поры с ними можно было затевать игры. Он бежал на них, подныривал, бегал от них. В ту пору не было серфинга, но и без него можно было качаться в набегающей волне, скатываться с нее...

Вода — это еще и пляжная жизнь. В юности и позже прогулки между лежащими женщинами; они рассматривают тебя, а ты — их. Знакомства, интересные тем, что ты знакомишься с натуральной

женщиной, а потом у входа с пляжа появляется совсем иная — одетая, накрашенная. Преображенная платьем, которое уже говорило о вкусе, о деньгах, укрыв жизнь тела, создание природы.

Вода детства всегда до озноба, до дрожи и синевы, потому что вылезти так же неохота, как неохота идти спать.

Еще отец научил его играть в шахматы, научил затачивать ножи, бритву, научил бесшумно ходить по лесу, запоминать дорогу, познакомил с лесной жизнью, попозже хотел научить играть в преферанс, еще во что-то, но у Д. к картам интереса не было, существовало даже инстинктивное отторжение. Откуда оно взялось? Законы наследственности не всегда так арифметически просты, изящны, как это когда-то открылось Георгию Менделю, наблюдателю гороховой жизни. Почему иногда из поколения в поколение наследуется любовь к гречневой каше так же, как форма носа и глаз, а иногда вылезает такой носище, черт его знает, где он хранился, в каком колене предков.

Однажды отец взял Д. с собой в поездку на железнодорожной дрезине. Ехали на ней вручную, то есть «качали» рычаг, и платформочка эта катилась по рельсам. Быстро, куда быстрее, чем пешком. Хорошо на дрезине, ветер в лицо пахучий, земляничный, потому что на откосах насыпи самое раздолье земляничное. На дрезине доехали до следующей станции, чтобы не ждать поезда четыре часа, загнали ее на ветку и по ветке еще отмахали километров пять. Там пересели на телегу, на телеге трюхали долго, но тоже весело, особенно через деревню ехать; Д. дают править, и еще у него есть

обязанность открывать и закрывать ворота на деревенской околице. Ворота железные, они лубяным кольцом закрываются или щеколдой... По ребячьей нетерпелке важно открыть, вскочить на телегу, а закрыть не обязательно — никого нет кругом, но отец строго соблюдал уважительное правило и при выезде. Добрались они до деревни, где когда-то жили. Д. узнал высокий зеленый дом, Петькину чайную, теперь там была кооперативная столовка, торговали больше водкой стаканами и пивом, закусывая моченым горохом, селедкой с хлебом. Кругом чайной стало грязно, забор сломали, палисадник зарос крапивой.

Так у Д. появилось первое сожаление о прошлом, назад он ехал грустный, даже когда давали ему качать дрезину, это не радовало. Неосознанно ощутил он порчу времени.

На пне свежеспиленной сосны, отец называл ее кондовой, среди годовых колец химическим карандашом отец пометил год своего рождения, год рождения матери и, наконец, наружное кольцо появления на свет Д. «Видишь, твое самое большое», — сказал отец. Что это означало, не пояснил, он иногда бросал фразы, словно неоконченные. Д. нравилась наглядность этой картины: кольцо за кольцом на желто-красной древесине, с блестящими каплями смолы, кружок отца — тогда сосна была еще тоненькой, никак это не вязалось с возрастом отца, с его кряжистой фигурой, с его сединой, и то, что в материнский год сосна была уже крепкой, бревенчатой, все полагалось бы наоборот. Однажды, спустя годы, он поймал себя на том, что, надевая свитер, растягивает ворот так, как это делал отец, тем же жестом, и

подумал, что в нем живет много отцовского, вдруг вспомнил тот пенёк и слова отца. Большое свое кольцо, а внутри него отцовское и второе, мамино. Они оба спрятаны в нем, они оба составляют его нынешнего, их не вынуть, не отделить.

Он так стремился скорее расти, стать взрослым, чтобы все мочь, быть полноправным, и тут оказалось, что впереди, во Времени, расположено не только хорошее, но и плохое, увидел это наглядно на облупившемся, враз постаревшем Петькином доме, с которого сняли затейливую вывеску, где был нарисован самовар, калач и баранки.

Когда-то он вспомнит и об этом, когда к нему прибежит его семилетняя дочь, плача, что не хочет расти. Страх будет в ее слезах, страх и надежда, что он, который все может, всемогущий ее отец, может оставить ее в детстве, остановить время. Она не хотела взрослеть. Что-то ее там пугало. Несколько раз еще она обращалась к отцу с той же просьбой, пока не убедилась в его бессилии. И печально приняла свою участь. Он часто думал об этом, если — стареть, это страх естественный, сознательный, фаустовский, а то ведь расти не хочет, взрослеть, вот уже куда добралось, в самое раннее детство.

По вечерам в старорусском парке играл духовой оркестр. Оркестранты сидели в раковине, слушатели — на длинных белых скамейках. Играли марши, вальсы и что-то посерьезнее. Однажды он увидел, как с матерью разговаривает дирижер; длинные волосы его спускались на белый отложной во-

ротничок, когда он дирижировал, он встряхивал головой, мотался во все стороны. Д. замечал, что оркестр на него не смотрит, играет, казалось бы, сам по себе, зачем он тут машет перед публикой, наверняка чтобы произвести впечатление. Дирижер брал мать за руку, прижимал к своей груди, уговаривал выступить, спеть. Несколько раз он приходил к ним домой, когда отец уезжал, давал Д. две тянучки в кулке. Всякий раз — две коричневые тянучки в большом бумажном кулке и бесцеремонно выталкивал его на улицу. Со своей компанией в один из музыкальных вечеров Д. спрятался у эстрады за кусты, и посередине игры из рогаток они стали обстреливать этого дирижера горохом.

Потом была другая диверсия. Раздобыли лимон и принялись есть его, кривясь от кислоты. Кто-то им посоветовал, или откуда-то они узнали, но действительно, некоторые музыканты вынули изо рта мундштуки своих труб, такая слюна у них пошла, глядя на мальчишечьи гримасы.

Несколько раз мать гуляла с дирижером под руку по большому курортному кругу мимо Муравьевского фонтана, и Д. видел, как ей нравится блистать в его обществе, поскольку дирижер был героем сезона у местных дам. Однажды ее уговорили, и она спела под гитару, но не с эстрады, а на террасе санатория. Пела она те же романсы, что напевала дома, но в полный голос. Для Д. это было в новинку. Матери аплодировали, вызывали «на бис», и от этого ему казалось, что мать поет лучше, чем всегда. Белые колонны террасы, оранжевая гитара, мать в черном, шелковом, туго обтягивающем платье с глубоким вырезом и голубой ленточкой на шее.

Отец, узнав про дирижера, запретил ей выступать. Мать — ни в какую. Скандал был тихий, Д. уже лежал в кровати, они думали, что он спит. Слушал и отца, и мать и не знал, чью сторону принять. Дирижер ему не нравился, не понравилось, как он держал мать за руку, но Д. вспоминал, как матери хлопали, концерт ей устроил этот дирижер, как она была счастлива в тот вечер, и понимал ее слезы. Слышно было, как отец упрекал ее за то, что она стесняется с ним ходить вечером в парк, и Д. переходил на сторону отца. Мать плакала, и Д. тоже плакал в подушку.

Спали в одной комнате. Ночью его разбудил их отчаянный шепот, они продолжали ссориться. И тут Д. услышал, как мать выговаривала отцу за какую-то женщину в деревне. Что там у отца с этой женщиной, Д. не понял, поэтому и запомнил, запоминалось все, что непонятно. Просил прощения, что ли, и, как тогда определил Д. на своем языке — подлизывался. Мать держалась непримиримо. Что-то творилось в темноте странное, впервые отец вел себя униженно. Было жалко его. Все, что происходило той летней ночью, спрятано было в памяти на многие годы, вдруг после войны однажды он позволил себе приоткрыть то давнее. Оно сохранилось нетронутым вплоть до запаха сеника, стрекота сверчка... Не было в живых уже ни отца, ни матери, сохранился их горячий шепот, все стало понятно и нестерпимо жаль обоих.

* * *

Я все оглядываюсь на время, только вот время
36 на меня не оглядывается.

* * *

Одни боролись с культом, другие теперь спорят, как надо было бороться.

* * *

— Кто за эту штуку? Прошу поднять руку...

* * *

— Только встанем — подравняйся! Только ляжем — подымайся!

* * *

Она все хотела понять мир, с которым была обручена.

* * *

Трение с этим миром изнашивает человека. Беседуешь со стариками и оказывается, мало у кого из них была радость мирной жизни, не наслаждался ею почти никто.

* * *

Он смотрел в этот мир как в зеркало, повсюду видел себя.

Зеркало, оно позволяет видеть только то, что позади, а не то, что впереди.

ВЫИГРЫШ

Отца перевели в Ленинград. Много позже мать как-то упомянула переулок рядом с французской церковью, где они поселились. Д. пошел туда, уве-

ренный, что сам найдет их жилье. Долго он вглядывался в эти каменные многоэтажные дома. Ничего не возникало, начисто. Зато вспомнилось другое, одно из самых первых городских событий.

Была Женька, их домработница. Саму Женьку Д. не помнит, помнит лишь то, как она водила его в ближайший сквер гулять, и там он пел какую-то нехитрую песенку тех времен, может, «Кирпичики», а может «Маруся отравилась», при этом танцевал. Очевидно, Женька выучила его этому. Она ходила с ним по скверу, подводила к скоплению мамаш и детей, и Д. начинал там свое представление. Женька же обходила зрителей и собирала денежку в его шапочку. Д. свою роль выполнял с удовольствием. Женька тоже была довольна приработком. Номер пользовался успехом. Малыш, одетый вполне прилично, кажется в матросский костюмчик, работал тонкий психологический расчет: мать, то есть Женька, она, значит, заботилась о дитяти, сама — в драном платье, а ребеночек ухожен, подстрижен, умыт, и вот он своим ангельским голоском поет:

*Пускай могила меня накажет
За то, что я тебя люблю.
Но я могилы не боюсь,
Кого люблю и с тем умру...*

Слушатели хохотали и щедро награждали его.

Женька строго наказала Д. дома не рассказывать, за это она покупала ему мороженое. Восхитительное, белое или розовое, стиснутое двумя белыми вафельками, оно вылизывалось со всех сторон,

а потом заедалось этими самыми кружочками. Мороженое послужило Женьке оправданием, когда ее антреприза случайно обнаружилась. Женька заявила: «А как же, надо дитю полакомиться, на него старалась».

От позора мать разрыдалась, назвала Женьку эксплуататором детей. Женька, в свою очередь, выдала ей про неблагодарность: может, дите мог артистом стать, а теперь неизвестно.

Более всего мать уязвило, что ее сына могли принять за нищего. На что Женька говорила что-то о пролетариате, так впоследствии домашние описывали их диспут. Но нас интересует другое, то, как Д. легко пошел на обман, как он слушал расспросы матери о прогулке и ответы Женьки. Даже если принимал это как условие игры, все равно, привкус лжи сталкивался со вкусом мороженого, и мороженое побеждало. Правда всегда примитивна, ложь требует искусства, маленькая или большая ложь, неважно, размеры роли не играют, ложь нуждается в правдоподобии, увы, она не самостоятельна. Некоторые считают, что соврать легко, но утаить правду не значит создать настоящую ложь. Ложь, как сочинение, ей нужны детали, живописные подробности, качественная ложь требует вдохновения.

Когда пришли гости, мать рассказала историю с Женькой. Гостям, конечно, захотелось прослушать концертные номера в натуре. Поставили Д. на стул и попросили петь, Д. застеснялся — публика другая.

— Нет уж, давай, для Женьки — мог, а для нас — не хочешь? — сказали гости.

Надо было заплакать, тогда бы они отцепились, беда в том, что плакать он не любил. Пришлось

петь снова «Над озером пляшут стрекозы», потом «Вот умру я, умру я». Так, как в сквере, не получалось. Там можно было плясать, махать руками. На стуле не покружишься. Еще там пелось весело, здесь почему-то веселья не получалось. Мороженое он не получил, денег матери тоже не кидали в шапку.

В те годы музыканты и певцы ходили по дворам, играли на гитарах, флейтах, гармониях, реже с шарманкой. И конечно, пели. Не было микрофонов-усилителей, а слышимость почему-то была отличной. Питерские дворы имели такое свойство. Может, конечно, слух у населения не был подпорчен. Тоже вполне объяснимо, слух был не на первобытном уровне. Например, Ленин с балкона дворца Кшесинской обращался к трудящимся с речью. Сегодня, даже ночью, когда трамваи не ходят, если стоять прямо под балконом, не много из его тезисов услышишь. Непонятно, как удавалось ораторам своим натуральным голосом на улицах и площадях собирать толпы.

Окна распахивались, жильцы ложились на подоконники, слушали. Вместо аплодисментов бросали музыкантам завернутые в газету медяки, гривенники. Если бросали щедро, концерт продолжался. Мать любила бродячих исполнителей, их дуэты, солистов, подпевала им.

Д. получил право пастись во дворе, мог вместе с малышами собирать летящую из окон мелочь, сверху кричали, заказывали «Мурку», «Цыпленка».

Двор соединял воедино огромную шестиэтажную домину с множеством парадных, черных подвалов, чердаков, дворников. Был старший дворник

Мустафа и над ним управдом. Мустафа чтит отца Д. за его лесную жизнь и полезную профессию. Отец мог на глаз определить, сколько кубометров дров привезли на телеге, чего там навалено — липа, осина, вяз, ольха, рябина и всякой прочей породы. Супругу же Мустафа недолюбливал за несоответствие отцу.

Среди застиранных блузок, кацавеек, суконных юбок, серой невзрачности она выделялась своими сарафанами, голыми загорелыми плечами, платочками, из ситчика мастерил себе ежедневную праздничность. Не стесняясь, постукивала высокими каблучками, блестили шелковые чулочки, лакированная сумочка.

Часто во двор приходили старик-скрипач, девушка-подросток и с ними большая собака. Она смиренно сидела у ног скрипача, сторожила скрипичный футляр, куда кидали деньги.

Матери нравился их репертуар: городские романсы, любовные, трогательно-простые.

Однажды мать спустилась к ним во двор, поговорила о чем-то со стариком и, прихватив с собою Д., отправилась с ними в соседний двор.

Пели они дуэтом. Мать приобняла девушку, голос у матери звучал в полную силу, вырвался на простор, заполнил весь каменный колодец двора, дома она никогда так не пела.

Они посетили еще двор и еще, успех был большой, судя по тому, сколько им накидали. Старик уговаривал ее пойти с ними дальше, обещал половину выручки. Мать была счастлива, напелась вволю. По дороге домой, смеясь, сказала Д.:

— Это ты виноват. Ты пример подал.

После этой выходки у Д. появилась тревога, что мать сорвется и уйдет с певцами бродить по дворам.

*Зачем, зачем вы слово дали,
Когда не можете любить.
Наверно, вы про то не знали,
Что я могу себя сгубить.*

Пела она с таким чувством, что Д. считал, что все это про нее и про кого-то, кто обманывает ее и сгубит.

В романсах кто-то покидал ее, уезжал, она страдала от тоски, жгла в камине его письма, чахла и болела, мечтала о встрече. Правда, иногда этот «кто-то» предлагал ей какие-то сокровища, обещал любить вечно.

*Ах, лучше б тебя не встречала
И не любила б тебя,
Сердце б мое не страдало,
И счастлива век я была.*

Потом появился другой дом, огромный, куда они переехали, по-видимому, благодаря отцовскому начальнику. Очень ему нравился отец. Отец многих привлекал своей добротой, доверчивой приветливостью. К нему приходили не то чтобы посоветоваться, что он мог посоветовать, скорее — выговориться. Он слушал, он умел слушать сочувственно, всей душой вникая в суть дела. Бывает, что это человеку нужнее, чем реальная помощь. Можно считать, что Д. унаследовал эту отцовскую черту.

Впоследствии Д. извлек из памяти какие-то мелочи, всплывали они случайно, то словечко, то жест знакомый, будоража что-то давнее, когда-то непонятное, постепенно возникало другое предложение: в получении этой роскошной квартиры была замешана и мать. Скажем мягче — свою роль сыграла и мать. Ибо этот начальник бывал на старой квартире, и все чаще. Он играл на гитаре, а мать пела. Квартира была большая. В то время эти барские квартиры в доходных домах государство реквизировало и раздавало разным организациям. Шесть комнат, их них одно зало. Комнаты большие, большая кухня с плитой, кладовка. Главные парадные комнаты окнами — на улицу, другие — во двор.

Прелестью был простор. По квартире можно было бегать, нестись во всю мочь по коридору. Вскоре приехала из Киева дочь отца, сводная сестра Д. Она поступила в медицинский институт, жила в общежитии, приходила в гости. С Д. они играли в зале в кегли. Катали по паркету шары, такой это был большой зал.

Кроме квартиры, Д. обитал во дворе. Двор был с вонючей помойкой, с крысами, с развешанным бельем, местными пьяницами, чудиками, сплетнями. Двор был грязен, на него выходили черные ходы всех парадных подъездов. Двор жил с утра до вечера своей трудовой жизнью. Здесь кололи дрова, пилили, в прачечной стирали, кипятили, приезжали телеги разгружать помойку. Шла и нетрудовая жизнь — под вечер сидели на лавочках женщины, болтали. Игры тех лет, позабытые, ушедшие из жизни. Медные монеты были тяжелые, играли в «выбивку». Д. был мастером выбивать тяжелым медным пятаком

так, чтобы перевернуть монеты вверх гербом. Другая игра была «в стенку». Играли в «чижика». Но больше любили играть в подвижные игры, командные — в лапту, в игру, которая почему-то называлась «штандер!», в «казаки-разбойники».

Детвора дворовая имела свой неписанный устав или, вернее, кодекс поведения. Д. испытал на себе опасность прослыть маменькиным сынком. Их дразнили «Гогочка»: «Мальчик Гога, мальчик Гога, кашка манная готова!» Беспощадно относились к жадинам: «Жади́на-говя́дина, пу́стая шокола́дина». Или такое: «Плакса-вакса-гуталин, на носу — горячий блин!» Дело не столько в форме, убийственно было, как это все произносилось, задразнить могли до слез: «Командир полка — нос до потолка!», «Воображу́ля пер́вый сорт, куда е́дешь, на курорт!» Сколько их было, дворовых дразнилок! За матроску Д. сразу же выдали: «Моряк — с печки бряк!» Его то и дело ставили на место: «За нечаянно бьют отчаянно», «Мирись, мирись и больше не дерись».

Отучили жаловаться родителям, отучили жилить, научили драться по правилам.

Дом обследовали, облазили сверху донизу. Подвалы — где в клетушках хранилось немыслимое барахло, дровишки, старая мебель, там бегали крысы, пахло гнилью. Страшнее было на чердаках. Там что-то копошилось, шепталось, там находили матрацы, на которых кто-то спал, мерцали в жидкой тьме зеленые кошачьи глаза. Висели веревки. Кипы старых дореволюционных журналов. Вот тут и началось пуганье, кто кого перепугает, самое место для засад, чтобы выкрикнуть диким криком, а еще лучше хлопущкой из газет или трахнуть надутым

бумажным кульком. Теплые кирпичные трубы сочились дымком. Закопченные балки — обнаженный скелет дома. Почти без перегородок открывалось огромное пространство над всеми квартирами, можно было вылезти на железную крышу. Кто-то на чердаке скрывался, это факт, валялись окурки, консервные банки: «Сейчас как режиком заножу, будешь дрыгать ногами и мотою головой!»

Дворовая школа обучала плевать сквозь зубы. Это у Д. получалось, у него была щербина между передними зубами, и плевков летел стрелой. Вот со свистом было хуже. Никак не мог научиться палым свистам. Пальцы в рот самый сильный свист производят. Ему и пальцы совали — не получалось.

И вдруг однажды, летним днем, уже в деревне, вырвался у него оглушающе сильный свист, он был один в лесу, никто не слышал, свидетелей не было, он свистел и свистел, счастливый своей победой.

Не сразу школьное общество стало пересиливать дворовое. Преимуществом двора была свобода. Самоуправство, свой суд, свои порядки, без учителей, без школьных уставов. И еще, конечно, запретность. Можно было всласть ругаться. У кого-то завелись «финки». Рассказы про гопников, про шпану, про «чубаровское дело», как в Чубаровом переулке насиловали какую-то девушку. Дворовое образование включало бандитскую кличку, блатные песни, приемы борьбы, драки, похождения жуликов и, конечно, секс. Двор, к вашему сведению, служил академией запретного образования. То, что исключалось из школьных уроков и строжайше запрещалось, можно было получить во дворе. В этом смысле «придворные» быстро наверстывали

свои пробелы. Любовь, аборт, процесс изготовления детей, проститутки, любовницы, измены, венерические болезни, менструации, презервативы, онализм — словом, «все о сексе», о чем в семье не полагается «при детях».

Д. заработал авторитет, он выигрывал, когда из какого-либо ругательного слова составляли новые слова — у него получалось больше всех.

Говорило ли это о его любви к языку, о его лингвистических склонностях? Вряд ли. Заметьте, какое осторожное слово мы выбрали — склонности. Детство редко дает возможность угадать что-либо о будущем ребенка. Как ни пытаются папы и мамы высмотреть, что получится из их дитяти, нет, не оправдывается. Все они видят в детстве предисловие к взрослой жизни, подготовку. На самом же деле детство — самостоятельное царство, отдельная страна, независимая от взрослого будущего, от родительских планов, она, если угодно, и есть главная часть жизни, она основной возраст человека. Больше того, человек предназначен для детства, рожден для детства, к старости вспоминается более всего детство, поэтому можно сказать, что детство — это будущее взрослого человека.

АРЕСТ ОТЦА

Как это произошло — помню плохо. Честно говоря — совсем не помню. Должен был бы. Во всех подробностях, мне уже было тринадцать лет... Не помню, видно, потому, что все годы старался избавиться, вытеснял.

Много позже я установил — начало было положено еще «Шахтинским делом», затем «Промпартия». От крупных спецов перешли к мелким. Количество выявленных вредителей ширилось. Стали брать всякую мелочь. И она тоже вставляла палки в колеса. Из-за них никак не двигалось строительство социализма. Такие, как отец, они тоже были чуждым элементом, не хотели давать показания на своего начальника.

Мать не велела говорить в школе о том, что случилось. Отца выслали. В Сибирь. Сперва в Бийск. Потом куда-то в тамошний леспромхоз. От него приходили успокаивающие открытки. Приятно округлый почерк, читая, я видел его руку в рыжих веснушках, с аккуратно обстриженными ногтями. Перед сном он гладил меня. Проводил два раза от макушки до шеи. Мать никогда не гладила. Теперь, без отца, я плохо засыпал.

Жизнь наша круто изменилась. Семья обеднела. Не стало деревенской снеди, той, что производил отец — самодельные сыры, деревенское масло, грибы, брусника. Довольствовались карточками, в магазинах вырезали талончики на жиры, на консервы, давали селедку, крупы и «макаронные изделия».

Мать мчалась из одной очереди в другую. До позднего вечера работала за швейной машинкой.

В нашем классе и с другими стало происходить похожее. Отцы исчезали... Колбасьев, Канатчиков, Бершев... Нас оглушил арест отца Толи Лютера, любимца класса. Лютеры жили на набережной, в большой шикарной квартире. Отец его занимал какую-то высокую должность, ездил на казенной машине. Когда отца арестовали, об этом объявили

в газетах. «Враг народа...» Что-то было еще о нем, как о деятеле латышской компартии.

Когда я впервые прочитал у М. Горького про детство, я обратил внимание: там не было отца. Я не понимал, как могло быть детство без отца, без ощущения его присутствия. Это не встретилося у А. Н. Толстого в его трилогии «Детство. Отрочество. Юность». Только у Лермонтова я вычитал тоску по отцу:

*Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названьем гражданина!*

Через полгода выслали Толю, одного за другим высылали и других детей арестованных.

Высылка моего отца должна была затеряться среди этих событий. Так мне казалось. Не тут-то было. В десятом классе нас принимали в комсомол. Меня не приняли. Даже в кандидаты, была тогда такая ступень. Не приняли и всё.

* * *

Отец еще не стар, крепкий, сильный, мать совсем молоденькая, я между ними. Две любви, два теплых разных потока обмывают меня, несут. Какое счастье побежать под их взглядами, заслужить похвалу за то, как я перепрыгнул через лужу. Мать любила меня строже, отец нежнее, он видел меня реже, леспромхоз разлучал нас, зато летом, когда он получал меня, тут он не отпускал ни на шаг.

Умер он, когда я вернулся с войны, когда я был уже женат, когда появилась Марина, и он мог внучковаться, так что он мог кое-что увидеть из моей жизни.

Одно время, это было еще в студенческие годы, я вынужден был перейти в другой институт, на специальность мне быстро осточертевшую. Все это из-за того, что я сын высланного. То есть из-за отца. Он виноват. Не блядская власть, до нее я не додумывался, а он. И жалел его и злился на него. Но, слава богу, ни разу я никому, даже маме, не выдал своего чувства. И отцу никогда. Благодарю судьбу, Провидение, что удержало меня от малейшего упрека.

* * *

У меня был товарищ Игорь Ключин. Хороший ученый — крупный акустик. У него было хобби — Александр Блок. Это было даже не хобби, а главная его любовь. Знал он о нем всё, всё, что можно было прочесть. Таскал меня по блоковским местам, по его квартирам. Как-то говорит мне:

— А знаешь, Дельмас жива!

— Какая Дельмас?

— Возлюбленная Блока, та, которой он посвятил цикл «Кармен». Давай посетим ее.

Уговорил. Жила Дельмас недалеко от последней квартиры Блока на набережной Пряжки. На доме висела мемориальная доска в честь ее мужа — знаменитый бас Мариинского театра.

В подъезде Игорь говорит мне: «Не пойду, иди ты один». Застеснялся. Кто он для Дельмас — никто, я, мол, другое дело, а он только помеха.

Раз пришли, деваться некуда. Я зашел. Представился. Дельмас оказалась вовсе не старухой, светская приветливость скрадывала возраст. Квартира была коммунальной, но у нее были, кажется, две комнаты. Большая, куда меня провели, была увешана фотографиями, портретами более всего самой хозяйки в роли Кармен — Любови Александровны. Висели фотографии Немировича-Данченко, Шаляпина, Андреева, известных актеров, многие с автографами, восторженными надписями, посвященными исполнительнице роли Кармен. Она на Блока произвела впечатление тоже своей игрой. С этого начался их роман.

Дельмас охотно рассказывала о Блоке. По своему невежеству я не мог отделить вещи известные, опубликованные, от неизвестных. Ничего не выпрашивал, мой интерес сводился к ней самой, чем ее привлекал Блок, был ли он веселым, щедрым, выдумщиком? Вскоре она разоткровенничалась. Рассказала, как Блок приходил к ней сюда. Про «Пушкинский Дом» сказала: «Они все просят у меня что-то, связанное с Блоком — письма, фото, книги, а вот кушетку эту не просят», — и вдруг подмигнула мне.

Стала показывать мне блоковские письма. Там было одно многостраничное, где Блок размышлял о религии, о своем отношении к Высшему разуму или Творцу, не помню. Были и интимные. Дельмас спросила меня: «Они просят продать им эти письма, но не хочется. Ведь они не предназначены для других людей. А уж для печати вовсе. Он был бы недоволен, это неприлично к его памяти. Как вы думаете?»

Сказал, что она права. Тогда она спросила, имеет ли она право сжечь его письма? Почему нет, это ее личное имущество, ей адресованное, в конце кон-

цов, она полная хозяйка. Примерно так я сказал. Она обрадовалась: «Я сошлюсь на вас». «Да ради бога». «А мне ничего за это не будет?» «Закон на вашей стороне, да и что они могут сделать».

Не знаю, как она в конце концов распорядилась, но Игорь Ключкин возмутился, он считал, что это общенациональная ценность, историческое сокровище, что будет преступлением, если письма Блока погибнут.

Мы с ним долго спорили. Сейчас, вспоминая об этом, я был бы уже не так категоричен.

С мертвыми, конечно, надо считаться. С их взглядами, их этикой, тем более что защищать себя они не могут. Мы скучные материалисты. Мы уверены, что им уже все равно, что они не узнают, не почувствуют, поскольку они ни в каком виде не существуют.

* * *

Она написала мне спустя полвека. Молодая учительница, Наталия Соколова, окончив институт, получила направление в село Кащеево Белгородской области. Было это в 1956 году. Уехала преподавать русский язык, как положено, на два года.

В школе — земляной пол, не было ни электричества, ни радио. Вода в ведре замерзла. «Пять девятих классов и выпускной. Горы тетрадей». Родители из Москвы посылали ей свечи ящиками.

«Я научилась издалека носить воду, ко мне стали лучше относиться. Ученики ходили в школу за 5, за 10 километров.

А вот отношения с директором и его женой не сложились. Я с молодыми учителями провела чита-

тельскую конференцию по Вашей книге "Искатели"... Обобщив то, что сумели понять и прочувствовать участники конференции, я послала Вам письмо в Ленинград. К нашему радостному удивлению, Вы ответили чудесным, добрым, уважительным и подробным письмом. Это стало известно всей округе... На какое-то время мои мучители оставили меня в покое».

Здесь и дальше опускаю комплиментарную часть, мне важно другое — как отзывалось мое слово, оказывается, помнилось долго, и вот спустя полвека вернулось. Дальнейшая судьба Наталии Соколовой сложилась, можно считать, удачно. Отработав свои годы на селе, она поступила в аспирантуру, защитилась, стала кандидатом наук. Продолжала работать в школе уже в Москве, потом в институте, всего 40 лет преподавания. Они с мужем уже возглавляют свою династию учителей. Письмо ее подтвердило давно известное — доброе дело не забывается. Злое можно простить и забыть, а над добрым время не властно. Не помню того моего письма, на послания я вообще отвечаю редко, неаккуратно, поэтому тем более радостно получить этот отклик из далекого прошлого.

* * *

Дочь моих приятелей, студентка, спросила меня: «Когда мы снова приступим к строительству коммунизма?»

* * *

Революция 1917 года жаждала перемен в жизни народа. Царская власть изгадила себя — 1905 го-

дом, русско-японской войной, Распутиным, а еще она залезла в совершенно непонятную войну с немцами. Народ возбуждали лозунгами о мире, о земле, о захвате фабрик и поместий.

Накипело у солдат, у крестьян, у мещан, но очень быстро накипело и у офицеров, у всех интеллигентов, возненавидели хамство, бескультурье толпы, этих жлобов, разрушителей России, с их плевками, пощечинами русским гениям. Жить в такой блевотине не мог ни Бунин, ни Шаляпин, ни Блок. Бунин безжалостно описывает деятелей революции: «Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы — не говорит, а все только спрашивает, ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню». Это 1918 год. Так началось, так и продолжалось все годы советской власти. Жлобство это перешло наверх, до самого Кремля. Архитекторы вспоминали, как в 60-е годы их принимал у себя на даче Генсек КПСС Н. С. Хрущев. «Сидел, ноги в тазу. Думаете, это невоспитанность? Нет, это хамство как неотъемлемое качество власти сверху донизу. Когда он, Хрущев, стучал ботинком в ООН, это тоже самое, это программа».

* * *

В блокаду я попал в столовую квартиры моего знакомого профессора. Труп его лежал на диване, из разбитого окна намело снег. Я открывал дверцы буфета. Сервиз заполнил все полки, блюда шикарные для пирогов, длинные для рыбы, селедочницы, супница, салатница украшена красными раками,

розетки для варенья, печенья. Все блестело, чистенькое, красивое. Ваза для фруктов, в ящике лежали терки, консервные ножи, штопоры, уксусные флаконы.

* * *

— Что тебе дала философия? — спросили стоика. Он ответил:

— С нею я делаю с охотой то, что без нее делал бы с неволей.

* * *

В Древней Греции над портретами царей и полководцев главенствовали портреты ученых, поэтов, атлетов. В Древнем Риме первое место занимали портреты императоров, политиков. Поэтому мы не имеем портрета великого поэта Овидия, историка Тацита.

Долгое время в Древнем Риме существовал закон об «Обсуждении памяти» (*Damno memori*). Все изображения ушедшего тирана уничтожались, чтобы имя его и облик поскорее забыли.

Как только очередной император умирает, его статуи, бюсты, фрески с восторгом рушат не только в Риме, а по всей империи! Ничего не оставляли. Сменяли монеты с его изображением. Новые властители не отменяли этот закон. Почему? Непонятно.

«Подданный римского императора должен не думать о том, как выглядит его владыка, а с благоговением ощущать свою ничтожность», — писал Герман Хафнер, специалист по античности.

Я немного знал М. А. Шолохова, слушал его выступления на съездах, правлениях. Каждый раз он вызывал удивление. Ничего общего у этого человека не было с писателем Михаилом Шолоховым. Не только с автором «Тихого Дона», но и с автором более слабого романа «Поднятая целина», даже с самыми поздними его вещами. А некоторые выступления были чудовищны, вызывали отвращение. Например, его требование казнить диссидентов Синявского и Даниэля. Этого не позволяли себе такие оголтелые прислужники власти, как Сафонов и Грибачев.

Внешне он мало менялся, сохранял такую же стройность, как на молодых фотографиях. Та же улыбка, те же усики, медленно седеющие. Так что был узнаваем и в то же время неузнаваем. Среди литературоведов не утихали споры о том, кто на самом деле написал «Тихий Дон». Появились одно за другим исследования. Наши, заграничные. На компьютерах изучали частотные характеристики, одним из аргументов не в пользу Шолохова было отсутствие черновиков рукописи.

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, что еще в тридцатые годы была создана комиссия Союза писателей для установления авторства Шолохова. Он, Слонимский, вошел в ее состав. Возглавлял ее Серафимович. Он ездил в Вешенскую. Главное, что тогда уже вызвало их недоумение — отсутствие у писателя черновиков.

Сам Шолохов отмалчивался. Никакого ответа. Получил Нобелевскую премию и опять ни слова по поводу авторства.

В восьмидесятые годы XX века вновь разгорелась кампания обвинений Шолохова в плагиате. Участвовали в ней весьма активно Солженицын и другие писатели.

Меня все эти споры мало занимали. Да, много вопросов без ответа, да, явные нестыковки, непонятно, как мог написать хотя бы первую часть эпопеи со всеми подробностями Первой мировой войны двадцатилетний человек, не будучи участником событий...

Ко мне за границей обращались с этими вопросами на пресс-конференциях. Я отделялся таким ответом — в искусстве есть тайны неразрешимые, над ними бьются столетиями, и безуспешно. Возьмите тайну Шекспира. «Ну сравнили», — возражали мне. С полной искренностью сказал, что речь идет о великом создании литературы. Великом не только для России, «Тихий Дон» явление мировой классики. Много ли мы можем назвать книг подобной силы о любви и ревности. Любовь в «Тихом Доне» чисто «деревенская», то сокровенное человеческое чувство, чистое, рожденное сердечным движением. Оно владеет Григорием и Аксиньей вопреки логике, всем запретам, оно бессознательно, чистое, глубокое чувство двух людей. Среди любовных историй нам не хватает той глубоко внутренней нравственной культуры, которая вернее всех правил велит или не велит душе.

Кто автор «Тихого Дона»? Почему меня никогда всерьез вопрос этот не занимал? Я даже писал как-то: авторство не так важно, как сам факт появления этой эпопеи в советской литературе. Куда

интереснее мне странности вокруг судьбы романа. В нем вынесен беспощадный, убедительный приговор и красным, и белым. И те, и другие зверствуют, не ведают, что творят, ведут войну бессмысленную. Григорий Мелехов напрасно ищет среди них правых, нет ни правых, ни виноватых в братоубийственном лютовании. Как можно было такую книгу издать в годы жесточайшего идеологического террора? С 1928 по 1940 год одна за другой выходят четыре части. И тут же один за другим процессы над оппозицией, троцкистами, зиновьевцами, ссылки, расстрелы, за малейший уклон, любое покушение на правоту советской истории. А «Тихий Дон» переиздается, его включают в школьные программы, переводят во всех республиках. Самую, можно считать, по сути антисоветскую книгу. «Выдающееся произведение социалистического реализма!»

Сталин читал, и все его приспешники читали (или делали вид). Хвалили. Славили. Не выслали, не посадили, даже по-настоящему не прорабатывали. То, что писала критика, не имело отношения к роману, его бессовестно выворачивали наизнанку: «Пути народа к революции, закономерности его прихода к социализму — такова главная мысль этой народной эпопеи» — так аттестовали роман в школьных пособиях.

Как сложилась такая исключительная участь шолоховского романа? С годами он стал неприкасаем, одиноко возвышался на фоне нашей литературы. Позволю себе заметить, и в мировой литературе XX века я не нахожу столь мощной трагической и прекрасной истории любви. У Шолохова она неотрывна от Первой мировой войны, рево-

люции, Гражданской войны, того, что перевернуло жизнь России.

Бурелом Большого Террора счастливо пощадил Шолохова. Ему помогло его личное мужество. Помог и Сталин. Так было. Не буду домысливать зачем, для чего. Роман был завершен, и блистательно. Слово это совершенно не подходит к эпилогу, я не мог отказаться от него. Блистательность в смысле художественной метафоры и авторского бесстрашия. Похоронив свою любовь Аксинью, Григорий стоит у могильного холма: «Словно пробудившись от тяжелого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

Таков итог жизни, поисков справедливости, счастья, правды. Осталось черное солнце на черном небе. Вот чем кончились все надежды, вся борьба, пролито столько крови, столько погублено, убито, ради чего?

Ныне, как никогда раньше, по-новому открылась передо мною провидческая даль этого гениального произведения.

В 2009 году кинофильм «Адмирал» прошел по стране с неожиданным успехом. Фильм, на мой взгляд, прямолинейный, донельзя упрощенный. Но! Адмирал Колчак — герой, благородный красавчик, воплощает славные традиции русского офицерства. А большевики — плохие, грубая, темная матросня.

Зрителей привлекал этот перевертыш: восемьдесят лет Колчак был символом белогвардейской жестокости, зверств колчаковщины, и вдруг извлека-

ют его из тлена — и перед нами новообретенный кумир. Душка. Следом появился преображенный генерал Деникин, а там и Краснов. Все они, как оказалось, защищали правое дело. Получается, что было два правых дела. Красные и белые. Историки, не осуждая красных, реабилитировали белых. Три года шла гражданская война. За что, во имя чего? Шолоховский роман бесстрашно отвечает нам через судьбу Григория Мелехова, покончив с мифами советской истории.

Историю советской России перечеркнули. Отменили праздник Октябрьской революции 7 ноября 1917 года. В календаре теперь отмечают взамен — 1612 год.

Григорий Мелехов опередил нас, считай, на полвека обошел, понял то, к чему мы только начинаем подходить: нет и не было правых на той ужасной, на Гражданской. Самоистребление уничтожало лучшую часть людских сокровищ, накопленных Россией, ее аристократию, трудолюбивое крестьянство, тончайший слой интеллигенции, офицерство, мастеровых...

Все пошло прахом.

Мои попытки понять Шолохова-человека безуспешны. Самые тяжелые годы, вплоть до Великой Отечественной, вел себя мужественно, благородно, потом не знаю что, как происходило, но стал другим. Совсем другим. Мне рассказывал Игорь Черноуцан, как равнодушно позволял Шолохов редактировать «Тихий Дон», вернее, перередактировать, а еще вернее, калечить, уродовать, доверив это каким-то литературным проходимцам.

На посторонний взгляд жизнь его шла успешно, слава непоколебима, продолжал писать, ну не так, как было, тем не менее... Словно подменили, у всех на глазах. Два этих Шолохова несоединимы. Ничего общего не находил. Как будто они не помнили друг о друге и не хотели знать. Ничего подобного я не встречал.

Если бы не этот второй Шолохов, следовало бы поставить памятник автору «Тихого Дона» за его великое создание. Увековечить героя романа, Григория Мелехова. Почему нет? В Испании немало памятников Дон-Кихоту. Есть памятники героям Дюма, Шекспира. Почему не быть Григорию Мелехову, тому, кто не мог найти своего стана среди битвы, что веками ведет человечество?

* * *

Я знал Россию ту, что поднялась на Великую Отечественную войну, спасая свои народы от фашизма, а за ними и Европу. Знал ее и после войны, когда оголодавшая, разутая, бездомная, стала она восстанавливаться. Я хорошо знал эти две России, потому как сам и воевал, и восстанавливал разруху.

То были два прекрасных народа. Трагические испытания поднимали их дух как никогда раньше. Другой России мне не надо. А мне сообщают, что России осталось жить не больше 50 лет, дальше она станет мусульманской страной, русский язык исчезнет, русские разбредутся по всему миру подобно евреям, и все ее прошлое обернется мифом.

Из чего состоит Россия лично для меня, выросшего в ней, в Новгородчине, Псковщине, в Питере и его губернии. Из чего? Деревни моего детства, лесные биржи, лесосеки, проселки. Школа. Поэзия Пушкина, деревенские частушки под гармонь. Есенин. Тихонов. Пастернак. Не то чтобы я особый любитель, нет, обычный питерский интеллигент. Стихи, романсы, кино, советское вперемешку с мировым, все это входило в меня с годами постепенно, незаметно и составило мою личность. Это шло наряду с моим инженерным образованием.

Сегодня, в 2009 году, литература из школьных программ фактически исчезла. ЕГЭ до предела упростил и историю. Система «да — нет» оставляет от живого повествования российской тысячелетней жизни лишь скелет. Вместо портрета есть лишь перечень — даты, наименования, хороший—плохой, плюс—минус.

ЕГЭ упростил историю до математического уравнения. Компьютер иначе не может. Машина наиболее удобная для отчетов чиновников «Нар-образа».

Все это подробно раскритиковано. Тем не менее выпуск за выпуском проходит. Продукция ЕГЭ уходит в жизнь, кончают институты, дипломированные егэобразные создания, воспитанники системы «да—нет», не знающие сомнений, наполняют Россию. Для них она местожитительство, место работы. Любите ее? А за что? Ее поэзия, ее прошлое, ее поля, песни? Извините, мы этого не проходили. В программу не входит...

* * *

— Чуть что, мы седлаем своего объезженного мерина и начинаем поносить нашу погрязшую в коррупциях страну, чиновников-взяточников, криминал, врунов и прочую надоевшую мерзость. А Конфуций говорил еще 2500 лет назад: «Хватит клясть тьму, лучше зажги свою маленькую свечку».

* * *

Высшее образование солдату ни к чему. На войне тем более. «Рядовому интеграл не нужен так, как в супе кал» — было заявлено мне политруком. На сей счет имелись и другие присказки. Чуть что, однако, за этот диплом мне втюхивали будь здоров. Откопали кабель подземный. Лежал, сердешный, ни начала не видно, ни конца. Вызывают. Пустят по нему электричество на КП. Хоть немного. На освещение.

— А где я возьму электричество?

— Это, дорогуша, твой вопрос, пять лет тебя учили на народные деньги.

Или:

— Давай воду отведи из окопов, дренаж устраивай.

— Для этого надо рельеф местности, съемку...

— Вот и делай, мать твою, и не засирай нам мозги.

Прыщавый этот умник многих раздражал. Особенно начарта В. Крымова, его одноклассника, старшего лейтенанта с тоненьким женским голосом, негодным для команд. Между прочим, из-за такого голоса он никак не мог рассчитывать на военную карьеру. Начарт вполне мог бы схарчить рядового Д.,

если бы не комбат. Дело в том, что комбат посылал этого парня в развалины обсерватории за литературой. Оттуда Д. приносил комплекты журнала «Огонек», «Нива», атласы звезд. Комбату нравились наклейки «Служба звезд», «Служба Солнца». Он любил читать. Характер ему позволял. Характер был замедленный, рассудительный. Ни в каких передрыгах, ни во время боя, ни при выпивках он не срывался на ругань. Чем тише он говорил, тем лучше его слышали. Никогда не отвечал сразу. Спокойствие у него было нутряное, действовало оно отрезвляюще.

Ночью, когда появлялись звезды, он призывал Д., и они искали созвездия, начертанные в атласах. Д. приносил из подвалов обсерватории кипы протоколов наблюдений, как они там назывались, для растопок. Звезды хорошо горели. Тонкая бумага годилась на самокрутки.

— Чего-нибудь там выискали? — посмеиваясь, спрашивал их комиссар, тыкая пальцем в небо.

Комиссар Елизаров считался стариком. Было ему лет сорок пять. Рыхлый, малоподвижный, он не вмешивался в действия комбата, не мешал штабникам, жалобы, обиды выслушивал сонно, приговаривал: «Все пройдет зимой холодной, пройдет и это». Его любили за то, что он терпеливо выслушивал любого. Политбеседы его звучали странно. На войне все врут одинаково, убеждал он, всем приятно, что уничтожено 70 танков, 990 гитлеровцев. Английские штабы также врут. Думаешь — комбат не понимает, когда ему залепуху докладывает ротный, что осталось четыре мины. Ему тоже тогда можно наверх доложить. Ложь разная, наша советская ложь самая гуманная. Зачем вам про то, что в

Ленинграде съели всех собак? Вам это поможет? Правдой надо пользоваться умеренно. Ложь, она оптимистична.

— Я лично не люблю правдолюбцев. С ними трудно в политработе, — говорил он, прихлебывая водку словно чай, посмеиваясь. Не поймешь, может, шутит. Слова его что-то сдвигали в голове, никак потом на место не вернуть.

— Вертинский чуждый нам человек, — вразумлял он Лаврентьева, — тоскует по родине. Не нашей, советской, а по царской. Конечно, родился он в ту эпоху, его родиной не мог быть Советский Союз, ну и что, я тоже при царе родился, и все наши руководители. Теперь наша родина СССР. У человека не могут быть две Родины. Мы говорим — любите свою Родину, тут надо подумать. Потому что, когда товарищ Сталин назвал нам Кутузова, Суворова, Дмитрия Донского, он имел в виду царскую Россию. Выходит, две Родины соединились, значит, Вертинский оказался где?..

Утвердился Д., когда придумал жечь провод для освещения, жечь с обоих концов, света больше было. И еще деревянный станок для пулемета смастерил. Легче, руки не примерзают.

Одни в батальоне тощали от голода, другие пухли. Немцы зазывали к себе, по радио, обещали хорошую кормежку. Как особист Баскаков ни старался, переходы участились. Дистрофиков увозили в госпиталь. Пополнения не присылали. Пополнялись только вшами.

Елизаров сомневался, сумеем ли мы удержать оборону. На четыре с лишним километра у нас осталось 135 человек. Надо готовить в городе отря-

ды сопротивления. Баскаков считал такие разговоры пораженческими, предупредил комиссара.

Елизаров вдруг вспыхнул, вытащил из кармана орден Красного Знамени, оказывается, его за финскую войну наградили, а мы и не знали.

— От меня, Баскаков, — сказал он, — конечно, мало толку, зато от тебя один вред. Наши узбеки перешли к немцам из-за тебя. Слышал, как они по радио тебя поносят.

Такого Баскаков простить не мог, вскоре добился, чтоб Елизарова забрали от нас.

Мы устроили комиссару отвальную. Наша землянка, прокуренная, дымная, вонючие портянки сушатся. Грется котелок с хвойным отваром. Это от цинги. Тут же парят хряпу. И плывет тихий голос Володи:

*Мадам, уже падают листья
И осень в смертельном бреду,
Уже виноградные кисти
Темнеют в забытом саду
Я жду Вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном бреду...*

Вход завешен малиновой портьерой, она глушит вечернюю стрельбу. В землянке тепло, все чешутся от вшей. На морозе вошь замирает, а как отогреться, тут она накидывается. Но не до них, такая хорошая печаль от этой чужой, нездешней любви-разлуки, от гитары, от песни, такой непохожей на все наши. Боже ты мой, как спустя полвека еще помнится этот вечер, подставленные кружки, куда Елизаров разливал свою водку...

Многое из прошлого умерло во мне и продолжает умирать. Память это то, что спаслось. Как они спаслись, образы прошлого, не знаю. Иногда я кажусь себе кладбищем моих ушедших друзей, событий. Что-то заросло, еле заметные холмики остались, надписи не видны. Володю Лаврентьева сохраняли песни, звуки гитары, чужой гитары, но все равно.

В подвалах обсерватории я иногда встречал парня из полка морской пехоты. Он ходил за бумагой для курева. Мы с ним устраивали долгие перекуры. Однажды он угостил меня флотской галетой. Большой черный сухарь не поддавался моим цинготным шатким зубам. Я мочил его, колол, сосал три дня.

* * *

Полковник приказал найти в части художника. Привели мальчика-новобранца.

— Нарисуй мне голую бабу во весь рост.

Парень растерялся.

— Извините, я такого не рисовал.

Полковник рассмеялся:

— По памяти давай.

— Да я голых женщин вообще не видел.

— Ничего себе художник.

Полковник обратился к адъютанту:

— Найди ему девку, чтоб позировала голая и чтоб крутая была.

— Ой, не надо, — сказал художник. — Я сделаю так.

— Ну смотри.

Он взялся за работу, вспоминая эрмитажные статуи и картины. Кончил. Явился полковник.

— Добавьте здесь, — показал он на бедра. — И грудей добавь.

Сделал.

Полковник повесил картину у себя в сауне. Приезжали к нему гости. Любовались. Просили одолжить художника. Заказчиков было много. Всем надо было побольше секса. Рисовал одну за другой весь срок службы.

* * *

В нашей квартире появился жилец. Было это в году 1925—1926-м. Звали его Илья Гладких. Почему запомнилось, не знаю. Нас уплотняли. Всех уплотняли. Молодой, веселый, курчавый, в защитной гимнастерке, перепоясан ремнем, а главное, на груди орден в пунцовой розетке. Приходил поздно, сразу шел на кухню, жарил себе яичницу с колбасой, тут же ел со сковородки. Входил в комнаты без стука, был наглый, шумный. Ему прощали за веселые байки, за доброту. Карманы его были полны конфет, он высыпал их на стол, угощал, курил папиросы «Сафо», тоже раздавал.

В большие квартиры подселяли пролетариев, коммунистов. У Зоценко какой-то рассказ начинается примерно так: «После революции все, кто жили в хижинах, переселились во дворцы, а Николаю Ивановичу дворца не хватило, и он живет у нас на коммунальной кухне».

Я заболел скарлатиной, и меня положили в дальней комнате, подальше от младшей сестренки. По вечерам меня навещал Гладких, рассказы-

вал истории о своих схватках с бандитами. Перестрелки, засады, погони. Показал свой наган. Дал подержать, научил заряжать. Я достал из-под подушки пугач. Он заряжался «пробкой». Селитровый заряд вспыхивал, звучал выстрел, шел дым, все пугались, о большем счастье нечего было и думать.

— Красивая штука, — похвалил Илья.

— Давай меняться.

— Я бы с удовольствием. Но мне не пугать надо. Врагов революции мы должны убивать.

Наган имел убедительную тяжесть, пули тоже весомые, рукоять шершавая. Недавно он стрелял из него, «брали», кажется, «чубаровцев». Из дула еще пахло совсем не так, как у пугача.

Будь у меня револьвер, я бы тоже ничего не боялся. Илья возразил, наоборот, револьвер можно доверить тому, кто ничего не боится. Бояться должны бандиты, их надо убивать, чем меньше останется бандитов, тем быстрее придет всеобщее счастье.

Однажды я уговорил Илью, и тот выстрелил в балконную дверь. Запах пороха еще долго дотлевал в комнате. Пуля застряла в дереве, оставив масляную дырочку, оттуда неслись крики бандитов, лилась кровь, цокали копыта.

Илья нравился моим родителям, правда отец считал, что парень любит приврать.

Под Новый год Илья не появился, и после праздников не появился. Видимо, загулял, потом приехали двое военных, осмотрели его комнату, переворостили постель, раскидали брошюры из этажерки, уехали, ничего не сказав. Больше о нем мы

никогда не слышали. Родители на мои вопросы не отвечали. Единственное, что от него осталось — дырочка в балконной двери.

Однажды на выставке плакатов я вдруг вспомнил Гладких. Прошло сорок или больше лет. Вынырнул его проект, как надо, чтобы люди мирно разошлись — наши в одну сторону, враги в другую, это те, кому не нравятся Советы, земля у нас просторная, всем места хватит... Я рисовал в голове и, может, на бумаге, как толпа разделяется, одни идут под красные знамена, другие под белые. Посредине на коне Гладких с наганом... Такая вот появилась невесть откуда детская картинка. Где-то она лежала, лежала и объявилась. Как будто у памяти идет своя неизвестная мне жизнь. Она любит обращаться к детству. Плотность той жизни была велика. Многое оставалось непонятым, ныне я словно перечитываю эти места. Так, например, в соседней квартире жила, по словам мамы, «баронесса Шталь» — величественная дама в шелках, драгоценностях. Теперь я понимал, она оставалась в доме с прежних времен. Жила она с молоденькой бойкой особой, звали ее Ольгой, по словам мамы, эта Ольга имела «связи» и помогала баронессе. Потом они исчезли.

* * *

- В жизни всегда есть место подвигу.
- Нашел это место?
- Нет еще.
- Даю тебе неделю, иначе тебя ждет плохое будущее.
- Во-первых, меня никто не ждет.

— А во-вторых?

— Я думаю, что ни у кого из нас нет будущего.

* * *

— Бумагу едят термиты...

— И шпионы!

— Как это?

— Они глотают планы, шифры. Это у них принято.

* * *

— Прежде мы не знали, куда мы движемся, теперь мы не знаем, где мы.

* * *

История — она вместо Страшного суда. Все выяснит и всем воздаст по заслугам. К сожалению, далеко не сразу. Но, во всяком случае, ничего не забудет, докопается.

* * *

Талант у него небольшой, а паруса... большие.

* * *

В 10 лет его считали вундеркиндом, в 20 лет — гением, в 30 — обыкновенным средним художником.

* * *

Если нет связи с небом, это плохо.

* * *

«У Николая I много масок, но нет лица», — писал де Кюстин.

Полтавская победа была больше, чем военным поражением шведов. Русские не просто разгромили их, они их одолели.

(Гаспаров М. А. Записки и выписки. М., 2001)

* * *

У нас есть выбор: картофель зреет под землей, арбуз под солнцем.

* * *

«Зачем мне признаваться ей в любви еще раз, если я не вернусь. Ведь это эгоизм, я ведь на самом деле думаю не о ее счастье, а о ее несчастье. О том, чтобы она дольше вспоминала обо мне, больше плакала. Чего тут хорошего, какая же это забота. Надо, чтобы она быстро позабыла, вышла замуж, жила бы новой жизнью».

* * *

Чем люди лживы? Какой ложью себе помогают, поддерживают, заслоняются от правды? А правда в том, что кругом все хапуги, бесполезно бороться со злом, природу не отстоять, город не защитить.

* * *

Красота, особенно женская, быстро портится. Исчезает свежесть. Та, что прельщала запахом, блеском, прохладой яблочной.

* * *

Корреспондент спросил меня, что я думаю о таком высказывании Толстого Л. Н.: «Самый луч-

ший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими чувствами, самый худший сорт человека — который живет чужими мыслями и своими чувствами».

Фраза красивая, но плоская, в сущности, она о том, что плох эгоист, занятый только собой, а вот кто заботится и переживает за других людей, тот хорош. Маловато для Л. Толстого. Сказать этого я не сказал, потому что люблю Толстого, что не только его гений, но и всю его жизнь. Потом подумал, что хоть сентенция эта и очевидна, но в такой изящной обработке лучше звучит и помнится.

Жил Л. Толстой, как писатель, избегая дворцовых апартаментов, не участвовал в политических интригах, без искательства соблюдал достоинство и был, может, самым свободным из всех русских писателей. Притом, что принимал горячее участие в делах милосердия, просвещения. Это отличает от Достоевского, от Бунина и других наших великих.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первые месяцы войны были самые трудные. Не потому, что мы отступали, драпали, но и потому, что у нас не было ненависти. Перед нами были не фашисты, а Германия. В школах учили немецкий. Гете, Шиллер... Помню, как мы всем взводом агитировали первого пленного немца, раненного в ногу молоденького ефрейтора:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Тельман! Карл Либкнехт!»

«Рабочий человек не может воевать с рабочими и крестьянами».

Мы угощали его папиросами, похлопывали по плечу:

«Долой Гитлера!»

Вы знаете, что он нам отвечал? Меерзон переводил нам медленно, аккуратно, фразу за фразой:

— Вы все будете убиты. Об этом позаботятся ваши плохие командиры. И мы. Воевать вы не умеете. Лучше вам сразу сдаться. Вы дикари. Вы не можете жить культурно. Посмотрите, какие у вас дороги. А ваши избушки. Ужасно. Там грязь, полно насекомых. Туалеты. Все загажено. Дрек. Дрек. Посмотрите на себя. Разве вы солдаты. Вы низшая раса!

Он смеялся. Белозубый, краснощекий здоровяк. Ни страха не было у него, ни интереса. Кашу он ел жадно, аккуратно вытер рот носовым платком. Алимов взял ложку, стукнул его по лбу: «"Спасибо" надо сказать, чему тебя учили?»

* * *

Шинель немецкую женскую надо было приспособить. Нашел среди пленных портного. Велел ему перекроить. Прошла неделя. Вызывает немца. Тот ничего не сделал, говорит, я таких заказов не исполнял, не знаю, как надо.

* * *

Шли по минному полю. Командир сказал мне: «Иди за мною след в след». Сам шел, выглядывал усики. Я за ним на расстоянии. Вот это был комбат!

* * *

Жуков погнал пехоту на минное поле проделывать проходы, потом саперов, чтобы убрать противотанковые мины, потом уже своих гвардейцев. Сам Жуков об этом рассказывал Эйзенхауэру. Тот удивился: «Наши солдаты бы не пошли, а начальника за такое сняли бы».

* * *

Мне хотелось перепробовать все, я играл в волейбол, в карты, в кегли, пытался заниматься слаломом, нырял, и неплохо, на большую глубину, стрелял из лука — неудачно. Неудач было много, они не огорчали. Наверное, потому что я ничего не хотел достигнуть, я не стремился к мастерству, мне достаточно было вкусить, ощутить сложность настоящего спорта.

СТАРАЯ РУССА

Яблоки рассыпали на чердаке. Яблочный дух там сохранился на всю зиму. Яблоки были мелкие, назывался сорт скромно: «чулановка». Вкусная, ароматная, таких больше нигде я не ел. Продавали их мерками, емкостью с ведро. Наступал яблочный Спас, и весь рынок заполняла яблочная орда. Каких только яблок не везли, но главное, чем славился город, была чулановка. И еще, конечно, рыба. Она тоже лежала не просто на прилавках, она большей частью плескалась в лоханях, садках, кадках. Знаменитые ильменьские сиги... Базары запомнились. Как праздники. Чего стоили гуляния в Гостином дворе, когда

осенью после урожая съезжались со всей округи в город парни и девушки. Прогуливались, пели зазывные частушки, шел пригляд, знакомились. Девушки в шелковых платьях, в баретках, парни в начищенных сапогах, в штиблетах, русские рубахи, а то и апаши — отложные воротнички, были щеголи с ручными часами. Брюки клеш, кепи, картуз, лузгали семечки. Ну, это всюду, вся страна лузгала, главное было умение заговорить, завязочка:

*Ты залеточка, залеточка,
Вертучие глаза...*

Играли, соревнуясь, гармонисты:

*Я плясать-то не умею,
А пойдё, так дробь дам.*

* * *

- Дух первичен.
- По-моему, первична материя. Марксизм так считал.
- А Библия считает, что дух.
- Где это она считает?
- В Библии сказано: «Вначале было слово». Так что поразмысли.
- Думать не входит в мою обязанность.

* * *

Все у нас знают, как не надо, а как надо, никто не знает. Возьми, к примеру, нашу Душу, она всегда знает, как надо было поступать вчера.

* * *

Знаменитый физик, соавтор Гейзенберга Вольфганг Паули размышлял, что физика слишком трудна для него, жалел, что не сделался комиком в кино. Или почтальоном. Такое происходит у многих честных физиков. Ученый мучается от того, что не может объяснить явление, не понимает происходящего в природе, знает свое незнание, его величину.

Художнику это неведомо. Он создает нечто из ничего. Степень достоверности определить трудно, так же как совершенство. А совершенство — это не истина.

ТАТЛИН

Он придумал летательный аппарат, назвал его «летатлин». Забавная придумка художника, картинка, не более. Технического образования не имел. Свои законы, фантазия.

Спустя много лет является к нему делегация из ЦАГИ. Их, видите ли, интересуют линии крыльев, фюзеляжа. Он показал. Это было то, чего они добивались и не могли добиться.

Ему стали платить пенсию как авиатору. Теперь этот летатлин в музее авиации. Рассказал нам М. Эткинд. Что есть фантазия художника.

* * *

TV за 2000—2009 годы добилось-таки, чтобы страна наша поглупела, из христианской превратилась в языческую — жрать, трахать, покупать, продавать, пить, гулять.

Перед началом сидели оба в первом ряду — Горбачев и Ельцин. Объявили президиум. Первым встал и пошел Ельцин. За ним Горбачев. Пока Ельцин поднимался, тот все пытался обогнать его. То с одной стороны, то с другой. Не понятно, видел Е. или нет его старания. Наконец у выхода к столу на прямой Горбачев обогнал и пошел по сцене первым. За ним Ельцин. Горбачев шел запыхавшись, еле сдерживая злость. Пока длились эти гонки, я то сочувствовал Горбачеву, то становилось стыдно за него.

* * *

Даже хороший ученый — все равно это человек, который избегает мелких ошибок, неуклонно двигаясь к какому-нибудь глобальному заблуждению.

* * *

Время всегда наносит раны, и оно же исцеляет их.

* * *

Божественное в человеке разрушается все сильнее. Между тем судьба человечества зависит не от способа производить все больше продуктов или лекарств, другое производство решает — производство сострадания и доброты.

* * *

Дьявола нет, есть падший ангел.

* * *

Когда я участвовал в полетах физиков для изучения грозы, у нас в аэропорту был мужик — предсказатель. Он определял погоду, облачность, грозы, дожди на два—три дня вперед безошибочно. Лучше, чем метеослужбы. Наши физики пользовались его предсказаниями, дарили ему вино и закуску. Но однажды прикомандированный к нам московский геофизик поинтересовался его методикой, приметам и довольно убедительно показал их несостоятельность и ненаучность. Противоречит законам аэродинамики, теплофизики, конвергенции и т. п. Мужик наш попробовал спорить, но москвич одолел его возражения. В конце концов мужик признал свое поражение. Предсказания кончились. Пробовал, но ничего у него больше не получалось.

* * *

— Что вы докладываете начальству о положении в США? — спросил у Арбатова один из его друзей. Арбатов был директором Института США.

— Докладываю то, что они хотят, чтобы я докладывал, в этом состоит искусство консультанта.

* * *

Сегодня, чтобы навести хоть какой-то порядок в России, следовало бы ожесточиться. Судить, проводить показательные процессы, повесить за шиворот мэров, губернаторов, министров за нарушение законов, за казнокрадство, взятки, за использование народных денег для себя. Судить и судить. За все годы Путина и Медведева не было ни одного

показательного процесса, а преступлений хватало. Почему не судят? Василий Иванович, например, считает — покрывают, свои своих. Другие видят причину в том, что ниточки потянутся наверх. Слишком много замешано будет начальников. Так, например, не стали судить министра атомной промышленности Адамова, замяли это дело. Примеров много. Называют и другую причину — слабая власть. Боится лишиться поддержки класса чиновников. Они целый класс. И все замазаны. Все так или иначе переступали. А других, чистеньких, почти нет. Образовалась круговая порука, общество стало обществом взаимной бессовестности.

Петра Великого обвиняли в жестокости. Но что было в его распоряжении для наведения порядка в России, в ее учреждениях, губерниях? Огромная рыхлая страна. Нет настоящей полиции. Нет честного суда. Нет грамотности. Нет дорог. А что еще у него было? Власть монарха, помазанника Божьего. Были распущенность, безнаказанность стрелецких бунтов.

Он провел казни. Показательные. Специально участвовал лично. Не мстительности ради, скорее для устрашения. Делал свою власть прочнее, нагоняя страх. А что еще было в его распоряжении? Софья-заговорщица была жива.

Из ста рублей собираемых налогов с обывательских дворов только тридцать доходило до казны, остальные разбирали чиновники. Петра обвиняют, что он доносительство поощрял. Фискальство было последнее средство припугнуть, учредили во всех провинциях фискальные службы для «донесения Сенату о нарушении казенных интересов». При самом Сенате был назначен обер-фис-

кал. Петр подобрал на эту должность Алексея Нестерова. Тот служил ревностно, подгонял производство дел, не побоялся подать донос на князя Я. Долгорукова, на Меншикова, даже на Б. Шереметева за казнокрадство. Завели дела на губернатора Смоленского, Казанского, вице-губернатора Ершова, на Апраксина, на обер-секретаря Неелова, князя Мосальского. К 1718 году возникло дело на самого Нестерова. А ведь так Петр надеялся на него, так тот рьяно взялся, себя не щадил, терпел презрение, ругань вельмож, а в конце концов стал сам братъ. Было отчего Петру прийти в отчаяние, рассвирепеть. Отправил Нестерова на плаху, да разве этим уймешь.

Петр не мог смириться, после казни сына уже никого не жалел, головы летели одна за другой. Нельзя сказать, что безрезультатно. Понятие безнаказанности пошатнулось.

Поражает отсутствие воспоминаний о Петре его сподвижников. Многие жили долго после Петра и ничего не оставили. Есть рассказы Нартова, и то сомнительные, приписывают их его сыну. То ли авторам не под силу была фигура Петра, то ли слишком противоречива.

Не понять, к примеру, было его страсть к морю. В этой сухопутной стране — откуда такое? На самом деле она совпала с потребностью России в море. Ей нужен был выход, иногда кажется, что в Петре воплотилась эта нужда, это стремление к морскому простору, что соединял Россию с другими странами. Море манило и пугало. Дальше моря — меньше горя.

Работает уборщицей на почте и в школе. Имеет комнатку, огородик. Луга — городок районный, но там свое общество, и Надя, хорошая рассказчица, пользуется успехом. Рассказы ее про то, как в войну она была угнана в Германию и была в Штутгарте, в Бремене, в Австрии. Навидалась всего. Посмотрела европейскую жизнь. Работала в цветоводстве, в сыроварне, на заводе. Вспоминает с удовольствием. Это самое яркое, что было в ее жизни.

* * *

Отец его был офицером русского флота, а в советское время преподавал в мореходке. Умер он в 1959 году. Умирая, попросил сына отслужить о нем панихиду в Спасо-Преображенском соборе. Сын в тот год получил должность редактора газеты. Тем не менее он заказал отпевание отца, сам был в церкви. Для него просьба отца была неожиданна. Получалось, что отец втайне был верующим, скрывал. Оказалось, что священник знал его, отец посещал церковь.

Сына отговаривали. Жена упрашивала не устраивать отпевания, будут неприятности, могут снять с работы. Не все ли равно отцу, мертвому безразлично. «Мы поставим хороший памятник» и тому подобное.

Волю отца он считал священной и не пошел ни на какие уступки. Отец наверняка все понимал, понимал, чем это грозит сыну, и если он попросил, значит, это было ему надо для другой жизни.

Поясняя это, сын поймал себя на том, что, возможно, у человека после смерти что-то продолжается.

В Ульяновское танковое училище мы прибыли с фронта. Офицерами. Старшие лейтенанты, капитаны. В орденах и медалях. И попали под начальство старшин. Они принялись нас гонять на строевую подготовку, на вечернюю прогулку, с песней «За-а-певай! Давай ножку!». Шел 1943 год. Фронтовики народ вольный. Слали всех все туда-то. Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут. Казарменная жизнь была непривычной. Койку надо заправлять. В столовую строем. Зарядка. Быстро наладили самоволки. Налаживание в том состояло, чтобы обзавестись деважами, ночевкой, а то и квартирой. Кормили в училище скудно. Много часов уходило на политзанятия. Эту дурость в разгаре войны... Не могу сказать, чтобы мы рвались на фронт. В Ульяновске я впервые почувствовал прелесть мирной жизни. Не стреляли. В Ленинграде ведь как: даже когда нас отвозили на отдых — помыться, вшей перебить, — все равно нас доставали бомбежки, снаряды. Спали не раздеваясь. Сапоги скинешь, ремень, pilotку долой, а остальное — только что пуговицы расстегнешь. Шинелью прикроешься. Портянки просушишь, вот и вся спальня. А здесь, хоть в казарме, однако, простыни, одеяло, матрац пружинный. Кровати двухъярусные, мне достался второй этаж. Соседом по койке был башкир Юсуп. Ночью он будил меня, шептал — пойдем поссым. Я отмахивался — не хочу, зачем будишь. Он говорил — скучно одному слезать, залезать. И так каждую ночь. Все это знали, поменяться местами ни с кем не получалось. Давал за обмен месячный паек

папиросный. Не брали. Тогда решил искать пристанища городского. Один из курсантов пригласил меня на вечер в «культурный дом». Пришли. Дом стоял на горке, над садом. Двухэтажный. Верхний этаж с большим балконом занимала семья хозяев. В гостиной за столом с плюшевой скатертью расположилось общество. Глава семьи — седоголовый, крупный, львиный мужчина, если по-старинному — землеустроитель; если по-довоенному — начальник Облзо, что означало Областное земельное управление. Две его дочери, еще их подруга, мамаша, какие-то мелькающие тетки. Сидели, пили чай, ели пирог с капустой, нас расспрашивали про фронт. Он — с Уральского, я — с Ленинградского. Для них без разницы, главное — когда кончится война. Это наше русское постоянное вглядывание в будущее, не жизнь, а ожидание жизни, нормальной жизни, ожидание, которое поглотило поколение моих родителей, затем и мое поколение. А нынче уже мои дети тоже вглядываются и докучают: ну, что будет? Когда кончится инфляция, когда покончат с преступностью? Когда начнется жизнь?

Потом играли в карты, потом Ася одна пела под пианино. Родители ушли. Мы долго еще сидели, спустились в сад. Теплынь была заполнена сиренью. Это была сиреневая чаща. Целовались. Мы остались. Спали на дощатом балконе. После этого я часто приходил к Асе, оставался. Нам было хорошо, а мне особенно. Ася где-то работала. Сестра ее часто дежурила в госпитале. Мой товарищ, кажется, его звали Лева, вскоре позвал меня в другую, более хлебную компанию. Он использовал меня для представительства. Я должен был читать стихи,

говорить о литературе, придавать интеллигентности офицерскому составу. Меня приглашали для старта. Потом обо мне забывали, я даже мешал, потому как пил мало, карты не любил, и вообще интеллигентность быстро утомляла и баб, и мужиков.

Начальником училища был генерал Кошуба. На наши ночные отлучки смотрел благодушно. Надлежало лишь являться к утренней проверке. Когда мы попали однажды в комендатуру за пьяные песни ночью перед зданием обкома, вот тут он разгневался, велел привести к нему. Это был полный, могучего сложения генерал, герой Финской кампании. Там он потерял обе ноги. Отморозил.

Он сперва накричал, изматерил нас, потом усадил и стал учить, как пить, чтобы не напиваться. В заключение преподнес нам формулу:

— Надо знать, с кем пить, когда пить, сколько пить. И где.

— А что пить? — спросил я.

— Об этом вопрос не стоит, — сказал он и почему-то велел мне остаться. Долго разглядывал меня. — Ты что, лейтенант, стихи пишешь?

— Нет.

— А что ж ты пишешь? Записываешь в книжку?

Я понял, что ему докладывали. И тут тоже все просматривалось, замечалось.

— Да так... Фольклор. Иногда.

— Например.

Я прикинул, что сказать.

— Например: держись поближе кухни, подальше от начальства.

— Известно. Еще.

— В тени меньше потеешь.

— Это в смысле — не высовываться?

— Наверное.

— Фольклор, значит? Говорят, ты стихи читаешь наизусть.

— Виноват, товарищ генерал.

— Не прикидывайся. Я думал, может, написал бы песню нашего училища. Музыку у меня есть кому заказать.

— Это лучше делать вместе с композитором.

— Вот видишь, выходит, ты специалист.

И тут черт меня дернул за язык:

— Знаете, товарищ генерал, я больше прозой интересуюсь. Я прозаик.

Генерал усмехнулся.

— Я тебе не про заек предлагаю, а про танки. — Хохотнул. Я тоже посмеялся. — Пушкин, он и прозой мог, и стихами писать. Писатель все должен уметь. Значит, ты писатель?

— Да нет, это я так, хотел бы.

Он рассматривал меня взглядом лесоруба, с какого бока начать рубить.

— Послушай. Мне нужен грамотей, доклады подправлять, историю училища, то да се... Я бы мог тебя оставить в училище. Как ты?

— Не хотелось бы, товарищ генерал.

— Ты уже повоевал, свое дело сделал.

— Отступал, товарищ генерал. А теперь другая война будет, наступать.

— Мой тебе совет, подумай. Свою пулю получить успеешь. На фронт не набивайся, от фронта не отбивайся. Можешь записать.

Когда я рассказал про это Асе, она стала уговаривать меня согласиться. Война мне к тому времени порядком надоела. Именно надоела — бестолковыми командирами, безжалостностью их к солдатам.

Предложение Кошубы преобразило Асю, в ней появилось что-то захватническое. До этого мы были связаны легким чувством без будущего. Чисто любовные отношения. Сладострастие перемежалось с радостью иметь кавалера, да еще офицера-фронтовика, а не курсанта в кирзе, пилотке. Каждая женщина считает замужество удачным завершением романа, логическим концом. По крайней мере, так было в те годы. Сейчас женщина свободна от мечты озамужнивания, свобода бывает, и часто, дороже семейных уз. Раньше «брачные узы» налагались на мужчину, цепи Гименя также влачили мужчины. Ныне женщина тоже смотрит на эти принадлежности с опаской. Ася, до того беспечная любовница, переменилась. Дала понять, что я могу поселиться у них, мне выделяют комнату, будут кормить, незачем питаться в столовке. Вечером со мною об этой затее заговорил ее отец, поглаживая усы, он, как мужчина с мужчиной, сказал, что случай такой не след упускать. Что касается Аси, то жениться не обязательно, свобода, он понимает, штука драгоценная, между прочим, в Ульяновске свободы больше, чем на фронте. Отсюда на фронт всегда можно... Ася девочка хорошая, это он не как отец, танкисты, они смертники, лично он на фронт подался бы к концу войны.

Мы поехали с Асей по Волге на лодке. Было тепло, она показывала мне здешнюю красу, крутые берега с ласточкиными гнездами, дубовые рощи.

Палило солнце. Ничего похожего на нашу, северную природу и на фронтовую природу, которая существовала прежде всего как укрытие. Природа здесь раскинулась бесстыдно, как будто и не было никакой войны.

— Тебя убьют, — сказала Ася. — Ты погибнешь. Я не хочу. У меня уже был в прошлом году... Несколько ребят, была компания, все сгорели, один только добрался до госпиталя, и то ослеп.

Предчувствия на меня действуют, особенно чужие, женские. У женщин есть какой-то чувствительный датчик сигналов из будущего, то, что было у древнего человека. Недаром ведь столько веков существовали ведуньи, предсказательницы, пифии...

Кассандра была троянская царица, предсказывала она все правильно, но никто ей не верил. В Дельфах работал центр на всю Грецию, по предсказаниям, там тоже работал исключительно женский состав.

— Я не о себе, я не претендую, можешь мне изменить... — она плакала, похоже, она вправду боялась за меня. Я сам был готов заплакать с ней над моей обгорелой судьбой.

Мы плыли по Волге, Ася сидела на руле, пела, запрокинув голову к небу:

*Мы правим в открытое море,
Где с бурей не справится нам,
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам.*

Звучала у нее эта песня — не поймешь, от кого, про кого, пела с чувством, с таким чувством беды,

что душу надрывала. Красива она была в эти минуты, в распахнутой рубашке, по-мальчишески крепенькая, я понимал ее, жалел, вдруг приоткрылась ее мечта о счастье. Останусь в Ульяновске, да еще при начальстве, должность не пыльная, тут следующее звание получить быстрее, чем на передке, живи, наслаждайся с чистой совестью, свое фронтовое отбарабанил сполна, да еще на Ленинградском, это вам не Карельский.

Асю я понимал, а вот себя — нет. С самого начала знал, что не останусь, приятно было, чтобы меня уговаривали, толком же ответить Асе не мог. В самом деле — почему? Про патриотизм, долг говорить в то время уже язык не поворачивался.

Мой бурят коротко определил — хамаугэ, что означало полное отсутствие ума. Со стороны так оно и выглядело. Последние две недели перед отправкой с Асей у нас порушилось. У нее была обида, у меня же неумение толком объяснить свое решение. Может, она подумала, что я бегу от нее, опасаюсь, что обкрутят меня, окольцуют.

— На фронт ты всегда успеешь отпроситься, — сказала Ася в последний наш вечер. Что было правдой.

— Мы можем жить не расписываясь, — сказала она. Что тоже было правдой.

Но тут же, противореча себе, она сказала, что хочет ребенка от меня, что ребенок у нас должен быть замечательный, ибо мы идеально подходим друг к другу, что на фронте меня могут ранить и тогда ребенок будет неполноценный.

Я еще ни разу в жизни не думал о своем ребенке. То есть однажды Зоя Пухаркова предупредила

меня насчет беременности. Это не входило в мои планы, в ее тоже, но ребенок тут был ни при чем, мы думали лишь про беременность, как бы не вляпаться.

Мое молчание разъярило Асю. Вряд ли я уцелею, она знала участь танкистов, слава богу, через их танковое училище прошли сотни, может, тысячи курсантов, а сколько уцелело? Всего ничего. Танк — гробница. Она повторяла истступленно, что я сгорю, меня раздавят, перекалечат, мне не выбраться.

— Ты погибнешь. Ты не вернешься. Тебя убьют. Кошуба командовал батальоном, и то остался без ног, а тебе в лучшем случае дадут роту. Это смерти.

Такое не следовало произносить, это плохая примета. На меня ее слова действовали долго, всю дорогу на фронт. До того два года войны я не помышлял о смерти. Знал, что уцелею, а тут пошатнулась, треснула моя вера, тот солдатский «авось», который помогал и в бомбежку, и под минометно-пулеметной косилкой. Что ни говори, каждый из нас с первого дня воевал с «авосем». Прежде всего с ним, ничего другого не имели. Авось не попадет, зарывались в землю, да разве от бомбы зароешься. Авось да небось, да еще как-нибудь — вся надежда наша.

Кассандра своим языком все испортила.

Ася рыдала, словно над покойником, нос распух, красный, глаза красные, вся красота сошла. Я выматерил ее с наслаждением, если убьют, то из-за нее, пусть так и знает. Ничего не осталось другого применить. Разом неприятен стал ее хриплова-

тый голос, какой-то гулящий, похабный, и ногти, выпуклые, точно когти кошачьи.

Когда поезд тронулся, Ася побежала за вагоном, я стоял у окна, она махала мне, что-то кричала, я смотрел на нее, а потом взял, да и отвернулся, нарочно отвернулся так, чтобы поняла.

В вагоне пили, закусывали подаренными гостинцами, гостинцы тогда были — пироги капустные, картошка печеная, творог да огурцы. Жалели покинутых баб. Некоторые регистрировались, чтобы хоть аттестат им оставить, чем-то отблагодарить, мало кто думал про будущую жизнь, про то, чтоб вернуться. Если вернуться, то скорее, к своим, а свои были на родине, свои — это родители, или кто уже имел свою семью. Таких было мало.

От водки на душе полегчало. По сути, Ася хотела одного — оставить меня, от фронта уберечь, то есть от смерти. Ей что надо было — хорошо бы мужа, это в идеале, но она счастлива бывала, когда шла со мною по бульвару, так что все видели — есть у нее кавалер, и не просто, офицер, да еще с орденом, с гвардейским значком, и рост подходящий, и собой вполне соответствует. Признавалась, что и такого женского счастья достаточно, по военному времени оно и немалое. Вспомнил, как водила показывать ульяновские, то есть симбирские деревянные особнячки, библиотеку, спуск к реке, бежала по тропкам, как блестили ее разлохмаченные веселые кудряшки.

Спустя много лет на каком-то книжном базаре в Москве я надписывал свою новую книгу. Когда меня просят: «Напишите мне что-нибудь», я теряюсь, я не мастер экспромтов. Но тут мне продик-

товали: «Пожалуйста, напишите — на память о том, что не случилось». Передо мною стояла девочка, подросток, было ей лет пятнадцать, шестнадцать, что-то слабо знакомое в ее лице. Я спросил — кому? Как ее звать? Она пожала плечами, засмеялась — это неважно. Я надписал. Ночью в гостинице я вдруг вспомнил, кого она напоминала — Асю. Может, где-то позади стояла ее мать, может, мать когда-то рассказывала ей, не знаю. То, что это была ее дочь, почему-то уверился. Было хорошо, что я не видел саму Асю, что она осталась в том же доме над садом в переулке, заросшем травой, остался балкон, тюфяк, постеленный на досках, все осталось, как было, появилась только эта неведомая мне девочка, дочь ее и ее мужа, или такого же, как я, курсанта, потому что война шла еще два года и мы, курсанты того училища, еще горели и горели в танках.

* * *

Творчество музыканта, художника, поэта — это то, что вызывает переход из небытия в бытие. Не-что подобное установил еще Платон. Появляется человек. Или собака. Допустим Каштанка. Или Тро-янская война.

* * *

Можно верить без основания, но нельзя сомне-ваться без оснований.

* * *

Кризис породил новые страхи — банкротство, не банка, а предприятия. Это что-то незнакомое. 91

Закрываются магазины, рестораны — на нашей улице. (2009).

* * *

Сочувствие и симпатии «представляет собой громадную важность для всех животных, которые помогают и защищают одно другого... Те общества, которые имели наибольшее число сочувствующих друг другу членов, должны были процветать больше».

(Ч. Дарвин. «Происхождение человека»)

КОММУНАЛКИ

Принялись уплотнять барские квартиры, поначалу вселяли как бы временно. После Гоноров в квартиру стали вселять уже без разбора семью за семьей. Залу, то бишь гостиную, куда въехала кассирша большого продуктового магазина под названием «Красная звезда», с двумя детьми и домработницей, живенько перегородили, сделали из нее сперва две комнаты, потом выгородили еще комнатушку для няньки. В дальней комнате, где раньше лежал я в скарлатине или кори, вселили секретаршу с «Красного треугольника». И пошло-поехало... За каких-нибудь полгода все комнаты плотно заселили, казалось бы дальше некуда. Кроме секретарши всюду по семье, одни с ребяташками, другие с бабками, приезжала деревенская родня с голодной Псковщины, оседали, внедрялись, без прописки, хоронясь от милиции и дворников, но как-то пристраивались, заполнили все щели, точно жуки-древоточцы.

Нам остались две комнаты. Вторую матери удалось пока что отстоять. Комиссия жилищного управления обходила квартиры, выписывая «излишки», как бы еще потеснить, ужать, отобрать. Про отца они не дознались, может, мать выдала себя за вдову, никогда я не узнал, как она исхитрилась, как обвела этих портфельных мордovorотов и отстояла вторую комнату, комнатуху, узкую, щелевидную, однако отдельную, с окном и печкой. Комиссия — та нашла-таки излишества, не могла не найти, задания не выполнить, — кухня. Барственная, широко просторная кухня, она для разносолов, пирогов, готовки деликатесов, излишних пролетарскому желудку. Плита, облицованная белым кафелем, большая, на шесть конфорок, с большой духовкой (газа тогда еще не было). Это предрассудки и приспособления есть мелкобуржуазность. Новый быт строится на других началах. Плиту снести, что увеличит полезную площадь, что, в свою очередь, позволит из кухни выгородить отдельную комнату, что позволит поселить туда очередников. Комиссия районных утеснителей тут же составила акт. Перегородку поставили, новой жилплощадью наделили молодежную пару, кухня превратилась в пространство, где не стало пространства, кухонные столы вдоль стен оказались заставленные вплотную друг к другу, на каждом шумит свой примус, шипит скороворода, кипит кастрюля, над столом полки с посудой, с обоих боков стиснутые, единственное общее место — железная раковина с краном.

Семьи между тем продолжали почковаться, разводиться, размножаться. Комнаты делились. Требовались новые места на кухне, мест не было, ни

один кухонный столик более не втискивался. Коридоры были увешаны велосипедами, лыжами. Стали ставить сундуки, корзины.

Утром выстраивались очереди в ванную и уборную. Торопились на работу, не повесишь вовремя номерок, доска закрывается и тебе записывается опоздание, значит, вычет из зарплаты, а то и выговор. Повесишь номерок — можешь чесать языком, курить, но опоздать — ни-ни. Посему, приспособлялись — мочились у себя в комнате в кастрюлю. По большому же ходили на работе.

Новая «кухонная пара», Чачины, оказалась скандальной. Голос у нее пронзительный, как у электропилы, лицо обглоданное, густо намазанное кремом, мелкие кудряшки «перманент», крашенные стрептоцидом, он — амбал, по-бычьему медленный, угрюмый, работал на заводе неизвестно кем, но выступал от имени пролетариата. Прежде всего они установили, что у всех комнаты были побольше, чем ихняя, опять же места на кухне не оказалось. Дрова для печки складывали в передней, где тоже все было занято, тут же он, не долго размышляя, взял корзину, куда мать складывала дровишки, и впихнул корзину в комнату к ней. Две комнаты имеют, нечего передней пользоваться. Поскольку мать спорить не стала, это его еще больше подогрело — кто она такая, что за семейка, откуда взялись, на какие средства живут? Домохозяйка, кустарь? Трудовой ли элемент, на работу не ходит, строчит на машинке...

Мать никого не боялась, кроме фининспектора. Портниха, то есть кустарь, должен быть зарегистрирован и платить налоги. Быть кустарем, значило

стать человеком не совсем советским, нечто вроде нэпмана, окончательно испортить анкету для детей, мало того, что отец сослан — слава богу, об этом пока не дознались соседи — так еще мать кустарь-одиночка. Прицеп-то какой — одиночка. Вызов всему строю советскому, коллективистскому, сплоченному.

Забеспокоилась мать, заметалась, почуяла, что этот доскональный пролетарий, товарищ Чачин, не остановится, первая акция его разохотила.

Чиновники появляются там, где есть возможность воровать, уберите такую возможность — и чиновник уйдет.

Я пробовал было чего-то высказать Чачину, получилось жалко.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы мать не пожаловалась одной из своих заказчиц, супруге какого-то милицейского чинодрала. Буквально через день к матери постучалась товарищ Чачина, просить прощения за своего гегемона. Теперь Чачин сторонился в коридоре, опускал голову, но я ощущал жар его ненависти.

Коммуналка была худшим из всех созданий Советской власти. Насильно согнанные в одну квартиру разные семьи день и ночь должны были находиться на виду друг у друга. Ни одна перегородка не спасала от соседских ушей. Было известно, что готовили, что покупали, ночная жизнь наутро обсуждалась, подслушивали, подглядывали, визнавали про любовные шашни. Призывы к бдительности. Вся жизнь проходила на виду. Я не мог уединиться, всюду меня доставала злоба совместной жизни. Казалось, эту тесноту насаждают специаль-

но, так сподручнее следить, загружать души дрызгами, чтобы поменьше задумывались. «Коммуналка несет государеву службу. — Так один из жильцов, доцент Зайкин, пояснял мне. — Трудящийся с работы домой не торопится. Всяк живет тут под присмотром, чтобы никто не отставал по дороге к социализму».

Швейная машина «Зингер» имела ножной привод, резиновый круглый ремень, шпульки, иглы, всякие никелированные части, рычажки, которыми мать ловко управляла. Катушки, смазка, обрезки материи, пуговицы, пряжки. Я мог различать креп-дешин и креп-жоржет, шифон, шелк, сатин, шевитот и всякие прочие материалы. Знал, что такое плиссе-гофре, рюшки, реглан, обильный чисто женский словарь звучал, как особый язык.

Женщины раздевались для примерки, меня удаляли в соседнюю комнату, но я уже знал тайны их туалета, бюстгальтера такие и такие, корсеты, рубашечки, резиночки соединялись в таинственный волнующий мир, совершенно не похожий на мужской. Женщины, которые приходили к матери, были не похожи на женщин коммуналки. От них пахло духами, у них был маникюр, на ногах блестели лакированные лодочки или ботики, в шубках, они походили на красоток, нарисованных в журнале мод. Эти журналы у матери сменялись каждый год. Женщины с матерью подолгу выбирали себе платья, материал, потом торговались, потом обсуждали, где достать пуговицы, какой-нибудь пояс к нему, пряжку, и как быть с декольте, украшать его чем-то, и пойдет ли сюда шарфик, платочек или шаль.

96 Боже мой, до чего ж это все было важно, и с ка-

ким пылом обговаривали, спорили, глаза горели, они уже видели себя в центре, в скрещении восхищенных завистливых взглядов, мать тоже загоралась, ее создание должно было выиграть, так, чтобы владелицу спросили: «А кто вам шил?» Фиг она скажет, разве что самой близкой подруге. Круг заказчиц ширился, появилась очередь, мать не поспевала, работала допоздна, заказчицы сердились, случались скандалы. Я засыпал под стрекот швейной машины, звук этот сопровождал мою юность.

Население квартиры размножалось и все возрастало, никто не уезжал, почти все стояли на очереди, мечтали об отдельной квартире и понимали, что жить им тут придется до конца жизни.

Сосед Зайкин иногда зазывал меня к себе в комнату на чашку чая, сажал в кресло, сам же ходил с чашкой вокруг стола и говорил о том, что только коммунистическое общество даст возможность людям получить отдельную квартиру и уединиться. Без уединения человек не может стать полноценной личностью. Надо мыслить, надо думать — я не могу толком обдумать свою работу, сейчас придет жена, будет рассказывать про безобразия в своей мастерской, потом к ней придет соседка, и вечер пропал. У нас воспевают коллективизм, а что это такое, ты знаешь? Нет, ты ответь, ты спорь, если не согласен.

Для меня коллективизмом был мой класс. Ничего плохого, я любил свой класс, общие походы за город и вечеринки.

— А ты не думал, что это стадность? Стадо. Вне стада человеку уже неуютно. Приучили.

* * *

По многим причинам можно считать себя несчастным, но есть одна-единственная причина для счастья — это то, что я *есть*.

Жизнь в любой момент готова прерваться — инфаркт, землетрясение, убийство. Каждый божий день я *ущелеваю*.

Все остальное — это небольшое благополучие. Например, я никогда не мог повести жену в хороший ресторан. Вечером видно сквозь окна — там полно, нас там нет и не будет. На самом деле, нам, всем таким, как я, надо совсем мало. Чтоб нам перестали врать. Чтобы менты нас не цепляли и не требовали денег. Чтобы я получал деньги за работу, а не подачку. Еще бы иметь маленькую отдельную квартиру.

* * *

Оказалось, родился я в древней, мало ныне известной стране «СССР». Не все уже знают, что значит эта аббревиатура.

Чем дальше уходит в забвение эта страна — тем она становится для меня интереснее и даже признаюсь, — милее. Мы ведь как живем — сравнением. Познаем тот Советский Союз, сравнивая его с нынешней Россией. СССР был оснащен множеством учреждений, кружками, читальными залами, театральной самодеятельностью. В каждом районе были парткабинеты, политпросветшколы. Собирались профсоюзные собрания, комсомольские и прочее, и прочее. Шла общественная жизнь, было понятие «общественная нагрузка». Часто обязанность нудная. И собрания надоедали. Выходили стенгазеты.

То, что называется частной жизнью, было не в чести, личное было отодвинуто общественным.

В новой стране России все это изменилось. Общественная жизнь резко сократилась. Человек остался один на один с телевизором.

Хорошие работники получали грамоты. Висели доски почета. За доблестный труд награждали медалями, орденами. Ничего этого не стало. Исчезли звания ударников, Героев труда.

Одно время казалось, что так и надо, все это устарело, изжито и никому не нужно.

И что же мы получили взамен?

Открылось множество ресторанов, кафе, баров. Хороших, роскошных, современных, ничуть не хуже европейских. Появились заведения всех мастей, всех стран, китайских, японских — не счесть. Испанские, мексиканские, французские, итальянские. Есть рыбные, устричные, бельгийские... Есть ресторан «Идиот», есть «Заветы Ильича», «Кукарача», на любые вкусы. Никогда такого выбора не было. Есть магазины sex-shop.

Когда-то Пушкин мечтал:

*Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.*

Из всей программы поэта осуществили, конечно, последнее — трактир. Дороги остались страшные, «мосты забытые гниют». Сколько лет город мечтает о тоннеле под Невой. Хотя как-то избавиться от пробок. Напрасно. Дураков не убывает, а дорог не прибывает.

Прошло почти два века, неподвижные века.

* * *

1973 год, 9 мая, Марсово Поле. Полдень. Однорукий седой мужчина с орденом Красной Звезды ходит среди пришедших сюда ветеранов, выкликает: «408-й! кто с 408-го?» Никто ему не отзывается. Женщина тоже кричит: «Есть кто со Второго вспомогательного?» Без ответа. Я спросил у мужчины: «Что, никого?» «Да, видно, никого, — сказал он. — Командир роты Савельев писал мне, чтобы я приехал, а его нет, и никого нет... Вот, привез...» Он поднял мешочек, откуда торчала бутылка, просвечивала банка с грибами.

Мы присели выпить. Поодаль стояла его жена и внуки. Ему неохота было к ним возвращаться. Еще несколько неприкаянных одиночек ходили в толпе, присматривались к встречным, нерешительно улыбались. Было несколько групп, шумных, пальто распахнуты, чтобы видны были значки, медали, ордена. Похлопывали друг друга, показывали фотографии. Где-то пели, жалкие старушечьи голоса криком кричали.

Однорукий несколько лет не был здесь, занимался своим домом на Волхове. Выбрался, да, видать, поздно. А хотел внукам показать однопольчан своих.

Спустя полвека брат Таирова все так же холодеет от ужаса, если ночью раздается звонок в дверь.

Их отец был управделами обкома партии в Ленинграде.

Когда Юра пришел из школы, его сразу отправили в Большой Дом и там давай допрашивать — а кто приходил к ним в гости, о чем говорили, какие анекдоты рассказывали.

Ему запомнилось: стертые ступени лестниц Большого Дома. Дом-то был недавней постройки — 1930 года, НКВД в нем расположилось в 1932-м, так что и двадцати лет не минуло.

Представляете, сколько народу тут исходило.

Мальчика приговорили к ссылке на пять лет.

У нынешней его жены Светланы все сложилось хорошо, поскольку она родилась под счастливой звездой. Такая уверенность действительно помогает людям. Она училась в музыкальной школе для одаренных детей при Консерватории, а там, после «Ленинградского дела», осталось всего двое детей, не высланных из города. Отец Светланы — Эмиль Бояр.

Светлана вспоминает о своей школе с благодарностью. Люди чувствовали абсурдность «дела» и как могли, хотя бы детям арестованных старались облегчить жизнь.

Когда арестовали отца, семья ее лучшей подруги всячески помогала Боярам. Светлана решила вступить в комсомол. Все понимали, что ее биография может помешать ей. Пионервожатая учила, как вести себя, как отвечать на вопросы, говорить лучше всего про успехи в учебе. Все прошло хорошо, но

перед самым голосованием встает ее самая лучшая подруга: «Пусть Света расскажет, за что арестовали ее родителей».

В зале замешательство, пионервожатая заявляет: «Это к делу не относится», и удается перейти к голосованию. Приняли!

Домой шли вместе. Подруга объясняла Светлане: «Ты должна понять, что идеи коммунизма мне так дороги, что даже дружба не должна останавливать, комсомол должен знать всю правду».

Светлана зарыдала. О чем? О том, что она не достойна такой дружбы с такой комсомолкой. Пришли домой к подруге, там их ждал обед. За обедом родители расспрашивали про собрание. Подруга рассказала про свое выступление. Наступило молчание. Отец ее встал, подошел к ней, влепил пощечину, потому другую и молча вышел. Потом обе рыдали, просили друг у друга прощения.

* * *

«Вчера дома у меня произошел трудный разговор. Я вернулась с рынка злая, всю торговлю захватили черножопые. Продают нашу картошку, нашу зелень, нашу свеклу, то, что перекупают, вытеснили наших русских начисто.

Муж и сын стали мне выговаривать, мол, национальность ни при чем, у нас свободный рынок — "кто смел, тот поспел".

Почему "ни при чем", а я не люблю их, я их сюда не звала, пусть они у себя торгуют, в крайнем случае, пусть свой урюк продают. Мы к ним не лезем, и вообще мне противна их миграция».

Все на Земле кормятся бесплатно, все имеют бесплатное жилье, все, кроме человека.

Всю жизнь хороший ученый Данила Лебедев боролся с Лысенко и лысенковцами. Иногда сдавался, потом опять не мог сдержаться, абсурд лысенковщины выводил его из себя.

После августовской сессии ВАСХНИЛ он сказал: «Не буду отрекаться от своих учителей, от вейсманизма, мне еще долго жить, так я буду гордиться, а так буду презирать себя».

Вывели из партбюро «за менделизм».

В 1948 году он потерял надежду, письменно отрекся. За это оставили его в партии. Сдали. Ну и что, я понимал его и нисколько не осуждал. От него отцепились, и он быстро пошел в гору. Фронтвик. Ученый. Стал директором БАН^{*}. В 1949 году потребовали выгнать из библиотеки сто человек. Евреев и имеющих родных за границей. Лебедев остался. Не мог на такое пойти. Выгнали. Устроился в Ботаническом институте.

Лысенко в то время выступал уже с невероятными утверждениями. Когда из его опытов опять ничего не получалось, он публично объяснял: «Потому что вы не верили. Надо верить, тогда получится». Такое уже ни в какой марксизм не лезло.

Данила Лебедев объяснил мне: «Сталин поддерживал не только Лысенко, он и Циолковского поддерживал. Они оба были самоучки. А у Сталина

* Библиотека Академии наук.

был комплекс — не имел высшего образования. Хоть и корифей, гений, а диплома нет. Гении без диплома не то, так вот вам самоучки: Лысенко, Циолковский».

РОССИЯ

Не знаю, уцелеет ли Россия. Слишком много бед на нее свалилось, и все разом. Даже думать об этом больно. Демография. Население уменьшается, коренное население, причем быстро, быстрее, чем в других странах Европы. Поток мигрантов растет, таджики, узбеки, китайцы... Сегодня они на всех стройках, они прокладывают трубопроводы, кабели. 750 тысяч бездомных детей, наших, русских, беспризорники, больные, голодные волчата. Больше миллиона сидит по тюрьмам и лагерям. Растет количество больных СПИДом, алкоголиков, наркоманов тоже счет идет на миллионы. Казнокрадство угрожает национальной безопасности — триллионы рублей из бюджета исчезают бесследно. Промышленность не растет. За последние годы построены были сборочные заводы автопрома — «Форд», «Тойота», «Дженерал Моторс» и т. п. Это не производство, это всего лишь сборка, механический труд, китайщина в худшем смысле, «без божества и вдохновения». Да и вся наша индустрия исчезла, ничего своего Россия не производит, не создает. Русских товаров в Европе не найти. Только нефть и газ. И еще лес, да и то кругляк, даже досок не экспортируем, только цельными бревнами. Я вижу каждый день составы, которые везут их в Финляндию.

12 декабря 2008 года в Филармонии отмечали юбилей Юрия Темирканова. Пригласили звезд. Звезды первой величины поздравляли юбиляра. Я слушал этот замечательный концерт и вдруг подумал: все они — Репин, Кисин, Хворостовский, Марис Янсонс, Щедрин, Н. Гутман, все уехали из России, живут теперь за границей. Там лучше? Да, лучше, там платят больше, там больше внимания к ним, интереса, там спокойнее, меньше хамства, выше культура.

Молодой пианист Кисин уехал, чтобы избежать службы в армии. Три года предстояло ему трубить. «А чем он лучше других?» — доказывали мне. Лучше, лучше всех других, он был чудо-отрок, чудоталант. Его не то чтоб освободить от армии, ему надо было дать квартиру или коттедж, дать спецстипендию. Лелеять его надо было. Он правильно сделал, что уехал в Европу, там все это получил с лихвой. Там он нарасхват. Так ведь было и с Нуриевым, и с Репиным, с Барышниковым, и прочими. Россия — мачеха. Таланты для нее пасынки, ну не выносит она ничего талантливого.

Теперь из России уезжают не евреи по причине антисемитизма, не ученые из-за нищеты в нашей науке, теперь причина простая — там лучше. Вообще лучше. Там уже образовалась достаточная русская диаспора, есть с кем общаться, и потихоньку идет переселение. Боюсь, что кризис может усилить этот процесс.

В двадцать первом веке, похоже, закрепилась привычка жить на халяву, то есть за счет газа и нефти. Не производить ни товаров, ни машин, пользоваться высокими ценами на энергоносители и лежи себе

на печи, качалки качают, по трубам течет — что еще надо. Огромная, богатая страна погрузилась в ленивую полудрему. Транжирим то, что принадлежит детям и внукам. Заросли поля, опустели деревни...

* * *

Настоящее — точка, где сходятся прошлое и будущее.

* * *

Академик К. имел несколько милых поговорок:
 — А где овес? — то есть о деле.
 — Хороша наука физика, только жизнь коротка.
 — Давай возьмем палочки и пойдем бродить по свету. Посмотрим, как люди живут. Жизнь уходит, а мы ничего этого не видели.
 — Чем прославим науку?

* * *

Появится ли новая мечта, ради которой будут жертвовать собой, близкими? Мечта о справедливом устройстве.

АВТОБИОГРАФИЯ

Сколько я их написал за свою жизнь. Полагалось прикладывать к анкетам при поступлении, при командировках, при зачислении, повышении, заявлении.

Из чего они состоят — из сообщений: родился, учился, родители, женился, поступил, где жил, был,

служил. Все просто. Лучше, когда бедно. И бледно. Этакая справка. Про жену. Как ее зовут, где служит. Все уместается на одной страничке. Все нужное. Не нужно ни про любовь, ни про ошибки, сомнения, раскаяния. Ни о том, как я хотел покончить с собой. Излишние надежды. Разлука... извините, это никому не интересно. Почему, ведь это и есть главное, история чувств, душевные поиски. А мои герои, когда-то я видел их в ученых-физиках. Потом наступило разочарование. Вернее, избавление от прежних увлечений. Тоже интересная была история. Была и другая страсть — к путешествиям. Алтай, Дальний Восток, я бродил по австралийскому бушу, жил у сельского врача в Луизиане, спускался на барже по Миссисипи, облазил остров Кюрасао... Бледнее, богаче, но всюду — страхи, деньги, ссоры, зависть, мечты. Все, как у нас, всюду прелесть птиц, прелесть детей. Путевые записки жанр привычный и опасно легкий. Я пытался увидеть чужое как находку, как удовольствие.

Не знаю, из чего образуется «я».

Если бы я жил не в Ленинграде, а в Ленинграде не на Литейном, в старинном доме, может, я был бы другим. Если бы я учился в другой школе, если бы не было белых ночей, может, они больше значат в автобиографии, чем мой диплом. Из чего мы состоим, сколько во мне от матери, сколько от Черного моря или от контузии при бомбежке под Пулковым. Легче написать биографию другого человека, чем свою собственную.

На моих руках умер старшина Лазарев, кажется, так была его фамилия, мина разорвала ему живот, ноги, всю нижнюю часть. Оттуда шло теп-

ло. Я прислонил его к машине и держал, чтобы он не повалился. Он кричал, матерился, затих, стал смотреть на меня, все удаляясь, удаляясь. Как будто его утаскивали, что-то уносило его.

С годами картина эта не блекла, становилась все явственней, страшнее — человек уходил из этого мира, от этого мира, куда уходил?..

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

У Екатерины Великой было два суждения, которые она довольно часто изрекала. Первое: «Всегда в окружающем обществе находится кто-то умнее меня». Ее величество не страдала самоуничижением, мнение о себе имела высокое. Царедворцы всех рангов, иностранцы ежедневно превозносили ее ум, между прочим, небезосновательно. Она же, выходит, головы не теряла, сохраняла важнейшее качество — самоиронию, и не стеснялась проявлять ее.

Второе ее изречение не менее замечательное:

«Меньшинство всегда право». Она могла убедиться в этом на практике своего правления, слушая своих приближенных Потемкина, Бецкого, Суворова, Орловых, Разумовского. Она сама нередко оставалась как бы в меньшинстве. Ум, мудрость, собственно, в том и сказываются, что они видят дальше, они предусмотрительнее, они предугадывают на несколько ходов вперед.

* * *

На биологической школе под Москвой запомнилось ощущение умственной высоты, кругом та-

ланты, небожители, мудрецы, эрудиты. Среди них то и дело попадаешь впросак. Ходишь дурак дураком. Вдруг утешение. Было удивительно приятно обнаруживать, что боги не понимают, как действует прибор для измерения давления крови, признаются в этом, не могут разобраться в том, какая у нас эпоха, что это за период в истории человечества. Вообще, чем крупнее ученый, тем больше у него вопросов к окружающему миру, тем больше он *не знает*. Я даже не берусь определить, насколько важен уровень незнания, — то есть понимания того, что именно ты не знаешь — для ученого, но на меня это незнание простого всегда производило чарующее впечатление. Помню, как на Можайском семинаре биофизиков Волькенштейн М. В., Тимофеев-Ресовский Н. В., Блюменфельд Л. А. и прочие светила горячо обсуждали — почему, если перевернуть стакан с водой, прикрытый картонкой, то вода будет выливаться, она ведь не должна выливаться, на нее давит атмосфера с такой силой. Не смогли договориться и признались в своей беспомощности.

Это признание было для меня отрадой. Я ощутил загадочность вещей вокруг себя, простых действий — столько таинственного в воде, в огне, в аромате цветка. Естественные науки влекли меня все больше, чем филология. В той же ботанике, в энтомологии тайны могли быть разгаданы большей частью однозначно, кроме того, они сочетались с видимой красотой. Например, расцветка колибри, узор крыльев бабочек, фантастические формы жуков. Все целесообразно, а вот разгадать трудно. Пение птиц, их поведение, их строитель-

ные способности, когда они создают гнезда. Я бы на уроках биологии рассказывал школьникам о загадках поведения животных, о том, что птицы во время перелетов определяют маршрут неизвестно как, и до сих пор не удастся найти разгадку этому феномену. Рассказал бы о неудачах исследователей. Таинство природных явлений так велико, что наука часто терпит поражение. Человек с его приборами, знаниями только-только надкусил плод познания. Благоговение перед мудростью природы необходимо, прежде всего я бы старался обрисовать именно непостижимые загадки каждого муравья, каждой букашки. И показал наше невежество. Смирение перед лицом природы, вот чего не хватает. Хотя как-то обуздать наглость человека, возмнившего, упоенного своими машинами.

Однажды из Москвы приехал Даниил Семенович Данин, упросил меня пойти к Абраму Федоровичу Иоффе. Кажется, Данин работал тогда над книгой «Неизбежности странного мира» об истории атомных открытий. Дело было в Комарове. Я договорился через Лазаря Стильбанса, одного из любимых учеников Абрама Федоровича. И мы отправились к нему на дачу, где я уже бывал. Целый вечер Абрам Федорович рассказывал про свои встречи с Резерфордом, Бором, Эйнштейном — все это было так интересно, что мы как уселись в столовой, так и не вставали, почти не видели участка и дачи. Абрам Федорович оставил нас на ужин, весьма постный, без всякого спиртного, творожок и жидкий чай, таков был суровый порядок в этом доме. Супруга его, Анна Васильевна, блюла покой и здоровье Абрама Федоровича добросовестно. Не следует, однако, ду-

мать, что комаровская жизнь Абрама Федоровича была уж такой занудной. В одно из моих посещений он показал нам лису и лисят, живущих на его участке. У этого семейства установились какие-то отношения с семейством академика.

ЦИТАТА

Просматривали фильм «После свадьбы». Ставил его М. Ершов по моему роману. Просмотр происходил в Смольном. В кинозале собрались члены бюро обкома во главе с персеком В. С. Толстиковым.

Фильм не понравился. Особенно то, что касается колхозной деревни. Скот голодает, падеж, колхозники стаскивают солому с крыш, чтобы как-то прокормить скотину. Сцена эта вызвала возмущение Толстикова. «Откуда вы это взяли, искали нарочно отставшие колхозы, может такое когда-то и было, но у нас в области такого нет, не знаете вы народа, жизни колхозной и т. п.» Это он по окончании фильма разразился речью. Миша Ершов сидел поникшим, не смея возражать, даже хоть как-то защищаться. И далее стали один за другим нас обличать секретари за то, как мы отстали от жизни, понятия не имеем о том, что творится, подпеваем критиканам, нашим противникам из Би-би-си, повторяем их, ближе надо быть к народу...

Наконец, я не вытерпел, рассказал, что творится в Новгородчине, где я проработал некоторое время в МТС, и среди прочего сказал: «Писателю, между прочим, полезно видеть жизнь издали. Как извест-

но, чем дальше от народа, тем лучше видно его характер и особенности».

— Это откуда известно? — прервал меня Толстиков.

Сказал я это раздраженный нажимом, и тут на его вопрос хотел привести в пример римскую жизнь Гоголя, но сообразил, что лучше не разъяснять и примеры не приводить.

— Ну как же, всюду приводятся эти слова А. С. Пушкина, — объявил я уверенно и непререкаемо.

Пушкин — это не Лев Толстой, не Ленин, он, конечно, вождем не считался, но и ошибок идеологических за ним не числилось, так что начальство промолчало.

На обратном пути Миша Ершов спросил меня — где это Александр Сергеевич так высказался.

— Точно не помню, — сказал я, — конечно, не по поводу колхозов.

Во всяком случае, Пушкин помог отбиться.

* * *

— Пройдошистый у нас директор. Мы с ним заспорили, я ему говорю: «Я бы с вами, Николай, Николаевич, не пошел в разведку». Так он мне на это: «Вы и без меня бы не пошли». Нашелся! А я так быстро не могу, у меня в голове вечная мерзлота.

* * *

Тот, кто лжет, знает правду. Значит, во лжи есть правда, хоть какая-то доля. А вот в правде лжи нет.

112 В лжи еще есть умысел, есть цель, есть умение,

искусство, так что, согласитесь, ложь куда богаче правды.

* * *

Михаил Голубовский, доктор биологических наук, упорно возвращает нам полузабытые труды великих биологов России — в том числе А. Любищева, В. Эфроимсона, Н. Тимофеева-Ресовского, Н. Кольцова. Статья за статьей, в самых разных журналах, «больших» и «маленьких», научных и популярных. В России, а в последние годы в Штатах, где он ведет научную работу, он постоянно публикует воспоминания, документы, по-новому осмысливает вклад этих ученых в современную науку. Прекрасна его статья о В. П. Эфроимсоне. Поводом для нее послужил выход удивительной книги Владимира Павловича «Гениальность и генетика» (1998). Умер Владимир Павлович в 1989 году. Среди его классических работ выделяется статья «Родословная альтруизма». Качество, которое у нас мало изучают, не модное оно. Боюсь, что не только у нас, и в Европе тоже не вникают, а вот Владимир Павлович обосновал как генетик необходимость альтруизма в становлении человечества.

Казалось бы, что борьба за выживание должна была развивать в пралюдях отнюдь не альтруистические инстинкты. Но Владимир Павлович показал, что выживали и оставляли потомство именно те племена, взрослые особи которых при появлении опасности не убегали налегке, а прежде всего спасали своих детенышей; выживали те племена, которые не считали обузой стариков, не способ-

Все было не совсем так

ных уже добывать пищу, а заботились о них, так как в те дописьменные времена старики были хранителями опыта. Таким образом, альтруизм в современном человеке появился не только в результате воспитания, но имеет в своей основе более глубокие и надежные корни. Позже Владимир Павлович говорил мне, что А. Д. Сахаров сказал по поводу этой статьи: альтруизм — это последняя надежда человечества, генетические корни альтруизма. — Что это, необходимость? Или они исчезают? Атавизм?

ЕЩЕ ОДИН МИР ЛЮБВИ

Джеймс Хэрриот не писатель, он ветеринар. Писателю такую книгу не написать. Потому что это не сочинение, это рассказ о своей работе. О том, что накопилось за многие годы работы. О фермах, их коровах, овцах, свиньях, собаках, кошках. Джеймс Хэрриот — писатель потому, что книги его и на родине и в других странах читают так, что этому может позавидовать любой романист. Это не биография, не рассказ бывшего человека, не мемуары. Это книга, какой, кажется, еще не было.

Животные, которых Хэрриот лечил, несмотря на свою бессловесность, обладают характером, у каждого свой нрав, поведение, оно бывает поинтереснее, чем у их хозяев. Казалось бы, работа ветеринарного врача в сельской глуши Йоркшира однообразна, утомительна и уж совсем мало привлекательна — скотные дворы, навоз, отел, скот, чего стоят болезни этих скотов, а грубые фермеры, их

невежество и требовательность... Вызовы и ночью, и в праздники. Физическая тяжелая работа, и все одно и то же, из года в год. В чем тут можно найти утешение? Даже при юморе, откуда взять терпение в стычках со скупостью фермеров, с их подозрительностью. Сколько тут приходится хлебать и унижений, и своего профессионального бессилия, потому что все это происходило в те времена, когда не было пенициллина, не было многих современных препаратов и оборудования.

Ощущение однообразия или тягости своего дела никогда не позволило бы автору сохранить в памяти мозаику всевозможных эпизодов, подробности прошедших лет вплоть до масти, физиономий рогатых пациентов — какой-нибудь козы Тины или собаки Рип. Откуда все эти детали, подробности, эти голоса, мычанье, брыканье давно ушедших из жизни тварей, о которых помнит он один. Откуда это неистощимое терпение и к людям, и к животным? Конечно, от любви.

Хэрриот любит и сострадает своим больным как врач. Пусть скотский, но врач, и, конечно, этика врача соблюдается им в полной мере и пронизывает всю его практику. Так-то так, но тут заключено нечто большее. И любовь его, она ведь тоже должна чем-то питаться, она имеет свои истоки. Какие? В чем главный секрет и деятельности, и жизни Хэрриота? В том, наверное, что все живое, с которым он имеет дело, будь то пес Брэнди и его хозяйка миссис Уэгсби или телка Джека Скотта и сам Джек, они для него одинаково созданы Божьи, достойные любви и в этом смысле как бы равноправные твари. Недаром одна из трех

его книг называется в оригинале «Все они Божьи создания» (ее назвали в русском издании «И все они создания природы»). Созданные Творцом, заронившим в них искру Божью, они все чудо, они венец творенья. Это может быть высшая форма любви, когда Природа обожествляется, когда нет места сомнению человека как высшего создания. Для Хэрриота нет никаких преимуществ у человека, и человек у него отнюдь не превосходит своих пациентов. Существование кота Фреда облагораживает существование его хозяина. Кошка — единственное существо, которое сумело в этой чертовой душе пробудить чувство привязанности и любви. Каковы права человека в этом мире? За что его считать царем природы? Только право сильного. Никакого другого права нет у человека над другими животными. Но разве это право?

Для Хэрриота «все они» именно создания Божьи. Это религиозно возвышенное отношение ко всему живому питает его любовь. Отсюда бьет неиссякаемый источник его доброты и терпения, сочувствия к страданиям любой бездомной собаки...

Все его книги преисполнены этой любовью так же, как его душа. Здесь нет никакого зазора между написанным и пережитым. Вот почему, читая страницу за страницей, как будто соприкасаешься с любящей душой, и нет между нами и им, автором, языка, нет стилистики, хотя все это наверняка присутствует, но в том-то и счастье наше читательское, и талант автора, что это никак не осознается.

Хэрриот лечит животных, но эти рогатые, хвостатые, мычащие, летающие твари помогают рас-

крыть человеческие характеры ярко и глубоко, с неожиданной стороны.

Почти ни разу Д. Хэрриот не осуждает, не бранит фермеров, тех, кто унижал его. Он не позволяет себе высмеять их невежество и хамство, не позволяет отплатить в этой книге своим обидчикам. Настойчивость, с которой он ищет в человеке доброту, может, самое удивительное. Ему не приходится выбирать, с кем иметь дело, он обязан являться к самым разным людям, терпеть их капризы и самодурство, глупость и чванство. Но и люди для него нравственные пациенты, и их он лечит своим терпением и любовью.

Я все время говорю «книга», хоть речь идет о трех книгах, которые писались одна за другой, уже не молодым автором, теперь они изданы все вместе, повторяя то превосходное издание, которое вышло в Англии. Там, на родине автора, его книги пользуются успехом почти удивительным, если учесть, что нет в них ни острого сюжета, ни секса, никаких литературных новаций. Эта книга старомодная, и в то же время непривычная. Успех ее не только в Англии, но и во всем мире, если вдуматься, обусловлен нашей тоской по добру и душевности, сегодня людям более всего не хватает примеров нравственной красоты, жизни во имя высоких идеалов. Альберт Швейцер, мать Тереза, Андрей Сахаров — таких людей слишком мало, слишком ожесточенно, бесчувственно к страданиям человеческим нынешнее время.

Жизнь Д. Хэрриота не претендует на подвиг, в его книге нет призывов, нет философских обоснований, нет дидактики. Он не моралист, он ни в

чем не пытается убедить нас. Его поражает, что по всему миру людям оказалась интересна его личная жизнь. В этом-то и сила его книги. Она вдруг открывает без всяких на то намерений вечную проблему смысла человеческой жизни. Захолустье, тяжкий, не замечаемый труд ветеринара. Читаешь и видишь, как непредсказуемо ведут себя животные, как своеобразны фермеры, суровая их крестьянская жизнь. И как романтична профессия ветеринара, какое глубокое удовлетворение может она доставлять. Он возвысил не только свою профессию, он показал, как находить счастье в самом, казалось бы, неприметном труде. А кроме того, еще существует возможность видеть всегда веселое и смешное. Эта книга освещена улыбкой, а то и смехом. Прекрасное чувство юмора, такое же доброе и любовное, как и многое другое в этом человеке. Как хорошо быть веселым, незлобным, уметь прощать людей. Но если это щедро вознаграждается, то почему же так мало таких ветеринаров, врачей, так мало хэрриотов? Преимущественно скромного, почти бедного быта, жизни, устремленной вглубь, а не вширь, становятся в этой книге завидными. Путешествия — редкость, роскошь малодоступна, праздников мало, одежда, еда, все самое простое, автомобиль старенький, дешевый, но, оказывается, есть другие повседневные радости и их множество, почти каждый визит врача полон неожиданностей и загадок... В своем предисловии Хэрриот пишет о том, как создавались эти книги. В его замысле не было никакой сверхзадачи, он всего лишь отбирал любимые эпизоды из своей практики, «те, над которыми моя семья и я смеялись много лет». Навер-

ное, так оно и было. Надо, оказывается, всего лишь любить все те прекрасные и удивительные создания, это и есть самое главное и нужное всем.

* * *

Я застал конец его рассказа:

— ...На работах мы его заслоняли, давали посидеть, отдохнуть. А вот на обратном пути это случилось. Я его поддерживал под руку. Мы полпути прошли. Я устал, чувствую, что больше не могу, сил нет. Стал других просить, никто не отзывается, я его отпустил. Он сполз на землю. Лег. Колонна идет, останавливаться нельзя. И я иду. Слышу крик, потом выстрел. Пристрелили его. Таков был порядок. Всю жизнь я себя корю. Я решился рассказать об этом на похоронах его вдовы. Думал, расскажу и отвяжусь, перестану себя мучить. Ничего подобного.

Вдруг он всхлипнул, стал руками утирать глаза, словно запихивал слезы обратно.

* * *

Похоже, что Филимонова изготавливали два разных мастера. Сперва получилось что-то невразумительное. Ноги балетные, но колесом, глаза голубые, но с азиатским разрезом, голос рычащий, дикий, а волосы золотисто-ангельские. Потом стали его исправлять, сделали повыше за счет шеи, дали улыбку по-детски счастливую. Получилось не разбери поймешь, что за личность, начнет толково предлагать, а в итоге вздор получается. Одевался он тоже странно: верхняя половина с шикарной бабочкой, а нижняя — рваные джинсы, грязные кеды, шнурки волочатся. Но чем отличался Филимонов от остального

населения страны, так это смехом. Никто так не смеялся, как он. Его смех подхватывал вас и уносил, не считаясь с вашим желанием, настроением. Замечательно он смеялся. Причем не по чепухе, он извлекал смешное из чего угодно. У него идея была — смех это здоровье, это лекарство от любых болезней. При смехе выделяется что-то такое, какая-то биохимия, и она исцеляет.

* * *

Вся русская жизнь до Петра была сухопутной. Да и поныне большая часть моих соотечественников проживает среди лесов да полей, моря не видали, по океанам не плавали. Бури, шторма нам неизвестны, не попадали в просторы, где земли нет, не видно, кругом вода. Это состояние — особое, оно известно почти всем европейцам, кроме нас.

* * *

В 1961 году в Москву приехал Нильс Бор. Он выступил с лекцией в Институте физических проблем. Его спросили, какие у его школы физиков отличительные черты.

— Первая черта, — сказал он — мы не боимся показать себя дураками перед нашими учениками.

Переводил его Лев Ландау. Он перевел так: «Я не боюсь обзывать своих учеников дураками».

Ошибся? Но скорее всего это соответствовало характеру Ландау. Здесь проявилась разница двух ученых.

Рассказал нам про этот случай Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский и тут же заметил, что сам не стесняется иногда признавать себя

дураком перед своими учениками. Мы при этом переглянулись. Он придерживался и двух других правил Нильса Бора — даже в слабой работе отметить положительное и еще — не терять чувство юмора. В поздних заметках о Николае Владимировиче у меня было еще несколько подробностей, о коих недавно упоминали в трудах международной конференции, посвященной 105-й годовщине со дня рождения Н. В. (Дубна, 2007). Фредерик Жолио-Кюри, поклонник Н. В., написал о нем письмо Сталину, хлопотал у Берии выволить его из лагеря. Берия спросил: действительно ли он так талантлив? «Он гениален», — ответил Жолио-Кюри.

Н. В. «доходил» в Карагандинском лагере. Его успели разыскать и поставить на ноги.

В 1950 году директор Института биофизики Общества Макса Планка выдвинул Н. В. на Нобелевскую премию.

Говорят, что русская наука, литература имеет мало Нобелевских премий. Но что делать, если советская власть активно мешала выдвигать своих ученых и писателей. Так было с Н. В., Н. Вавиловым, с К. Паустовским, с А. Ахматовой. Это только то, что я знаю.

* * *

- Может ли компьютер думать?
- В нашем институте больше некому думать.

* * *

Кажется, Б. Брехт сказал — трудно жить в стране, где нет юмора, но еще труднее жить в стране, где без юмора не проживешь.

* * *

Во всех городах стояли памятники Первому вождю. Вытянув руку, он указывал направление, куда двигаться. Направления получались разные. Но никто не смел сомневаться, потому что тут же висел плакат, на котором вождь подтверждал — правильной дорогой идешь, товарищ!

* * *

Из беспорядочных обломков ваз, тарелок он создал древний город и поселился в нем со своими учениками. Археология — чудесная наука.

* * *

После революции предложили в Петрограде проект: на Александровскую колонну водрузить вместо ангела звезду. Потом появился другой вариант — Ленина.

* * *

Мой давний друг Виталий Г. был один из плеяды блестящих молодых физиков России. Таких, как Грибов, Ансельм, Поляков, Евгений Александров — я ограничусь лишь своими знакомыми. Виталий был мой друг со школьных лет. Он выделился несколькими удачными работами, статьи его перевели, признали, стали приглашать с докладами в Европу, в США. Выступал он хорошо, с юмором, смело, ему нравилось признание, — шутка ли — иностранной аудитории, то был конец пятидесятих—шестидесятых годов, для советского человека было в новинку. Ему нравились исключительность его поездок, чужие страны,

чужие институты, он бывал не туристом, как мы, а сам, самостоятельно и по делу. Английский у него звучал все лучше. Был момент, когда его начало беспокоить, что он запускает собственные работы, отрывается от лаборатории. Но тут подвернулись заманчивые предложения — в Индию, затем в Японию. Соблазны одолели. Из поездок он привозил пластинки: джаз, битлзы, неведомые нам эмигрантские песни. Он любил музыку, хорошо ее чувствовал. Еще он любил и знал русскую поэзию, мог подолгу с чувством услаждать нас по памяти чтением стихов. В обществе, на вечерах он был в центре внимания. Девушки влюблялись в него наотмашь. Мы прозябали в его тени. Мы сами заслушивались его рассказами о встречах с европейскими знаменитыми учеными, он показывал снимки, где был рядом с Сиборгом, Сциллардом. Люди как личности интересовали его исключительно для украшения своей особы — я был с тем-то, у того-то... Тщеславие требовало все больше времени, оно затягивало, от него ждали новых знакомств, рассказов, имен. Его выдвигали в какие-то советы, в Пагоушское движение. Но что примечательно, он там ухитрился сделать много дельного.

Но вот однажды он рассказал мне, как ускользнула от него Нобелевская премия, та самая, что получил физик Мессбауэр за открытый им эффект в ядерной физике. Рассказал со смехом, как этот эффект он получил и «не принял во внимание», «проскочил мимо». Что-то отвлекло. Торопился в гости, отвлек анекдот, мало ли. Особо не горевал, без того хватало у него хороших работ

по физической химии, открыл что-то о скорости реакции. Премий у него было много. Витя никому не завидовал. Выигрывает случайность. В науке можно завидовать таланту. Случайность непредсказуема. Человек нашел кошелек, завидуешь не ему, а его удаче.

Есть другое, куда более серьезное — озарение. Оно приходит без правил, единственное, иногда оно отзывается на неспешность и упорность. Если бы не «светскость»... А зато он жил с аппетитом, весело, во все стороны, не упуская радостей.

* * *

— Где же русские? — спросила Галя. — Где они, остались еще?

— Не могу тебе ответить, — сказал я. — Это государственная тайна.

* * *

Жестокость Петра — до чего надоело упорное повторение этого мифа. Да, мифа. Создали его противники, лежебоки, как они его не любили и боялись. А позвольте вам заметить, что в 1715 году он учредил в Санкт-Петербурге госпиталь для солдат и матросов, в 1718-м госпиталь для престарелых и бедных. Таких фактов много.

* * *

«Не беды сушат душу. Но обиды многие. От обид дотла выгорает душа человека, и ничто не вырастает на ней уже, угодное Богу».

(Кто-то)

* * *

— Известно, что цель оправдывает средства, если цель — оборона страны, значит, цель благородная, — так начинал свои рассуждения адъютант. — Поэтому мой генерал считал себя вправе потратить часть средств на строительство своей дачи, и не стоит его слишком винить.

* * *

Блокадники не верили себе. Я принес ей из архива ее дневник, зачитал. Она замахала руками: «Неужели это я писала, неужели я могла так думать. Боже мой, как страшно!» Взяла, посмотрела и все равно повторяла: «Нет, это была не я».

Я сравнивал, как по-другому ныне видят себя фронтовики, я сам себя на войне видел и менее храбрым, и находчивым. Удивлялся тому парню, что мог выдержать при голодухе постоянные морозы под 30—35°, строить землянки, копать окопы, таскать снаряды, хоронить убитых...

* * *

Спустя годы с этими стихами что-то произошло. От них сжало сердце, в глазах защипало, я человек далеко не сентиментальный, и чем дальше я читал, тем горше и тем слаще становилось. Я знал их почти все, в разные годы автор читал их мне, дарил свои сборники, и тогда они мне нравились. Но время преобразило их, так же как и меня. Стихи живут своей жизнью, одни чахнут, другие крепнут, незаметные прежде строки вдруг обжигают, больно отдаются в душе.

Все было не совсем так

*Как музыка легка,
Звучавшая в начале!
Как музыка горька,
Звучавшая в конце...
А если бы сбылось?
Другие бы печали
Остались на душе,
Остались на лице.*

И у меня ведь была женщина, о которой могу сказать: «а если бы...» И мне снится мой отец.

*Он явился, он стучится,
Он вернулся наконец.*

И я вспоминаю старшего своего друга писателя, которого так не хватает.

*...так вот и вышел неслышно
Дверь не прикрыл за собой...*

Кажется, что его стихи догнали меня и совпали с фронтовыми моими днями, друзьями, мальчиками, которых нет в помине. У нас было много общего — фронтовая юность, Ленинградский фронт, блокадный город и то, что выжили. Мы оба жили на Петроградской стороне, там, откуда начинался Петербург, среди улиц первых его жителей — Монетная, Пушкарская, Аптекарская. Мы оба любили этот район, исходили его и прилегающие к нему острова, протоки, мосты. Это были далекие прогулки. Семен читал стихи — не свои, чужие, те, что как-то были привязаны к месту:

«Елагин мост: и два огня, и взоры женщины влюбленной...» Он знал великое множество стихов, поэтов прошлого, позабытых и тех, что прошли через наши жизни — Саянов, Клещенко, Володя Лившиц, молодой Тихонов, Елизавета Полонская, Глеб Семенов. Поэзия была его отрадой, его заботой, особенно питерская. Недаром его избрали главой поэтической секции. Серебряный век, классика, великие поэты и современники, как ни удивительно, помогали ему никому не поддаваться, ни за чем не следовать. Его независимость держалась на его собственной биографии. Внешне она была вроде бы и не особенно примечательна: медицинская академия, фронт, врачебный отдел, литература — но каждая из этих точек заключала целый мир переживаний, событий. Медицина обозначала для него не просто образование, он лечил людей; став профессиональным писателем, он продолжал лечить всех знакомых, всех писателей, он был медицинской помощью для десятков, сотен болящих. Врач он был хороший, я бы сказал, талантливый, к тому же, что редко бывает — неотступно, день за днем отслеживал состояние своих подопечных, просили они этого или нет. К нему все привыкли обращаться за советом. К поэзии это не относится, впрочем, как сказать, поэзия это не просто шишка на голове. Стихи Семена Ботвинника — результат его сугубо личных переживаний, поэтому там почти не встретить пафоса злободневных откликов. Если он сводит счеты, то, скорее с жизнью, чем с современностью. Любовь и война, друзья и воспоминания, потери, печали, детство, Петербург — словом, сокровенные состоя-

ния души и ее окрестностей. Его мало занимали поиски формы, эксперимент, внешне он традиционен, в его стихах решает преимущество новизны его восприятия человека в современном мире. Он достигает успеха простотой, а там где просто, нужна мысль, нужна глубина и свежесть восприятия. Вот почему стихи Семена Ботвинника обладают завидной прочностью. Вновь и вновь они будут волновать, доставлять и радость, и грусть, помогая видеть заново красоту Невы, женщины...

Р. S. Вдруг сегодня, в июле 2009 года, я увидел их на питерских улицах. Огромные постеры, его портрет и его стихи. Просто стихи, отрывки. Странно, ни к чему не призывают, не информируют про пользу или вред. Любовь. Радость. Печаль. Просто поэзия пришла на питерские улицы, туда, где она рождалась. И шепчет свое, не считаясь с дождем, ветром.

* * *

Одним из близких друзей Зубра был художник Олег Цингер. Познакомились они в Берлине в 1927 году. Олег был анималист, ученик и друг известного художника Ватагина. Не помню уже, кто рассказал Цингеру обо мне, о моей работе над «Зубром», но я получил милое письмо от него из Парижа, где он жил после Второй мировой войны. Будучи в Париже, я навестил его. Жил он за городом. Я уговорил Фиму Эткинда, и мы на его машине отправились разыскивать Цингера.

Принял он нас более чем радушно. После личного знакомства он прислал мне свое сочинение о зоосадах. Когда-то он написал его для «Колюши»,

то есть для Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Письма ко мне он снабжал своими прекрасными рисунками, акварелями. Фамилию Цингер я помнил с детства, был такой знаменитый учебник физики Цингера, еще была «Занимательная ботаника» Цингера.

* * *

Считается, что «человечность не заложена в генофонде человека». А откуда же она? Нет, она как раз заложена. Так же как у животных по отношению друг к другу. Самый невоспитанный, дикий человек склонен к благодарности, к общению, к помощи.

* * *

Глядя на бильярдистов, я вдруг вспомнил, что и я играл в бильярд в нашем Доме писателей. У нас на первом этаже стояло два больших бильярда, и был Павел Иванович, старый хозяин, смотритель этих столов. Он числился в штате Дома. В его бильярдной перебывали все, от Есенина до Маяковского, кстати, по словам Павла Ивановича, неплохого игрока. Там бывал Борис Корнилов, бывал Павел Васильев. В мое время занятыми игроками были Михаил Дудин, Сережа Орлов, Дима Остров, приходили «из города». Было дымно, азартно. Играли на так, и все больше на деньги. Павел Иванович маленький, невозмутимый, малословный, принимал ставки, судил, бесстрастные его решения принимались всеми безоговорочно. Книг наших он не читал, о писателях судил по удару плюс еще что-то. Маяковского ценил выше Есенина, «Владим

Владимыч если объявит, то обязательно положит в лузу, а эти не выполняли». Выше их обоих ставил Николая Черкасова, который часто захаживал сюда. Однажды завязалась драма: поэт Леонид Хаустов, задиристый, горячий, схватился с кем-то, дрались киями, потом в ход пошли шары, тут Павел Иванович не выдержал, с неожиданной ловкостью он перехватывал шары на лету и прятал их.

Играл я плохо, но играл. Вообще бильярд среди писателей всегда был в моде. Гриша Поженян в трудные времена зарабатывал, и неплохо, на бильярде. Зарабатывали другие. Бильярд не привлекал меня, слишком статичная игра, куда больше азарта было в соревнованиях по плаванию. Я вдруг вспомнил свой заплыв брассом на 400 метров, крики болельщиков, запах хлорной воды бассейна, ругань нашего тренера... У меня получалось, но почему-то я бросил плавание, перешел на бокс, от бокса перешел на лыжи. Господи, чем только я не увлекался — коньки, танцы, велосипед, и ведь не просто катался, мы отправились в велопробег Ленинград—Москва, это было еще в студенческие годы. Играл в шахматной команде факультета. На Черном море занимался подводной охотой, этому меня обучал Бруно Понтекорво, это уже было в моей писательской жизни. Мы ходили с ним в пустынные бухты за Коктебелем и там погружались в солнечную глубину моря.

* * *

«...а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю... тогда бы точно помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как бы убежать из России».

Мы привыкли, мы усвоили, что у нас одна луна, у них другая луна, наша лучше, их луна никуда не годится.

* * *

Достоевский в «Подростке» писал: «Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут, только бы с них достало».

И еще: «Скрепляющая идея совсем пропала».

* * *

Николай Антонович пришел ко мне за советом. Студентом он донес на Анечку, лаборантку, за то, что она плохо говорила о Жданове. Ее выгнали из института. Спустя двадцать лет он встретил ее. Она не узнала его. У них завязался роман. Хочет жениться и боится признаться.

* * *

Медсестры, сотрудницы на почте, редакторши, работницы ателье — все, все они разошлись, потому что мужья пили. Самая, наверное, частая причина, во всяком случае — типичная.

* * *

Д. С. Лихачев отмечал, что в годы сталинского террора безвинно гибли не только люди, но и города, села, памятники культуры. Так под водами Куйбышевской ГЭС погиб в середине 50-х годов Ставрополь. Исчез навсегда под водой город с его историей, памятниками.

В феврале 1942 года Володя Л. организовал наш с ним выезд в Ленинград. Командировку за веретенным маслом для орудий. А под вечер уговорил заехать к двум девкам. На самом деле, блядам. Февраль был, разгар блокады. Приехали. Девы были в теле, вполне хороши. Мы привезли водку, у них был сахар, чай, булка. Пили, Володя пел, я читал им Блока. Потом разошлись по кроватям. Я оскандалился. Ничего не мог. У Володи тоже не получилось. Он схлопотал по физиономии. Моя же девица утешала меня, потом заплакала, тихо, давясь слезами, так горько, что у меня глаза обожгло. Я уж думал, что разучился плакать, а тут не мог удержаться, так мы вместе оплакивали мою неподъемную былую гордость. Никогда мой пистоль мне не отказывал. В какие только парафразы мы с ним не попадали. На нашем счету была трамвайная площадка, зоосад и даже военно-морской музей. Повсюду он честно исполнял.

Володя вынул наган, хотел пристрелить своего, мы его еле остановили.

* * *

Мой старый приятель Василий Иванович Киров был мэром города Кировска в Хибинах. Однажды, прочитав мою запись об одной блокадной семье, он рассказал про свое детство. Отец погиб на фронте, старший брат тоже, мать умерла, короче остался он один мальчонкой. Взяла его к себе старшая сестра, у нее к тому времени детей было человек шесть. Одна всех тащила. Работала

день и ночь. В детский дом не отдала, а приняла в семью на равных. И подняла, всех подняла, поставила на ноги.

Разговор наш пришел к тому, что есть такие подлинно святые женщины, подвижницы, о которых ни церковь не знает, ни СМИ, и дети тоже ведь воспринимают их, будто так и положено. И только взрослыми, вспоминая покойную, понимают, что это было чудо — самопожертвования, сердечности, беззаветного служения любви.

* * *

Если бы Ева вела дневник, мы бы убедились, какая это была незаурядная личность. Она осмелилась, несмотря на запреты, провести переговоры со Змеем, ослушалась Господа. Мало того, уговорила Адама. Первая надкусила яблоко и дала ему, так что увлекла за собой. Можно считать, это она родила стыд, потому что, вкусив запретный плод, они испытали неведомое чувство и прикрылись фиговыми листками. Подозреваю, что и листки эти, первая одежда, — дело ее рук. По стыду Господь узнал о первородном грехе, в раю ведь не принято было прикрываться. Стыд отличил человека от остальных обитателей рая.

Самое же первое чувство было любопытство, оно возникло не у Адама, а у Евы, странно, что вкус к познанию стал потом свойством мужчин, а не потомков Евы.

Сартр приехал в Ленинград, и среди прочей публики я попал в его программу. Вечером он должен был посетить знаменитый тогда спектакль Товстоногова «Горе от ума» в БДТ, а после спектакля приехать к нам домой. Однако, к нашему удивлению, его переводчица позвонила где-то полдевятого вечера и сообщила, что они едут к нам. Хотя спектакль еще не кончился. Что там произошло — не сказала. Спектакль шел с аншлагом, был скандально известен, хотя бы уже своим эпиграфом. Эпиграф появился в самом начале на занавесе: «"Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом" А. С. Пушкин». Из-за этого эпиграфа позже спектакль был то ли снят, то ли цитату убрали — точно не помню. Помню только возмущение, которое он вызвал у Н. С. Хрущева, и тот за это поносил и театр, и режиссера, но это было позже, а в дни приезда Сартра спектакль гремел и, конечно, блистал не только из-за эпиграфа, но из-за прекрасной работы режиссера, который вдруг сумел увидеть героем пьесы кроме Чацкого еще и Молчалина. Именно Молчалина как героя чиновно-бюрократической России того времени. Это создавало много иллюзий.

Я попросил, чтобы на свидании с Сартром присутствовала Марина, моя дочь, которая тогда еще помнила, более или менее знала французский.

Сартр приехал с переводчицей, нашей давней знакомой. Оказывается, он ушел после первого действия. Потому что спектакль ему решительно не понравился. Он недоумевал, почему «Горе от

ума» считается в России классикой. И не стесняясь отчитал автора. Пьеса психологически беспомощная, наивная. Как можно требовать от молодой девушки, чтобы она несколько лет покорно ждала, когда вернется ее поклонник Чацкий, когда тут под боком преуспевающий парень Молчалин, у которого все преимущества. Несколько лет ждать — да с какой стати! Да где такие девицы водятся?! По его словам выходило, что это полная белиберда, и смотреть ему сразу стало неинтересно: «Ну, сами посудите, и мне преподносят как реальность. Нет, извините, все это анекдот и неудачный, какая ж тут классика».

Потом мы сидели, говорили уже о другом, но этот его взгляд на пьесу Грибоедова меня поразили. Поначалу мне показалось, что у него чисто французское впечатление, но потом я подумал, что ведь действительно, какого черта можно требовать, чтобы здоровая, молодая девушка сохраняла верность, да еще при чисто платонических отношениях. Трезвый, циничный взгляд Сартра был в сущности неопровержим, во всяком случае, это был довольно-таки сокрушительный отзыв, и классический монумент закачался. «Горе от ума» мы проходили еще в школе, оно стало принадлежностью каждого образованного русского, было расхватано на поговорки и цитаты, а вот того, что увидел французский писатель, никому из нас в голову не приходило. Это была совершенно другая голова. Другое требование, другая традиция, и она вовсе не была чужда нынешней русской жизни. Вспоминаю нынче об этом эпизоде с удивлением и уважением к Сартру.

Одно из моих писем с фронта начиналось так: «Я не смогу увидеть своей смерти и вряд ли кто опишет ее тебе. Если кто-то окажется свидетелем, он тоже вряд ли уцелеет. Эта война не оставит могил».

Я не был пророком, мы так быстро отступали, что не успевали хоронить. В 1944 году началось наступление, и опять не успевали хоронить своих. Сваливали всех — и наших, и немцев в одну яму, чтобы избавиться от вони.

* * *

Когда-то я прочел у Ленина: «В конечном счете все будет решать производительность труда».

Что-то в этом роде. Цитирую не точно. Это по поводу нашего соревнования с капитализмом. Мысль его показалась мне весьма разумной. Действительно, только это и может решить, какая система выгоднее, лучше. Вообще-то, Ленина добровольно я не читал, пришлось читать, когда сдавал кандидатский минимум.

Слова насчет производительности запомнились. Тем более что советская промышленность никак не могла дотянуться до европейской производительности.

* * *

Поль Дирак считал, что красота уравнений важнее, чем их согласие с экспериментом. Поэтому для ученого красота в научной теории служит критерием истинности. Эффективные теории всегда красивы.

Комбат наловчился принимать политработников из политотделов. Их называли «политязычники». У себя в землянке выставлял им угощение, последнее, что припасал из своих НЗ, или, как он говорил, «ТЗ» — «тайный запас». Никто, кроме помпоза не знал, откуда это, где хранится. Но всегда находилась бутылка или две водки, кусок сала, шпроты, сельдь. Был у нас мастер — печник. Так его комбат отдавал на день, на два, за табак и водку соседям. Печник наш умел каким-то ему одному известным образом присобачить к печке дымоход так, чтобы не обнаруживать землянку. Как он хвалился: «У меня свой зигзуг, немцу не понять, откуда дым идет». Из карелов он был.

Еще мы хвалились одним из ополченцев, он инженер из отдела механика. Прозвище он имел «тягальник». Умудрялся вытягивать с нейтралки застрявшие орудия, машины, даже танки. Натягивал канаты или тросы между деревьями, сооружал силовые параллелограммы и дохлой нашей полуторкой на чурках вытягивал.

Но самым замечательным воином в событиях 1941—1945 годов для меня был В. Бескончин, обыкновенный токарь механического цеха Кировского завода. Участвовал в финской войне, уцелел, вернулся на завод, в 1941-м пошел ополченцем в нашу дивизию народного ополчения. Спустя две недели его выдвинули командиром разведроты.

1941 год был годом военных неудач, катастроф. В плен попадали полки, дивизии. Отступление перешло в бегство. Разгромы, окружения, самоубийства. Немецкие части двигались в глубь стра-

ны со скоростью по 80 километров в день. Рушились фронты. Многие военачальники пали духом. Миф о мощи, непобедимости Красной Армии рухнул. Была паника, были переходы на сторону врага. Леса были полны бежавших красноармейцев. Это был год великого испытания.

Бескончину вместо нагана выдали пустую кобуру.

* * *

На Ленинградском фронте, в районе Петергофского шоссе, летели гуси. Поднялась пальба. Автоматы, винтовки, палили кто во что горазд. Ни одна птица не упала. Но свернули к нам. На выстрелы выскочили командиры. Позвонили из штаба — что у вас? Гуси летят. Потом такая же пальба у немцев началась.

* * *

Когда я устаю и перестаю понимать, для чего я пишу, кому это надо, теряю веру в то, что у меня что-то получается, когда мозг истощается, и хочется бросить эту проклятую профессию раз и навсегда, я вспоминаю Стивена Хокинга, и вновь и вновь возвращаюсь к образу этого человека. Моя короткая встреча с ним на улице Кембриджа произвела на меня оглушительное впечатление, которое никогда, наверное, не пройдет. Я не представлял себе, что может совершать человеческий дух, я прошел всю войну, где было немало примеров замечательных достижений человеческой воли, я прошел через госпитали, а позже, когда писал «Блокадную книгу», эти судьбы выживших блокадников, это всегда было что-то невероятное, но исто-

рия Стивена Хокинга отдельная и почему-то особенно важная для меня. Болезнь, которой он болен, называется боковой амиотрофический склероз. Болезнь развивалась постепенно, начиная с шестидесятых годов, когда Хокинг кончал университет в Оксфорде. Болезнь год за годом лишала его подвижности, а затем и связи с внешним миром, приковала его к коляске, лишила даже голоса, оставила лишь возможность двигать несколькими пальцами, все его общение с внешним миром стало происходить через компьютер и синтезатор речи. Друзья обеспечили ему коммуникативную систему компьютера, но главное было не в этом, а в том, что он сумел преодолеть все препятствия, заставить работать свой мозг и добиться поразительных результатов в астрофизике, настолько выдающихся, что он стал профессором и занял кафедру в Кембридже, которую занимал Исаак Ньютон, и был выбран в члены Королевского общества... На меня тогда, в Кембридже, а я не знал еще никаких подробностей его жизни, он произвел очаровательное впечатление, несмотря на неприятный жестяной «голос» синтезатора речи. Что-то было в нем удивительно располагающее. Вот передо мной калека, обиженный судьбой, лишенный, казалось бы, всех радостей жизни, а как с ним хорошо, и что совсем удивительно, как ему хорошо на этом свете.

Он утверждает, что если не считать его недуга, то во всем остальном он человек удачливый. При таких ограниченных возможностях жизни он путешествует по миру, женился, имеет детей, пишет книгу за книгой, его окружают друзья, ученики.

Он не позволяет себе жить ущербно, никаких уступок недугу, все блага жизни, оказывается, достижимы. Больше того, он стал одним из крупнейших физиков нашего времени, это при той яростной конкуренции, какая царит сегодня среди теоретиков.

Стивен Хокинг с 1979 года пребывает легендой в истории мировой науки.

Он замахнулся на главные вопросы, те, что издревле занимали человека. Почему существует Вселенная? Почему она создана так, а не иначе? И могла ли она быть другой? С чего она началась? Какова роль Бога в создании Вселенной?

Он пишет книгу «Краткая история времени», предельно простую, без формул, без сложной терминологии. Труднее всего додуматься до простоты, можно назвать Фарадея, П. Капицу, лучше всего она получается у великих ученых.

Пытаясь объяснить начало Вселенной, Хокинг соглашается с его выбором, непонятной нам конфигурации — «но почему, выбрав такое странное начало, он все же решил, что Вселенная развивалась по понятным нам законам?»

Физик Яков Смородинский считает, что тем самым Хокинг отнимает у Бога роль Создателя. И тут у комментатора возникает удивительное «фантастическое» — что в мозгу у Хокинга существует более четкая картина возникновения Вселенной и Времени, которую он не в состоянии передать через компьютер.

Хокинг вплотную подступает к Господу, стараясь выяснить, был ли у Него выбор, когда Он создавал Вселенную? Вопрос, сформулированный

Эйнштейном, и если выбора не было, то какие дела были у Создателя?

Но, конечно, эти вопросы, эти размышления мне не по плечу. Хокинг лишь помогает мне справляться с моими неудачами, поддерживает слабую волю. Он доказал, что человек может куда больше, чем ему самому кажется. Мы не знаем, что мы в состоянии совершить. Хокинг поставил рекорд. Его дар ученого — это, как говорится, дар Божий, но то, чего он достиг усилиями воли, верой в человеческие силы — пример для тех, кому его беда кажется непоправимой.

* * *

В этом доме он увидел серебряные ложки со знакомой монограммой. Мать выменяла их, когда они бежали от немцев, в какой-то деревне. Странно было спустя сорок лет есть суп той самой ложкой. Он осторожно полюбовался — мол, вроде знакомая монограмма.

— Нет, нет, — тотчас предупредила хозяйка, — они достались от бабушки. Когда мы жили в деревне, у нас уже были эти ложки и еще иконка в драгоценном окладе. Но иконку-то я знаю, ее взяли из поместья, когда жгли его.

— Там теперь музей, — сказал хозяин.

— У вас что, такие же были монограммы? — спросила хозяйка. — Разве так бывает?

— Монограммы, они сугубо личные, — сказал я.

— Выходит, у нас это чужое? Нет, я не согласна.

— Хомут надо было брать, — сказал ей муж.

* * *

Замечательно написал Василий Жуковский — и про Тимофеева-Ресовского, и про Расула Гамзатова, и про Лихачева, про всех моих дорогих:

*О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностью: были.*

* * *

Он говорил, говорил, и это было так интересно, что жертва не замечала, как оказалась в его комнате, как он раздевал ее, непрерывно рассказывая о ней, о них...

* * *

Археолог зарывается все глубже, копает годами, снимает слой за слоем. Осторожно, неутомимо. Ликует, находя следы прошлой жизни. Соединяет черепки воедино — получает древнюю вазу. А то откапывает фреску, мраморный бюст. Десять, двадцать лет затратит, и появляется перед нами из глубины земли прекрасный город, цивилизация, неведомая нам. Великолепные предметы заполнили залы Эрмитажа. Боже ты мой, какое мастерство открывается нам — искусство ювелиров, оружейников, художников. Две, три тысячи лет назад они работали не хуже нынешних. И вкус, и талант достойны восхищения. Ура! Под этими развалинами обнаружили еще слои, ничуть не хуже прежних! Каждое следующее открытие и радует, и печалит. Можно подумать, археологи надеялись отыскать какой-то смысл

в том, что была еще одна, более древняя культура, что было еще одно царство, и еще одно, они нанизаны на нить времени, но не складываются в какой-то рисунок, в замысел. История от повторений мало что прибавляет. Замысел все так же неясен, становится даже еще невнятнее, похоже, что никак не докопаться до начала. Стрела времени, никуда не ведет, существование человечества все наращивает свою древность, но не выявляет прогресс. Века не увеличивают ни добра, ни разумности. Повторяются войны, жестокости, бессмысленности. Правда, увеличивается скорострельность оружия, дальность снарядов. Ревнители истории убеждают, что знание прошлого помогает понять настоящее, избегать ошибок. Если бы так было. Полезны, мол, примеры подвигов и мужества. Полезны для кого? История — источник патриотизма? Римляне гордились своими победами. Над кем? Над галлами, понтийцами, прибавили себе патриотизма... И что? Спасло их это?

К счастью, никто не извлекает уроков из истории. Она лишь разворачивает перед нами захватывающую драму прошлого, озадачивая, утешая. Там все уже было.

* * *

Мучеников много — Вавилов Н., Марченко, Солженицын, Михоэлс — фамилий множество, люди замечательные, достойные, но никак не примеры.

Но почему, почему из страданий огромного народа, из мук нечеловеческих, из миллионов растоптанных, обманутых душ не взлетела над нами ни одна, кроме Сахарова, не появилось ни одного об-

раза, к которому обратилась бы общая любовь, который стал бы опорой духовной, не просто стал, а остался бы для жизни, который хоть как-то защитил достоинство, честь нашего существования. Чтоб знали, был в XX веке, среди лихолетья, рабства постыдного, был один, кто не смирился, не поддался, не пошел на сделки. Только одного Сахарова нахожу, только к нему прислоняется душа, никого другого не вижу.

* * *

Слушал в Филармонии китайского пианиста Юн Ди Ли. Ему 18 лет. Играл Шопена. С оркестром. И ноктюрны. Что-то божественное. Откуда? Только что была «культурная революция», истребили воробьев, творили дикости, и вот, сразу взлетели на европейскую вершину.

* * *

Общаясь с Мартыновым, бывшим сотрудником А. Берга, я убедился, что ему не совсем ясно, чем занимаются другие люди, если они не готовят ему детали для его электронных приборов.

* * *

Библиотекарша:

— Приходит читатель, просит почитать Драйзера.

— Что именно?

— «Кипятильник».

— Что это?

— Роман. Роман «Кипятильник».

— Такого нету.

Только перед сном, когда легла, сообразила: он имел в виду — «Титан».

* * *

- Мы всегда жили на пороге.
- Чего?
- На пороге прекрасного будущего.

* * *

Юнг в своей превосходной работе «Искусство любить» часто говорит, что любовь — это дающее начало, что давать радостнее, чем получать, отдавая, чувствуешь свою силу, могущество, богатство. Не знаю, возможно, здесь есть и другие варианты перевода, можно отдавать, а можно делиться. Второе, мне кажется, точнее. Я делюсь переполняющим меня чувством. Я не лишаю себя, я делюсь радостью, счастьем, и они становятся радостью обоих, счастьем общим, оно соединяет нас.

Любовь — переживание только личное, опыт личный, чужая любовь мало чему учит. Есть наука воспитания детей, наука психология, любовь же не сумела обрести законы, правила появления, ее прихоти не поддаются мыслимым закономерностям. Она вспыхивает вдруг, вдруг гаснет. Бывает и не вдруг, но не случайно так прочно, веками держится поговорка: «Браки заключаются на небесах». Слишком часто они в своих сочетаниях необъяснимы. И при этом прочны, счастливы. Не иначе как в них участвуют небеса. Есть несколько обителей божественного присутствия. Совесть, гениальность, предчувствие и, конечно, любовь. Наверное, прежде всего — лю-

бовь. Она необходимость не только личной жизни, она скрепляет семью, клан, род, общество. Стоит вычесть любовь и, оказывается, остальные скрепы слабы. Если б меня спросили, что главное в любви? Я бы сказал — способность любить самому. Можно быть любимым, а можно любить, вторая составляющая важнее, потому как она требует больше сердечных усилий, терпения, более того — искусства, она и составляет корни любви. Для многих проблема любви — это проблема выбора: красота, ум, рост, воспитанность и т. п. На выбор влияет мода, небеса уже тут ни при чем. Но выбор — это не любовь, любимую не выбираешь, она диктат. Любовь имеет причину вечную, глубинную, человек хочет избавиться от одиночества. Слияние мужчины и женщины — попытка быть не одному. Каждый из нас живет на своей планете. Мы отдалены от самых родных людей иногда на космические расстояния. Не докричаться, не дотянуться. Любовь воплощает мечту о сближении, слиться, понять, избавиться от душевного одиночества. Может, есть кто-то, кому ты интересен, кто тебя поймет, заглянет в сокровенные твои тайники.

* * *

Китайская мудрость говорит: «Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя». Ребенок, мой внук, которого мы назвали Даниилом, уже совсем другой, не похож на того, кем начался. Человек — непостижимая тайна для самого себя. Он не знает, кем он может стать, как он себя поведет, допустим, при катастрофе, не знает, кого он

полюбит, что он сделает ради любви и чего не делает. Любовь открывает человеку его доброту, терпение, жертвенность. В любви я выхожу за пределы того, что знал о себе. Это прыжок в неизвестное мне мое «Я».

К Г Б

Павлов — секретарь Липецкого обкома КПСС — рассказывал:

Обком имел 43 человека штат, КГБ области — 100 человек.

В районах у него был штат 30 человек, КГБ — 40 человек. Чем они занимались, он не знал.

Конкин В. И. — секретарь Новгородского обкома.

В областном управлении 100 человек, в межрайонных по 30. Чем занимались — не знал.

* * *

В войну этот вояка создал фальшивую дивизию и на нее получал питание, которое эшелонами гнал в Узбекистан.

«В этой стране, — доказывал он, — созданы все условия для воровства».

* * *

Не будешь гнуться, не выпрямишься.

* * *

Я видел, как овца, чтобы ягненка накормить, на колени становится.

Может быть, это началось в Лицее. Хотя там они были не самые успешные. Не знаю, когда обо значилось их соперничество, может тогда, когда стал проявляться гений Пушкина. Они дружили. Горчаков навещал Пушкина в Михайловском. Он был уже видным чиновником, а главное, свободно ездил по Европе, был и при дворах, Пушкин не выездной завидовал ему, чтобы из Михайловского выехать, надо было разрешение получить. И то не давали. А этот баловень судьбы... Завидовал и любовался.

«19 сентября» были вещими стихами:

Несчастный друг! Средь новых поколений

Горчаков был последним из лицейства, тем «несчастливым другом».

Он сказался больным, не поехал в Москву на открытие памятника Пушкину.

Ему, Горчакову, он понимал, памятника не будет, он столько сделал для России, канцлер, министр иностранных дел, создал «Союз трех императоров», не перечислить, что он сделал для отечества. А что Пушкин — стихи, рассказы, всего-то. Вопиюще несправедливо распорядилась судьба. Как могло так получиться? Он, князь Горчаков, обогнал всех лицейстов, он стал гордостью их выпуска, как же так получилось? Неужели стихи, пусть хорошие стихи, для России дороже, чем мудрость, талант политика, того, кто так достойно представлял страну все эти годы? Обидно. Несправедливо. Получалось,

что он, канцлер Горчаков, будет фигурировать как соученик Пушкина, слава однокашника — вот что досталось ему на старости лет.

ВЕСНА

Лист раскрылся маленький, липкий, еще ни одна пылинка не села на него. Все ярче становится, ему все теплее. Он и знать не знает, что до него уже не раз эта ветка покрывалась такими же листками. Ветка тоже занятная — согнутая локтем. Назавтра она уже вся взорвалась зеленью.

Одна старая липа между другими расцвела первая. Полусваленная, искореженная, словно понимает, что ей ждать некогда, пришла весна — поспешай. Опытная.

УХОД ГОРБАЧЕВА

Его можно было назвать Михаил-отступник. Это почти предательство. Мягкое, безмолвное... Так было с партией. Генеральный секретарь, он, когда стало совсем опасно и раздался грозный запрет Ельцина, когда престиж партии упал в России, затем на Украине, в Грузии, когда массовый выход из партии привел к параличу райкомов, невнятно пробормотав об отставке, исчез. Он как бы растворился. Президент остался, а генсека не стало. Миллионы ушли из партии, но миллионы оставались. И среди них убежденные коммунисты. Руководители их бросили. Одни сбежали, другие перешли к победителям,

третьи сели в тюрьму как путчисты. Но оставался Генеральный. От него ждали слова. Что он скажет им всем, продолжающим верить, готовым стоять до конца гвардейцам партии? Не было слова. Оратор, мастер слов, обещаний, увещеваний скрылся с черного хода. Он мог признать поражение, крушение, мог призвать оставшихся помочь стране, да мало ли, на то он и вождь, чтобы в тяжелую минуту принять решение.

Коммунисты так и не дождались ничего от своего Генсека. Расходились кто куда, не зная, что с ними, члены они запрещенной партии, распущена ли она, ликвидирована ли? Никто их ни о чем не спрашивал, не объяснял им. К этому они, конечно, привыкли, что никто их мнения не спрашивал. Но все свершилось как-то уж совсем неприлично. Имущество райкомов, парткомов какие-то люди растаскивали, куда-то увозили. Здания оказались одни давно запроданы, другие потихоньку заселились какими-то молодыми хищниками. Какая-то мышьяная возня, стрельба пошла вокруг банковских счетов, сейфов, золота партии. Становилось похоже, что это и есть главное наследство партии — заграничные деньги, здешние деньги, кто сколько успел захватить. Кого-то выбрасывали с балконов, кто-то стрелялся, кому-то затыкали рот.

Но и эту нечисть бы стерпели, если бы... По вечерам люди смотрели на экраны телевизоров, где по-прежнему появлялось лицо Президента, звучали его обильные речи, заверения. Он улыбался, был обаятелен, спокоен, обещал, увещевал, но не вспоминал о своей партии, которая его породила.

Ельцин, тот поднялся на трибуну съезда, не боялся, и сказал, что конец, он выходит из этой партии. Свистки, крики «Позор!» — ничего его не остановило. Это был поступок. Горбачев ушел с поста иначе, не обозначив это никаким актом. Поступка не было. В декабрьские дни 1991 года почти так же повел он себя и в отношении к своему парламенту. Союзные власти уходили, ликвидированный парламент что-то обсуждал, пытаясь смягчить болезненный процесс. Положение этих людей становилось двусмысленным, незавидным. Между тем Верховный Совет этого состава обновился и стал несравненно выше предыдущего. И что же? Президент, который продолжал вроде бы принимать гостей, встречаться, выступать, опять с гибкостью тореадора уклонился от всяких объяснений со своим Верховным Советом, с депутатами, которые его выбрали Президентом. Его не трогали намеки в его адрес и прямое возмущение, высказанное Калмыковым, он продолжал улыбаться в камеры телевизора, журналисты считали, очевидно, что в этом и состоит мужество его поведения.

И снова происходило отступничество, тихое предательство. Не хватало честности прийти объясниться с Верховным Советом, вместе с ним провести заключительный этап ликвидации Союза с его министерствами, комитетами, определить свою позицию. Чтобы достойно уйти, надо иметь характер. В этих ситуациях и проверялись качества руководителя.

Давно уже симпатии к Горбачеву померкли. Все больше фактов двусмысленной его уклончивости,

не мужского поведения ложились на ту, другую чашу весов.

Исторические заслуги, наверное, остались и останутся. Но тем обиднее последки. Начало трудное, а конец мудрен, как говорится, конец дело венчает, а конец-то получается жалкий.

Написал огромную книгу воспоминаний — и там увильнул, ни в чем не признался.

* * *

Рукавиц, перчаток я не ношу. Сегодня морозно, но руки привыкли, не мерзнут. Вдруг вспомнил, как мерзли руки на фронте. Все боялся отморозить. Никакие рукавицы не помогали. Может, оттого, что оголодал. Приду в землянку, самокрутку не свернуть. Прошу «сверни», «прикури», «в рот сунь».

* * *

Знает ли Господь о существовании России? Вот вопрос.

* * *

Опасность для существования литературы в России состоит ныне в том, что она, литература, стала безопасной. Политическая власть перестала обращать внимание на нее, ибо ее не читают. Читают газеты, и то мало. Вот телевидение — это влиятельно. А поскольку телевидение субсидирует государство, то сделаем его безопасным. Наполним развлекухой. Массовкой. Шоу.

* * *

Жена Саши Хазина обучила своего маленького попугайчика говорить: «Птички все на веточке, а я, бедняжка, в клеточке». Были у него и другие фразы, но эту он произносил жалобно, как бы от себя. Выучил, мерзавец, и интонацию, так, что хозяевам было не по себе, стыдил их.

ОДИН ИЗ БЛОКАДНЫХ РАССКАЗОВ

Нина Вячеславовна, прелестная женщина, несмотря на годы, есть такие, что сохраняют до конца свое жизненное очарование. Итак, шла она в блокаду, это уже весна 42-го года, по пустой улице вымершего города. Раздавался только стук ее каблуков. И вдруг на другой стороне улицы тоже стук, но сапог. Она старалась не отставать, а там шел парень. Он, глядя на нее, запел «Сердце красавицы». Хорошо запел, на всю улицу, и она стала подпевать ему. Так они и шли, разделенные бульваром. А потом на перекрестке он свернул и на прощание помахал рукой. Нина повеселела, дошла до Литейного, и тут вдруг грохнула бомба. Витрина хоть и закрыта была фанерой, а все равно разбило ее, стекла посыпались на тротуар, она бежит по ним, скользко, ботинки изрезала, упала. На другой стороне горит Куйбышевская больница. Добежала до Моховой. Там горит глазная лечебница. Раненых с повязками на глазах выводят, они, слепые, идут, ощупывая руками. «Один столкнулся со мной, схватил меня, говорит: "Ведите в бомбоубежище", а где, я не

знаю, и он не знает. Завела в подворотню. Посадила на скамейку и побежала дальше».

* * *

Для меня одно из самых сильных стихотворений о войне было написано в 1945 году Михаилом Исаковским — «Враги сожгли родную хату».

Всюду гремели салюты Победы, взлетали фейерверки, страна ликовала. А поэт писал о другой стороне победы, он видел того солдата, что вернулся домой, на пепелище, сожгли его дом, «сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?»

Четыре года шел и вот добрался.

Не вернулось у нас слишком много, невысказано много, куда больше, чем вернулось. Но Михаил Исаковский в тот миг Победы видел того, кто вернулся в пустошь, ни семьи, ни дома... Белоруссия, Псковщина, Смоленщина, Новгородчина. И Ржев. И Великие Луки. И Брянск. Сожженные деревни. Ни кола, ни двора.

На Исаковского обрушили упреки — к чему это? Зачем вы портите народное торжество? Поэт обобщает частный случай. Не типично. Более всего раздражала последняя строка:

Хмелел солдат, слеза катилась,

Слеза несбывшихся надежд.

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Вот, мол, и вся награда за годы войны, за то, что

*враги сожгли родную хату,
убили всю его семью.*

Все было не совсем так

Будапешт освободил. А жить-то как дальше?..

* * *

С годами детство становится солнечнее. Туда прибывает счастья, праздников. Детству хорошо, дальше у меня провалы, например, студенческие годы, там есть счастье, но нет воспоминаний, чувств, размышлений, нет красок, обстановки. Если бы я писал подряд свою жизнь, многое бы вспомнилось, зацеплялось и можно было вытащить из прошлого связную последовательность. Пробовал, не получилось. Наверное потому, что никогда не жил подряд. Жил то так, то этак, то вовсе не жил. Ничего не вспоминалось.

* * *

Ни с кем другим не возникало у нас таких стыдных трагических сравнений, как с судьбой немецкого народа. И столько безответных вопросов. Почему именно у нас и у них два самых страшных в Европе тоталитарных режима? Именно в СССР и Германии — концлагеря, механизмы массового уничтожения? В СССР и в Германии, две страны, обе с великой литературой, музыкой. Идея всемирного коммунизма и всемирного III рейха? Чувство превосходства сыграло с нацистами злую шутку, нам оно помогло избавиться от иллюзий. Грабители-оккупанты угоняли скот, хватали кур, гусей, брали, что приглянулось. Тащили самовары, вышитые полотенца.

Какой мог быть с ними интернационал? Перед нами были не люди, которых погнали на войну, не братья по классу, это были бандиты, они с удовольствием жгли, грабили. Мы для них были неполноценными людьми. И они для нас стали фашистами. Ненависть соединила для нас всех немцев в одно единое понятие — оккупант. Смерть немецким оккупантам! Они сами раздули пламя ненависти к себе. Оно не угасло и тогда, когда мы вошли в Германию.

* * *

Рассказывал сотрудник советской выставки в Берлине:

— Представляешь, на нашем стенде мы рекламируем водку, даем стопку водки и к ней закуску — кусочек хлеба с селедкой. Так эти немцы сперва берут в рот закуску и запивают потом водкой. Вот их уровень.

Смеется над их глупостью, слушатели тоже чувствуют свое превосходство, все довольны.

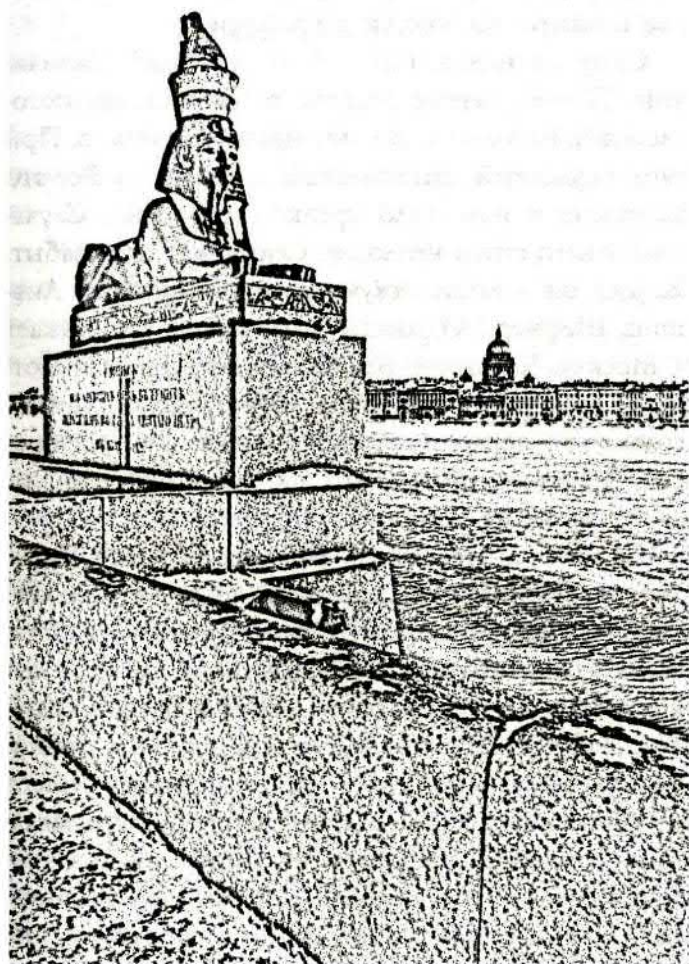
* * *

Человек существо одноразовое.

* * *

Природа помнит о том, что с ней было. Она хранит былое в логических срезам, в растениях, в животных, в вечной мерзлоте, в морях. Постепенно мы учимся расшифровывать ее письма. Даже в нас самих записана тысячелетняя история рода.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Кроме первого секретаря Союза писателей Александра Андреевича Прокофьева существовало еще две штатных должности секретарей.

Одну из них занимал поэт Анатолий Чивилихин. Тощий, вернее считать, поджарый, немногословный, напоминал он киплингеских героев. При этом сердечный, щепетильный и выпивоха. Все это замешено в нем было крепко, органично. Случались у него стихи неплохие. Сейчас как поэт забыт. Входил он в поэтическую группу — Гитович, Лившиц, Шефнер... Однажды Толя заявил, что уезжает в Москву. Насовсем. Влюбился там в одну красотку, да так, что бросал свою ленинградскую семью, только что построенную в Комарове дачу, все бросил. Друзья понимали, что добром это не кончится. Уговоры не помогли.

Прокофьев предложил мне занять место Чивилихина. Я согласился. Должность была лестной: секретарь Союза писателей! Оклад хороший. Работа, как я успел заметить, неопределенная. Да еще легковая машина полагалась на обоих вторых секретарей. Лафа! Следовало принять дела. «Чего принимать? — сказал мне Толя. — Нечего сдавать — нечего и принимать». «Ну а делать-то чего?» — допытывался я. Толя посмотрел на меня, смотрел долго, разгоняя свои мысли, наконец увидел меня, улыбнулся и сказал то, что запомнилось на всю жизнь:

«Данила, чем меньше делаешь, тем меньше надо делать». Я сперва принял это как шутку. Воспитание, привычка требовали: приходи на работу и вкалывай. Понадобились годы, чтобы постичь его простейшую заповедь. В ней оказалось больше заботы о других, чем о себе. Она таила в себе выстраданную мораль: меньше делать — значит меньше собирать совещаний, заседаний, меньше отрывать писателей от стола, меньше давать поводов для проработки, критики, нападков...

Толя не был циником, он хорошо постиг особенность идеологических организаций. Начальство, подобно хищникам, замечает среди них прежде всего движущиеся предметы.

Мы распрощались с ним какой-то дурной печалью. Спустя несколько месяцев Толя в Москве покончил с собой. Любовь его оказалась несчастливой. В том 1957 году самоубийство взрослого человека из-за любви было удивительным.

Формула Толи действовала безотказно. Я делал все меньше — и дел становилось меньше. Когда вместо Прокофьева мы с поэтом Дудиным стали руководить Союзом, мы отказались от зарплаты. Мы решили, что наши обязанности можно выполнять как общественную работу. Кроме того, отказавшись от денег, мы обрели защищенность: никто не мог теперь сказать нам, — получаете денежки, а ничего не делаете. Мы никак не объявляли, не демонстрировали свое решение, но, конечно, о нем немедленно стало известно. Леонид Соболев, руководитель Союза писателей РСФСР, вызвал меня в Москву, спросил, что это за выпад такой, получается, что же, и ему, и другим секретарям нужно отка-

заться от зарплаты? Нет уж, простите, он на такую провокацию не пойдет, если я такой богатый, то, пожалуйста, раздавай свою зарплату бедным писателям, получай и жертвуй кому хочешь, это твое дело, но отказываться получать нельзя.

Он сам понимал двусмысленность своих аргументов, невозможно приказать нам, и от этого еще больше злился.

С годами я стал замечать, что Толина заповедь способствовала еще и выдвижению. Меня стали выдвигать, предлагать разные должности. Я отказывался, предлагали другое. Ввели в состав обкома партии, сделали депутатом. Бездействующий депутат — что может быть лучше. По-видимому, хотелось иметь умеренного либерала, я повсюду был достаточно бездеятелен. Считался близким к диссидентам, но деятельность их меня не привлекала. Выступления, заявления, правозащитные акции требовали времени и душевной отдачи. Мне хотелось писать и только, ничего другого. Я все больше чувствовал потерянные четыре года войны. Дважды я был членом обкома и не посещал ни пленумов, ни бюро, ничего не делал. Дважды был депутатом, пытался помочь жильем моим избирателям, мало что удалось... Зато приходилось общаться с начальством. Это бывало любопытно. Они обладали куда более полной информацией, чем рядовые граждане, в разговорах с ними кое-что перепадало. При той лжи и дезинформации, в какой мы жили, это было существенно.

Меня занимало не столько действующее начальство, сколько бывшее. Они больше и охотнее рассказывали про механизмы советской жизни, не жа-

дели нынешних правителей. Они были умнее, чем говорили, а поступали глупее, чем понимали.

Работая над фильмом об истории создания атомной бомбы, мы с Игорем Таланкиным, режиссером этого фильма, обратились к бывшему члену Политбюро, который после войны курировал атомное производство — Первухину. Они ведали этим делом на пару с Берия, как у них там разделялось, не знаю, но поскольку Берия был удален в иной мир, нам остался один Первухин.

Работал он тогда в Госплане. Огромный муравейник. Ходили, спрашивали, где такой-то. Уже многие не знали, кто такой Первухин. Не знали, где находится кабинет бывшего шефа всего этого учреждения. Искали, искали отдел инструментов. С трудом нашли. Огромная приемная, в ней восседал помощник, молодой, вальяжный, из тех, чья специальность не работать, а присматривать. Сам же кабинетик Первухина был крохотный. Во всю стену висела ни много ни мало карта мира. Такая большая, что загибалась, и Америка переходила на другую стену. Похоже, что хозяин не мог перейти на новые масштабы. Взял ее из прежнего своего кремлевского кабинета.

Он поднялся, вышел нам навстречу, высокий, в черном костюме, я узнал его сразу, поскольку носил его портрет на демонстрации. Теперь этот портрет улыбался и протягивал мне руку. Портреты не меняются. Члены Политбюро тоже удивительно долго сохранялись в неповрежденном виде. Никто уже не помнил о Первухине, а он был такой же розовенький, гладкий, ухоженный. Особенно меня поражало долголетие и прочность сталинских при-

ближенных. Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Микоян — им сносу не было.

Мы уселись по бокам ободранного письменного стола, изложили свою просьбу.

— Понимаю, — сказал Первухин, — вам нужна художественная психология Курчатова. Мы с ним много работали. Он был преданный делу человек и пользовался авторитетом и в правительстве, и в партии, и среди ученых.

И далее все шло в том же духе.

— Хотелось бы какие-нибудь подробности, — попросил я.

— Понимаю, — сказал Первухин. — Вы писатели, вам нужны детали. Пожалуйста, вот вам деталь, которую можете использовать. Как известно, Курчатов был человек беспартийный. В результате нашей работы с ним, после успешного испытания первой атомной бомбы он подал заявление в партию!

Первухин с торжеством посмотрел на нас, Таланкин тоже посмотрел на него, но со страхом.

— Да, это, конечно, интересная деталь, — поспешно сказал я. — А как Сталин следил за ходом работ?

— Внимательнейшим образом. Вот, например, когда мы получили первые граммы плутония, было большое торжество, и решено было доложить об этом товарищу Сталину. Он согласился принять нас с Курчатовым. Мы поехали к нему вдвоем. Я рассказал товарищу Сталину о том, как мы работали над плутонием, как добились результатов. После этого мы показали ему полученный образец. Товарищ Сталин посмотрел его и сказал мне: «А вы

уверены, товарищ Первухин, что это действительно плутоний? Ученые не обманывают вас?» Мы заверили его и уехали. Конечно, докладывать коллективу об этих словах мы не стали. Зато, когда бомбу сделали и благополучно испытали, товарищ Сталин меня начал называть на «ты». Он немногих так называл.

Гордость и печаль звучали в его рассказах. Почитание Сталина навсегда вошло в его душу, ничто ее не поколебало.

Разговор наш происходил через много лет после XX съезда, когда многое уже выяснилось и было опубликовано. Но ни он, ни Маленков, ни Косыгин, ни Микоян — никто не дополнил разоблачение, сделанное Хрущевым. Я уж не говорю о Молотове, Кагановиче, Пospelове и прочих.

* * *

Я вспомнил рассказ сына немецкого капитана: «Отец вернулся из армии после 1945 года. Жалкий, трусливый, виноватый и озлобленный.

А каким он уходил! Как он чванился, хвалился. Обещал мировое господство, богатство, войну молниеносную. Презирал русских. Приезжал в отпуск, рассказывал, как они бегут. Как их давили танками, всех их уничтожим.

И вот теперь он стоит в очереди к русским за супом, заискивает, благодарит, угодлив, труслив, врет.

Перед русским офицером доказывает, что всегда ненавидел Гитлера, что не знал ничего о лагерях, что был у него дядя еврей, что не убил ни одного русского...»

* * *

18 января 1992 г.

Сегодня в столовой Дома творчества кинематографистов (Репино) две моих давно знакомых официантки, Тоня и Маша, наперебой:

— Что же делается! Преступность, мафия! Выйти вечером никто не смеет. А землю распродадут, американцы купят, и попадем мы в рабство. Отправят нас в шахты работать. А финны и американцы станут помещиками. Над нами. Кругом строят каменные дворцы. Коров некуда вывести. Смотрите, что в «Ленинском» делается. Выпасов не осталось. Все занято дачниками. Будет восстание. Доведут народ до бунта.

Они убеждены. Маша работала на оборонном заводе, имела дело с ртутью. Получает пенсию три тысячи рублей. И в Доме творчества зарплату 2,5 тысячи рублей. При полном питании. Не хватает. Все время ездит в город, хотя тут комната, чтоб не обокрали. Рядом у соседей взломали дверь, обворовали, теперь она боится...

* * *

У каждого народа свои святые и свои антихристы. У нас Сталин — Антихрист и Ленин — Антихрист. Кто из них сатанее, трудно даже определить. Святые кто — Сахаров и больше не видно. Опять недоумеваю — за семьдесят пять лет, оглянешься, порыщешь глазами — и некого вспомнить. Сколько миллионов мучеников было, а на святого почему-то не хватило. Перебираю я из интеллигенции: Пастернак, Мейерхольд, Михоэлс, Маяковский, Цветаева, Райкин — не тянут.

* * *

«Наука для него прежде всего уровень понимания мира» — так писал про Любищева один из его учеников.

* * *

Сергей Капица рассказал мне, что в Англии на телевидении специальный человек следит за нормативностью языка ведущих. Нарушил — «Увы, вы нам не подходите». Увольняют.

* * *

Вторая мировая война. Польша. Поляки сопротивлялись немцам как могли. Кавалерия бросалась с саблями на немецкие танки. Чехи — не сопротивлялись и сохранили себя. Вопрос — «Кто прав?» не корректен. И те и другие действовали соответственно своему характеру.

* * *

Вернер Гейзенберг — великий физик — остался в гитлеровской Германии и постепенно поддавался тотальной пропаганде. Доказывал Нильсу Бору: надо с этим гитлеровским правительством жить и делать его более человечным.

* * *

Мой друг, немецкий филолог Ньюта Тун прислала мне интереснейший документ конца Второй мировой войны. Гиммлер разослал его командному составу группы армии «Вайксель». Приближалось полное поражение нацистской Германии. Ее правители искали способ, чем воодуше-

Все было не совсем так

вить войска продолжать сопротивление, которое явно стало безнадежным. В ход шли любые средства: мобилизовали подростков, стариков, вот-вот обещали «неслыханное оружие», стали применять «фаустпатроны», но требовалось поднять дух в войсках, решено было привести пример блокадного Ленинграда, лучший пример самоотверженного сопротивления и солдат, и гражданского населения.

Документ этот, по-видимому, мало известен историкам Второй мировой войны.

БЛОКАДНЫЙ ПРИМЕР ЛЕНИНГРАДА

На днях довелось познакомиться с необычным документом, вернее его копией. Называется он «Советские меры по успешной обороне Ленинграда». Кто-то может сразу подумать: «Опять что-нибудь из запылившихся анналов партийной литературы коммунистического периода. Какая-нибудь пропагандистская листовка, подготовленная обкомом партии в блокадном Ленинграде». Все было бы так, если бы не одно «но». Документ этот немецкий, исходит из канцелярии рейхсфюрера СС, носит гриф «секретно» и сопровождается резолюцией главного гестаповца Генриха Гиммлера. Еще более примечательно то, что о нем никто не слышал из моих знакомых немецких историков, занимающихся проблемами Второй мировой войны. А это известные имена: профессора Йоханнес Хюртер, Йорг Ганценмюллер, Георг Майер и Юрген Ровер. По моей просьбе они начали поиск

в архивах, чтобы узнать более точные сведения об этом документе.

Кому же он адресован и чем примечателен? Резолюция Гиммлера от 19 февраля 1945 года, являющаяся препроводительной запиской к нему, гласит:

Рейхсфюрер СС
19 февраля 1945 года

Передвижной командный пункт,
Командующий группой армий «Вайксель»

Секретариат рейхсфюрера СС
Отдел делопроизводства
Секретная папка 42/10

**Командующим армиями,
командирам корпусов и дивизий
группы армий «Вайксель»**

В приложении направляю аналитическую записку по вопросу обороны Ленинграда большевиками.

Пусть каждый теперь убедится, с каким жестоким и хладнокровным противником нам приходится иметь дело. Тем не менее не следует малодушничать, а напротив проявить закалку, присущую солдатам, и продемонстрировать стойкость, чтобы заслонить от врага женщин и детей, доверивших нам право защищать их.

Задачу, стоящую перед нами, сотни раз выполняли наши предки, отражая нашествия татаро-монгольских орд и турецких завоевателей.

Тогда единственными нашими надежными союзниками тоже были собственная сила и храброе сердце.

Хайль Гитлер

Подписано:

Г. Гиммлер

Рейхсфюрер СС

3346, Ко. 574913

Секретариат

Секретно!

СОВЕТСКИЕ МЕРЫ ПО УСПЕШНОЙ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА

1. Предпосылки

Весь ход обороны Ленинграда стал возможным благодаря тому, что наступление немецких войск на город, начатое в сентябре 1941 года, постепенно ослабевало, а затем и вовсе остановилось. Таким образом, противник выиграл время для того, чтобы превратить Ленинград в военную крепость. Решающее значение имело стратегически выгодное положение города. Защищенное со стороны Кронштадта тяжелой артиллерией заболоченное предместье Ленинграда имело со своими небольшими озерами и реками на всей своей протяженности благоприятные возможности для ведения обороны. Кроме того, противнику удалось сконцентрировать в Ленинграде значительную массу войск, артиллерию, включая орудия сверхмощного калибра, а также

эффективно задействовать всю тяжелую корабельную артиллерию Балтийского флота.

2. Меры по работе с населением

К началу войны между Советским Союзом и Германией в Ленинграде находилось около 3,2 миллиона человек. Благодаря притоку беженцев и остатков разбитых частей число жителей возросло во время операции по блокированию города до 5 миллионов человек.

Путем принятия кардинальных мер противнику удалось снизить численность населения до цифры, наиболее оптимальной для защиты города. К моменту полного окружения Ленинграда из него были эвакуированы около двух миллионов человек, в течение всего периода блокады в экстраординарных условиях был вывезен еще один миллион, около миллиона умерло от голода. Оставшиеся к 1943 году жители, числом менее миллиона человек, были все без исключения задействованы в военной промышленности, привлечены к работе в органах правопорядка или находились в армейских подразделениях.

а) Эвакуация

Эвакуация осуществлялась путем принятия решительных мер. В городе должны были остаться только те, кто мог принести пользу его обороне. С началом продвижения немецких войск к Ленинграду из города начали вывозиться детские дома, школы и детские сады. Даже те дети, которые проживали вместе со своими родителями, должны были прибыть на специально установлен-

ные для этого пункты сбора, после чего их тоже эвакуировали. В большинстве случаев родители не знали, куда отправляли их детей. Таким же образом поступали со старыми или физически ослабленными людьми.

Рабочие, после эвакуации своих предприятий, также последовали за ними.

В ходе этих массовых мероприятий не удалось избежать паники. Отправка людей сопровождалась многочисленными несчастными случаями. Самым неблагоприятным образом сказывалась при этом нехватка транспортных средств.

Эвакуация продолжалась в течение всего периода блокады Ленинграда. Для этого советские власти проложили по льду замерзшего Ладожского озера несколько трасс.

б) Привлечение населения

Каждому жителю Ленинграда было вменено в обязанность заниматься лишь такого рода деятельностью, которая была связана непосредственно с обороной города, защитой от врага или ведением военных действий. Наряду с военной подготовкой жители привлекались к рытью траншей или к работе в оборонной промышленности.

3. Мероприятия хозяйственного и промышленного характера

Во время наступления немецких войск на Ленинград незамедлительно последовала эвакуация наиболее важных в военном отношении предприятий оборонной промышленности, кроме тех, которые непосредственно не работали на оборону. Непре-

рывным потоком шла отправка по железной дороге или автотранспортом оборудования этих предприятий. Одновременно осуществлялся перевод оставшихся в Ленинграде предприятий для оказания непосредственной помощи фронту. Цеха Кировского завода, занимавшиеся изготовлением вагонов, стали ремонтировать танки. В городе продолжала действовать лишь одна электростанция. В начале блокады работали также и предприятия пищевой промышленности, но вскоре их пришлось закрыть из-за отсутствия сырья для изготовления продуктов. Все мелкие предприятия, универмаги и магазины были закрыты.

4. Снабжение

Снабжение населения было сокращено до минимума. Практически функционировала только система общественного питания. Из продуктов оставался один лишь хлеб. Рабочие и служащие получали ежедневно по 250 граммов, дети и иждивенцы по 120 граммов.

ВОДА

Воздух был наполнен мельчайшей водяной пылью. Прелый запах сырости поднимался от земли. Я запрокинул лицо и долго стоял, пока наконец не стал ощущать кожей воду, что сыпалась сверху. Она сочилась повсюду. Кожа деревьев тоже блестела, каждая ветка была усыпана крупными каплями, похожими на почки. Я стоял прислушиваясь.

Меня со всех сторон окружал звук падающих капель. Сперва слитный шум. Потом слух стал различать дробность. Где-то мелко и часто капли стучали в размякшую землю. Рядом с деревьев они падали звучно. Чем громче был звук, тем он раздавался реже. Погода исполняла какую-то свою музыку. Там были звуки звенящие, удары по опавшему листу, шлепающие об асфальт. Иногда капля падала мне на плечо. Раздавался стук, осязаемый физически. Чем больше я вслушивался, тем больше появлялось оттенков. Теперь звучал уже целый оркестр. По водосточной трубе гулко звенела струя...

В это время появилась Гуля, начала тараторить громко, весело, все заглушив. Я приложил палец к губам, она не обратила внимания. Мое ожидание мгновенно превратилось в досаду. Мы пошли. Я еще услышал, как у ближнего дома капли с крыши гулко падали в ведро. У маленького домика с закрытыми ставнями вода падала на железный лист, звенящий ее бой звучал тревожно. Сквозь прорези ставней пробивался свет. Капли, проносясь через полосу света, грозно взблескивали.

— Помолчи, — попросил я Гулю.

В палисаднике у наглухо заколоченного особняка капли редко чмокали, словно кто-то целовался.

— Слышишь? — спросил я.

— Нет, ты ответь, ты готов, согласен?

— Ты про что?

Она уничтожающе посмотрела на меня.

— Пошел ты... — круто повернулась и двинулась

По темному переулку я спустился к морю. От воды исходил зыбкий свет, туман заглушал плеск воды. Море было маленькое. Вода вдоль берега тихо шипела. Ничего другого я не слушал. Я присел на камень, вытер мокрое лицо. Подождал. Звуки были, просто я перестал их слышать, досада мешала, злость мешала, на Гулю, на себя.

* * *

Учитель математики повторял нам неумолимо — я не могу вас учить, вы должны учиться.

* * *

Бесконечно транжирил себя, не заботился о запасах, как парусник не заботится о запасах топлива. Запасы ветра, откуда они пополняются, кто знает, во всяком случае, их не экономят.

* * *

Петр I был по характеру, по замыслам своим, самым миролюбивым из русских правителей, ему нужно было строить Петербург, прокладывать каналы, создать Академию наук и многое другое. Фактически же он воевал тридцать с лишним лет, больше всех других, вовсе не от любви к войне, как, например, воевал Карл XII. Вольтер с интересом сопоставлял их. Оба — самые оригинальные монархи в истории, считал Вольтер. И надо же, чтоб они воевали друг с другом свыше двадцати лет. Вольтер написал про каждого, историю того и другого, получились не так чтобы очень, но все же. Европа читала с интересом.

* * *

Он тебе не досаждал просьбами, он существует как объект, имеющий цифру, а не физиономию. С цифрами обращаться научились. В цифрах нет ужаса темных лестниц, их вони, грязи замусоренных дворов, крыс на помойках, мучений с транспортом, загаженных туалетов в судах, в учреждениях, на вокзалах. Реальный человек живет среди всего этого. Привык, смирился. Он ведь из эпохи Соглашательства, Единогласия. Воспитан на том. Критика или протест приводят к неприятностям. Глобального запрета нет, но местные чиновники критики не прощают.

* * *

Человек или любит производить предметы роскоши, или приобретать их. Красивые шкатулки, ювелирные изделия, вазы — вещи бесполезные. Требующие вкуса и мастерства. Это желание проявить свой художественный вкус, любовь к искусству.

* * *

Одной из самых героических страниц Второй мировой войны была Ленинградская блокада. Зачем надо было Сталину затевать процессы над руководителями именно блокадной эпопеи? Не потому ли, что роль Сталина в истории сопротивления Ленинграда была минимальной? В экспозиции Музея блокады ее никак не удавалось отразить. Интерес Сталина, его помощь, его сочувствие... материалов не хватает.

* * *

В 1959 году мы с Риммой поехали в Грузию. Пригласил меня Иосиф Нонешвили, поэт, «грузинский Есенин», как его называли любители поэзии. Обстановка в России была паскудная, развернулась бешеная кампания травли Пастернака. Выступал Семичастный, комсомольский вождь, называл Пастернака свиньей, требовал выслать его из страны. Много позже мне пришлось встретиться с этим человеком. Удручающее впечатление. Темный, фальшивый, весь искаженный и внешне, и внутренне, ясно было, что роман «Доктор Живаго» он не читал, стихов Пастернака тем более. Впрочем, никто из начальства партийного тоже не читал, в лучшем случае довольствовались докладными записками инструкторов о романе, о самом поэте. Меня тогда ошеломила не разнужданность цекистов, а то, что выступали, осуждая Пастернака, писатели Сергей Антонов, Борис Слуцкий, Вера Панова, Сережа Баруздин — те, с кем я дружил, кого уважал. Было стыдно.

В Тбилиси нас встретило мартовское тепло, цветущие бульвары и гостеприимство Бесо Жгенти, этого могучего грузина-альбиноса.

Как-то они предложили нам поехать посмотреть окрестности, грузинскую старину. Пятый век, Мцхети. Собор был пуст, пробит насквозь солнцем. В нем еще сохранилась прохлада. Я бродил между колонн по гулким плитам и вдруг из-за поворота лицом к лицу столкнулся с Борисом Пастернаком. Появление его в этом пустом соборе, в то время, когда там, в России, его вовсю громили, вешали на него всех собак, все радиостанции Европы обсуж-

дали его судьбу, — это было невероятно. Я прямо-таки вылупися на него.

— Борис Леонидович?.. Вы Пастернак?

Мы не были знакомы. То есть формально. Хотя в Доме творчества в Переделкине иногда сидели вместе в холле в очереди к телефону. Я приходил звонить в Ленинград, он, наверное, в Москву, на даче у него телефона не было. Болтали. Какие-то пустяшные фразы. Он-то меня не знал и не мог знать, его же я, конечно, знал, по-моему, всегда знал, стихи его еще в школе знал, физиономия его была неповторима. Но тут, в соборе, он посмотрел на меня с ужасом. Отпрянул от меня, выставил руку, защищаясь.

— Нет, нет, что вы, — пробормотал он и побежал.

Я остолбенел.

Когда я вышел наружу, никого кругом не было, стояла только наша машина и Римма смотрела на долину. Я рассказал ей, что случилось. Ошибиться, перепутать я не мог, но ведь и Пастернака здесь быть не могло.

Однако, раз он отказался, считала Римма, значит я обознался. С неприятным впечатлением я возвращался в Тбилиси. Вечером позвонил Иосифу рассказать, как прошла поездка. Выслушав меня, он закричал:

— Боже мой, так это был ты! А мы-то думали. Я сейчас скажу Пастернаку.

— Он что, здесь?

— Здесь, здесь, он остановился у Нины Табидзе.

Иосиф хотел тут же заехать за нами, отвезти к

Я отказался. Почему? Уже точно не помню, но Римма опасалась поставить его в неловкое положение, уличить в испуге.

Я, наверное, тоже был смущен. Чем? Тем, как я спугнул его одиночество. Отчетливо помню его запрокинутое лицо туда, вверх, к церковно-небесной тверди, блаженный миг паренья.

*Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать?*

Спустя полвека, случайно, листая воспоминания Зинаиды Пастернак, наткнулся я на описание этого эпизода. У нее испуг Пастернака сглажен, сведен к улыбке. И я подумал, что, может, правильно мы сделали, что не поехали тогда к нему. Хотя жалко.

Воспоминания же Зинаиды Николаевны хороши. Сколько там любви, трагичности, достоинства. Не знаешь, кем восхищаться в казалось бы безвыходном треугольнике — она, Нейгауз, Пастернак — все правы, все любят друг друга, все ведут себя удивительно порядочно, и все это среди подлостей, ужасов тех лет, когда столько жалкого, злого всплывало в окружающих людях.

* * *

Утёсов, по его словам, был «загруженный артист», не орденоносец.

* * *

Жизнь похожа на хлеб, она не приедается.

* * *

— Чиночки нет у вас? (для карандаша)

* * *

— Тот, кто влюблен в себя, не боится соперников.

* * *

Дипломат всегда помнит день рождения женщины и «не помнит» сколько ей лет.

* * *

Плохо запоминаю даты. Годы сцепляются у меня в один ком, остается от них «давно» или «недавно». Внутри есть только отдельные кристаллики событий, те, что зацепились чем-то в памяти. Но эта дата — 1964 год, октябрь месяц — помнится, помнится и число 14... Я был в Москве, когда грянуло сообщение об отставке Н. С. Хрущева. Что, как, почему? «По собственному желанию». В Доме писателя все гудело. Мы сели втроем за столик — Женя Винокуров, Женя Евтушенко и я. Говорили не стесняясь. Выпили за здоровье Никиты Сергеевича, от которого нам всё досталось. Выпили, вспоминая, как при нем начали в стране строить жилье. Как вернули из ссылки сотни тысяч зеков, как началась реабилитация, как он покончил с культом личности Сталина. Как подняли железный занавес, начались поездки за границу. Много чего он успел, главное же, стала исчезать мертвечина, появилась духовная жизнь. Он собирал нас, ругал, ругался, произносил немыслимые речи, но, странное дело, мы не обижались. И вдруг теперь, когда его скинули,

мы почувствовали обиду за него, его полюбили, полюбили со всеми заморочками.

Говорили, а я вспоминал, как два года назад Женя Евтушенко примчался к моему другу Володе Фролову, переполненный ночным разговором с Аджубеем о том, как Хрущев измывался над ним, своим зятем, выпивши был и позволял себе черт знает что. Подробности были отвратительны. Так-то так, а при этом Аджубею удалось сделать «Известия» интересной, совершенно нового типа газетой, выступать там достаточно резко.

Я не заметил, как разговор наш соскользнул на монолог Жени Винокурова. Сводился он к вопросу, отвечаем ли мы за наши книги, наши призывы, выступления? «Вот ты, Евтух, известно тебе, что ребят, которые пропагандировали твои стихи, читали их на вечерах, их за это исключали из институтов, даже сажали? А тебе хоть бы что, сидим мы в ЦДЛ, попиваем вино и не думаем о тех, кто пострадал, пойдя за тобой».

Я не ожидал от него, этого добродушного толстяка, такого жесткого вызова.

Евтушенко защищался умно, непримиримо. Но вопрос, поднятый Винокуровым, зацепил и меня. Они не знали, что в Ленинграде, в институте молодые ребята устроили обсуждение моей повести «Наш комбат» и поплатились за это. Трех выгнали из института.

А я что? А меня хоть и покритиковали, но ведь сошло с рук.

Евтушенко говорил, что если ему думать о последствиях, то следует вообще заткнуться. Его дело бить в колокол, и он бьет и будет бить.

У совести долгая память. Проблемы выбора перед ней нет, она мучает и мучается, не находя другого решения. Собственно, она его и не ищет, для нее вина ясна и безвыходна.

* * *

Я не подозревал в себе такого объема любви к ней. Размеры стали открываться, когда мы расходились, появлялась величина потери, а сама она как повреждение моей жизни. Прежняя жизнь стала невозможна, другая же стала неинтересна. Жизнь без нее не привлекала. Жизни с другой я не представлял.

Эта внезапная правда придавила меня.

Теперь я понял, что был счастлив, что в основе тех лет лежало счастье.

Время от времени мы ссорились. Рвали, крушили нашу любовь вдребезги, навсегда, навечно! Сейчас вспоминаю лишь те случаи, когда виноват был я. Большею частью из-за какой-нибудь ерунды. Письма. Дурацкая привычка, не уничтожал письма от других женщин. Трогательные, неплохо написанные, почти литературные произведения. Полунамеки, подтекст, искренние — жалко было выбрасывать. Римма не искала, не шарила по карманам, они сами вылезали, такая сволочная у них была привычка.

Я уезжал. На дачу, или в Москву, в Дом творчества, куда угодно. Не слышать, не видеть, окунуться в одиночество, что может быть слаще. Надоело всё и все. Проходило несколько дней, и тихо, крадучись, подступала обида. Они, конечно, забыли

обо мне. Им там хорошо! Им наплевать на то, что со мной. Они — это была Римма с дочкой Мариной. Между прочим, с моей дочкой. У них налаженный быт, у них звонит телефон, приходит почта, Марина готовит уроки, они прекрасно обходятся без меня. Обида переходила в тоску, одиночество портилось, оно сквозило пустотой. Никто не мешал мне работать, вот это-то и мешало. Я мог поехать к той самой, в Калугу, к той, в Ригу, или к той, на Гражданку. В метро — и здрасте! Свобода! Куда потерялся весь прежний интерес? Остаться наедине с другой женщиной, не на часы, а так, чтобы на завтра, и на послезавтра.

* * *

Кто сумел избежать ударов, несчастий и грязи нашей жизни?

Пожалуй, никто, не встречал таких. Литература, казалось, давала мне возможность укрыться, не тут-то было.

* * *

Ученый человек, человек науки:

1. Ему нельзя давать срок, подгонять, он сам работает на пределе.

2. Наука хорошо растет не всюду. Кроме благоприятного морального климата ей нужна природная склонность. У каждого народа есть к чему-то склонность. Русские, немцы, французы имеют такую склонность к естественным наукам, так же как итальянцы к музыке, живописи, ваянию, архитектуре. Ментальность складывается из ... а шут ее знает как.

3. Результаты работ публикуются свободно, транслируются всемирно. «Если жизнь — обмен веществ, то духовная жизнь — обмен информацией».

* * *

«Озарения посетят не тех, кого должны бы согласенно установленной иерархии».

(Гарри Абелев)

* * *

Пятого января 1946 года на площади у кинотеатра «Гигант» состоялась казнь немецких преступников. Через повешение. По приговору военного трибунала. Я отправился посмотреть. Горожане шли потоком по Кондратьевскому проспекту. На площади стояли виселицы. Приехала кинокамера. Толпа собралась задолго до казни. Недавние дистрофики, доходяги, в ватниках, платках, инвалиды на костылях, в шинелях, ушанках. Больше было женщин, они блокадницы, бледные, грубо накрашенные, огненные от стрептоцида волосы. Вперед пропускали колясочников, безногих. Виселицу окружали солдаты с автоматами.

Ждали долго. По радио зачитали приговор. Перечислили преступления каждого — массовые расстрелы, сожжение деревень.

Я был еще в танкистской кожанке со споротыми погонями. Мог протиснуться вперед, но почему-то не стал. Наверное, считал, что у ленинградцев, блокадников больше прав. Как будто речь шла о театральном зрелище.

Их было восемь человек. Выстроили, накинули
182 петли. Машины отъехали, немцы повисли. Сам мо-

мент смотрел жадно. Первый раз видел повешение. Расстрелы видел. Наших самострельщиков расстреливали перед строем.

Здесь было другое, вешали врагов, фашистов за их зверства.

Зачем пришел, пытаюсь вспомнить и не могу. Вполне возможно, что за годы войны накопилось злобы.

* * *

Американская деловитость душит русскую литературу.

ЕНИСЕЙ

Проплыв по Енисею, я впервые стал понимать размеры моей страны. Ни поезд, ни самолет не могут дать ощущение бесконечности, необъятных пространств. Леса, тайга — пароход плавно идет по реке, берега полны своей естественной жизни, жизни леса, реки, ветров, солнца, зверей — нет людей, как будто человек еще не появился. Даже не верится, что где-то есть земли, замусоренные туристами, грязные, в подпалинах костров. Их чахлые братья — леса под Питером. Или Подмосковье. Кажется, нужны сотни лет жизни, чтобы освоить таежные просторы.

Иногда раздвинутся берега, завидятся дали, островки, разлив с рукавами, протоками, зелено-серые валуны — где-то видел это, ну конечно, это же рериховские пейзажи. И вот что удивительно, что узнал я их не сейчас, а тогда, в детстве, когда не видел ни этой Сибири, ничего похожего еще не видел.

Только закатилось, ушло солнце, как обозначилась луна, бледная ее дорожка, взамен оранжевой, солнечной, зазмеилась на воде.

А кругом скалы, слоистые, изогнутые, иногда даже с надписями, белой краской чье-то имя, год. Это было, как вымпел на Луне. Постоянное стремление человека обозначить себя, свои усилия. Вот достиг, дошел, был здесь. Пусть все знают.

А деревни деревянные. В Атаманове пахнет деревом так, что теплый этот приятный запах перешибает запах реки. А может, и не перешибает, а лишь примешивается, и малейшая добавка уже чувствуется в этой чистоте. Навстречу попадаетесь лесовоз, их тут толкают буксиром, и снова обдаст запахом бревен. Завалы сероватых бревен тянутся вдоль берегов. Дерево тут не в счет, и пока что это кажется нормальным.

А Енисей после Красноярска долго грязный, в разводах масел, в пятнах.

Вот тут можно прожить всю жизнь, и никто не узнает о тебе, никто не увидит — скрыться, затеряться, жить натурально, дико, ловить рыбу, десять метров вглубь, в лес, и пропал для всех.

Мы плыли по водохранилищу, Красноярскому морю. Листья желтеющие цепочками тянулись по воде. Откуда они? Берега были далеко, и непонятно было, а листья плыли, караваны, россыпи листьев, как будто наступила осень. Но до осени было далеко. И вдруг я понял — это листья затопленных лесов. Водоохранилище наполнялось. Леса уходили под воду и там осыпались. Горы стояли затопленные по пояс, верхушки торчали над солнечной водой. Первой там желтела сосна. Потом береза. Они

уходили под воду зелеными и лишь оттуда, из бездны, посылали последний свой привет. Как печалили эти деревья, никак не уйти им, не спастись, не переселиться. А на берегу палатки лесорубов, костер. Им и в кострах уже не сгореть.

Бородатые изыскатели с рюкзаками, штормовками, режутся в карты. Пахнет кухней, уборной. Плещется забортная вода.

Лес за Ярцевым стал пониже. Собственно, началось это за Ангарой, затем за Енисеем. Проснулись, увидели горы лысоватые, с редкими соснами, потом и горы пропали, кусты, кусты, лес отодвинулся вдаль, а там вдали он, может, и не лес, и не поймешь его силы и роста. Чайки летят за пароходом. Летят, не отстают, вдоль бортов, низко над водой. Изыскатели рассказывали — не нужна была Братская ГЭС, да и другие не нужны. Энергия их не нужна, рыбу сгубили, вода не та, 16 миллионов кубических метров леса затопили.

По радио сообщили — 21 июля 1961 года — люди высадились на Луне, и все у нас на пароходе хранят молчание. Потому что не наши, американцы.

Тоста никто не предложил. А между прочим, группа наша — передовая интеллигенция страны. Мы — это Лев Кассиль, Булат Окуджава, Юлия Друнина и прочие любимцы славы. Отличная была группа. Вспоминаю с удовольствием. И стыдом. Себя стыжусь.

Воротово — типичное село на Енисее. Стоит на горе. Полно моторок, лодок, базарчик на приста-

ни, торгуют солеными огурцами, вяленой рыбой, картошкой — бедный базарчик.

Полированная волна прилепила листья к корпусу парохода.

Вода голубая, стальная, розовая, но все же другая, чем небо, цвет темнее, скалистей. Небо медленно меняет цвета. Позади темно, а закат все не гаснет, и что-то там творится, тлеет, горит за стеной лесов.

Плещется вода. Фонарики горят на палубе. Короткие гудки.

Река разливается широко, и небо становится огромным. «На баке!» — «Есть на баке! — разносится голос в мегафон. — «Готовь правый якорный!»

(Щепа и Кораблики — два маленьких острова, на которых жил людоед, который ел жен, — сообщил капитан.)

«Отдайте правый якорь!» — грохот цепей. — «Якорь не дрейфует?»

Базарчики — на земле доски, на досках огурцы, лук, молоко, картошка — и все. Несколько баб. Ни ремесла, ни каких-то изделий, ни мяса, кур, творога, яиц. Очень бедный базар. И все бедней, бедней кругом. И природа беднеет. Нищие леса, лесотундра, Енисей разливается все шире, попискивают чайки, пустынные голые островки.

Игарка. Напротив парохода стоят лесовозы, груженные «стандартом» — пиленным лесом. Город на горе. Лесобаржи. Завалы досок, щепы, дощатые мостовые. Бетонные плиты на главной улице. Мы приехали в день 40-летия города, 26 июля. По Енисею плавают доски. Ресторан. Универмаг «Егорка». 170 тысяч жителей. Ребята с телевидения. Краны. Метеорологическая станция.

Я не хотел признаваться, что учился на инженера по гидростанциям. Что бывал на стройках по Волге, Днепру, Свири, на Кавказе. Видел, как уродовали, калечили равнинные наши реки.

Вел у нас курс «Гидростанции» профессор Морозов А. А., сановитый, седовласый красавец, величавый, хорошо поставленный голос, физиономия все продумавшего человека, всезнающего, без кичливости, но и без приглашения к разговору. Он редко улыбался, от него исходила вельможность с некоторой ленцой. Он был один из вершителей гидротехники. А это в конце тридцатых была мощная отрасль нашего хозяйства. Повсюду строились гидростанции. На горных реках, на равнинных. Вовсю работал «Гидропроект», могучая организация. Это уже потом прояснилось насчет нее и всей гидротехники — строили зеки. НКВД обеспечивал, пополнял стройки новыми и новыми партиями зеков.

В плане «ГОЭЛРО» победили гидростроители, тепловики отступили. Днепр, Волга, Дон, Обь, Ангара, Север — все было захвачено гидростроителями. Нужны были люди копать котлованы, строить плотины, для этого требовались десятки, сотни тысяч людей. Их добывал ГУЛАГ. Чекисты быстро прибрали к рукам и строительство, и проектирование. «Гидропроект» им. Жука задавал тон, в сущности, это была служба чекистов, их вклад, их оправдание. Нужны строители — давайте арестуем еще столько-то тысяч. Есть зеки, давайте обеспечим их работой. Причина и следствие арестов менялись: хватай — копай, копай — хватай!

Ничего этого мы, студентами, не знали. Знали лишь о непререкаемом авторитете «Гидропроекта».

Сталинские подручные благополучно уходили в отставку, доживали в покое, а то и в почете, получая привилегии, неплохие пенсии, никто не помышлял привлекать их к ответственности за бесчисленные беззакония. На глазах у всего народа жили Маленков и Каганович, Молотов и Булганин, Шкирятов и Поскребышев, Лысенко и Презент, и прочие деятели той поры. Помню, как А. Т. Твардовский, когда мы приехали к нему в санаторий, показал мне Поскребышева, разгуливавшего вместе с другими отдыхающими. Было это в 1969 году.

— Я с ним говорил, — сказал Твардовский. — Считает себя солдатом партии, с полным сознанием исполненного долга.

Один из читателей писал мне: «Вы выступали насчет отрицательных героев, какие они у нас слабые, худосочные. В самом деле, почему бы не изобразить такого матерого проработчика, губителя людей и демагога, как Ермилов. Скольким писателям он испортил жизнь и творчество!»

Но что Ермилов перед фигурами, представшими перед нами в последние годы. Психологические загадки возникают не только для художников, но и для народа, психологические загадки шекспировской глубины, которые далеко не всегда кончаются многоточием самоубийства.

Многочисленные показательные процессы сталинских лет воспитали в нас недоверие к этим судилищам. Фальсификации «заговоров» раскрылись одна за другой. Реабилитируются люди, имена которых превратились в пугала. Для моего поколения Зинов

вьев и Каменев, Рыков и Бухарин, Троцкий и Томский были вместилищем всех мыслимых пороков. Это укоренилось с сознанием, вошло в нашу плоть и кровь с того времени, когда материалы каждого из этих судебных процессов публиковались почти во всех газетах. Стенографически подробно, изо дня в день — допросы, признания, речи защитников, прокуроров, последние слова подсудимых. Публикации сыграли решающую роль в создании общественного мнения. До сих пор мы не можем до конца постигнуть тайный механизм спектакля этих процессов. Сфабрикованные процессы над невинными людьми были гласными, проводились показательно, как бы всенародно. Ныне же процессы над настоящими преступниками — теми, кто попил доверие народа, издевался над всеми принципами морали, — эти процессы проходят безгласно, а то и вовсе не проходят. Объяснение этому дать трудно. Необходимость таких процессов — не только в наказании, она и в разоблачении, в том, чтобы ощутить страх несмываемого позора, позора всенародного, чтобы каждый мог понять, кто есть истинный враг своего народа, и, разумеется, в назидании всем большим и малым сановникам. В обеспечении, чтобы гарантия была какая-то, что разоблачат и не утаят, не покроют, а выставят перед всеми в неприглядной наготе. Как когда-то выставляли в России к позорному черному столбу. Ломали шпагу над головой. Существовали подобные «устыдительные наказания».

Отсутствие процессов подобного рода, возмездия и мешает, не дает возможности поставить проблему покаяния. Прежде должна восторжествовать

элементарная справедливость, а потом уже можно обращаться к совести людей.

Что же сегодня мешает избавиться от сталинизма? Почему находятся защитники той жестокой эпохи и защитники брежневщины — времени и застоя, и растреления, и попрания всех принципов? Кому, кроме явных преступников, выгодно были те времена? Что это за люди, которые, несмотря на множество публикаций материалов и документов, не стесняются оправдывать самые отвратительные злодеяния?

Вот инженер-химик, которая, кроме того, писала анонимные доносы, была недавно поймана, кое-как удержалась на работе, еще недавно она терроризировала всех, теперь никто с ней не считается.

А этот бойкий молодой критик делает себе карьеру при махрово-черносотенном журнальчике; подтасовывает факты, чтобы обелить проработчиков Твардовского.

А вот деятель, который боится, как бы не выяснилось, что он во времена Брежнева затеял строительство комбината, отравившего озеро. И тут же группа влиятельных ученых, что поддерживала проекты гидросооружений, выгодных министру и губительных для нашего Севера.

Эти понастроили себе особняки и не хотят расставаться с ними, те брали квартиры своим детям за счет семей, стоящих на очереди уже по двадцать лет.

Они-то все и не стесняются защищать прошлые порядки. А кого стесняться, кого стыдиться?

Это когда-то в России, в русской жизни существовало мнение общества. Действовало оно во всех слоях. В деревенской жизни издревле определяло и

хозяйственные решения, и уклад жизни, оценки, требования к поведению односельчан. В купеческой среде устанавливалась своя этика, у дворян своя — в дворянском собрании, в салонах, в так называемом высшем свете. В русской науке энергично складывался и проявлял себя механизм общественного мнения. Вырабатывались свои требования порядочности, нормы поведения, приличия; механизм этот по-своему карал нарушителей.

Мог покарать жестоко, как в «Анне Карениной», как у Островского в пьесах. Справедливо, несправедливо — другой вопрос, общество имело свои неписанные кодексы чести, и каждый член общества обязан был их соблюдать.

Отказывали от дома. Переставали принимать. Не подавали руки.

Сословные общественные мнения вырабатывали нравственные критерии. При всех своих предрассудках они все же старались повысить моральные требования.

Замечательный физик нашего времени Петр Леонидович Капица великолепно понимал значение общественного мнения в научной среде. Он говорил, что для этого важно создать здоровую передовую научную общественность. Именно общественность как некую среду, сферу, котел, в котором выплавляется общественное мнение. Его знаменитые семинары-«капичники» практически способствовали формированию научной общественности у физиков. «Это труднее, чем постройка больших институтов, — замечал он. — Создание здоровой общественности включает в себя воспитание широких слоев людей, связанных с научной работой».

Общественное мнение не требует сговора, оно требует среды, возможности собираться, обмениваться мнениями, обсуждать, как это происходило и на сельских сходах, и в клубах. Свободно собираться с людьми, близкими по духу, по взглядам, понятиям...

* * *

Просят его или не просят, он обязательно выскажет свое мнение. Такая у него привычка. Тихим голосом, опустив глаза, поглаживая свою лысину.

* * *

Действительность всегда хуже ожидаемого. В ней ошибки, нестыковки.

* * *

Иногда хочется исповедаться, признаться в плохих поступках, в подлых желаниях и мыслях. Признаться кому? Близким, другу, да как-то стыдно, потеряю уважение. Хорошо бы иметь своего духовника. Умного, чуткого человека. Чтобы помог разобраться, посоветовал, как поступить. Но при этом надо, чтобы я сам понимал, мог определить существенное, отделить от несущественного. Найти свои настоящие грехи.

Наверное, есть культура исповеди, понятия о собственных нормах морали. Система запретов. Опыт оценок, самоанализа непрост (поздно спохватился). Что есть грех? Судить себя если не перед Богом, то перед кем?

— Когда меня назначат, а вопрос вроде решен, я стану обязательно как все кругом. Обязательно. Спрашиваешь, почему они так быстро перерождаются. Ничего подобного, не перерождаются. Я ведь уже готов. Я на старте. Все просто. И не подумаю стесняться. Государство меня обворовывало всю жизнь. Я получал гроши, а давал прибыль. По моим проектам построено десять станций. А мне шиш. Так что совесть моя застрахована. Единственное — если меня назначат ВРИО, надо не медлить. А мне детей надо обеспечить. Так что перерождаться мне некогда.

* * *

Пушкин — бесподобный мастер лаконичных характеристик.

Карл XII: «Любовник бранной славы, для шлема кинувший венец».

Александр I был напрочь перечеркнут четырьмя строчками:

*Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.*

А это на графа М. С. Воронцова. Убийственный портрет, созданный из половинок в полный рост.

*Полумилорд, полуглупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.*

В Валдае местный краевед показал мне забавные описания визита цесаревича в город в 1837 году во время путешествия по России. Я даже кое-что записал:

«Желание граждан Валдая наконец исполнилось. Мысль сохранить в памяти потомству посещения Государя Цесаревича осуществилась.

Цесаревич проехал на лодке озеро Валдай и с удовольствием взирал на рвение жителей, старавшихся наперерыв высказать любовь свою. Пробыв несколько часов в доме купцов Коротковых, изволил отправиться дальше. Событие оставило сильное впечатление в сердцах здешних жителей. Они решили передать память о посещении потомству: построить галерею для хранения шляпки, носившей Государя Наследника».

Далее с тем же трогательным чувством описывается открытие галереи и богослужение. Перед этим совершили рейд по озеру — шляпка, те же гребцы с городским главой, за ней тридцать лодок с начальниками и уездными чинами.

А вот как писали в «Северной Пчеле» о посещении государем императором Академии Художеств:

«Величие и благодать Их Величества представляют столько умилительного, столько восхищенного, что никакая речь недостаточна выразить то, что чувствует душа».

Утратили мы эту бесподобную стилистику.

* * *

194 Выступил перед журналистами депутат Шохин, фигура довольно известная. Заявил: за что второй

раз судят Ходорковского? Первый раз его судили за то, что не платил налоги, теперь вы судите за то, что украл нефтяные деньги. Но если украл, то не мог же он с краденого платить налог. Получается неувязочка, как вы думаете, господа судьи?

Логично? Логично. Но вот еще что примечательно: изложив мне это, Саша Р. уверен — раз высказался Шохин, значит, не случайно, значит, что-то там наверху переменялось.

Наши люди все еще не допускают, что человек может взять и выступить по своему разумению и хотению, даже Шохин, вот так, запросто.

* * *

На нашей Земле существует множество различных миров. Я попал далеко не в самый лучший. Когда-то, при советской жизни, было это до войны, я считал, что мне повезло. СССР — единственная страна, где мы строим справедливое общество и т. п. Потом я узнал, что есть страны, где строят совсем другое общество, с отдельными квартирами для каждой семьи, даже домами, где человека нельзя швырнуть запросто в кутузку.

Мне достался мир постоянно воюющий, суровый, где мало улыбок, много хмурого, мало солнца. Обилие талантов и запретов. Я попал в него не в лучшую пору. В этом мире мне тем не менее повезло. Мне достались времена трагические, весьма исторические, главное же, от них осталось сокровенное чувство счастья — уцелел!

Этот мир не был создан для меня, для того, чтобы я в нем уцелел, тем более. То, что со мной происходило, — цепь счастливых случайностей. Они

прорывались сквозь 1937 год, нашу медицину, войну, «Ленинградское дело», весь послевоенный режим репрессий, доносов, снова медицину, больницы... Другие миры, где-нибудь в Норвегии, Канаде — там система жизни приспособлена для того, чтобы сохранить человека, обеспечить ему комфорт. У нас этого понятия нет, нам надо, чтобы повезло.

* * *

По поводу практики нашего общения очень хорошо подметил М. Гаспаров: при разговоре «мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога». В диалоге есть стремление дать свое, свои мысли, догадки, и стремление получить мысли собеседника, понять их, что совсем непросто. Ибо они выношенные, проверенные опытом.

Есть два уровня понимания, то, что мы воспринимаем, главная часть слова — «принимаем», и второе, то, что мы понимаем. Этот второй уровень бывает весьма низкий, частичный. Так же, как при чтении, допустим, Толстого, Чехова, мы понимаем лишь какой-то процент текста. Писался он для читателя XIX века, в XIX веке.

До сих пор самая читаемая книга — Библия. В ней Новый Завет, Евангелие, их читают, перечитывают 2000 лет. Нестареющая книга, самая необходимая, наиболее действенная. Ее влияние не ослабевает. Ее продолжают цитировать художники, поэты, фильмами, на сценах. Могущество ее до конца объяснить невозможно и не нужно. Каков процент ее непонимания? Может, он связан с ее долголетием.

Интеллигента я узнаю запросто, без ошибок, издали. Этот мозгляк пальто готов подать какой-нибудь библиотекарше-затрюхе. Меж рядов пробирается обязательно лицом к сидящим и при этом извиняется, а не извиняется, что задницей к президиуму идет, и то и дело: «ради бога», «вас беспокоит такой-то», «простите, если не вовремя».

* * *

Фридрих Великий, король прусский, обожал Францию. Выше всего ставил французскую литературу, французским языком владел лучше, чем немецким.

Павел Первый обожал немцев и Фридриха Великого. Считается, что поэтому его памятник в Павловске немцы во время войны 1941—1945 годов сохранили.

Страсть Петра к Голландии не исключение.

У Фридриха три тома переписки с Вольтером, он видел себя философом на троне. Хотя на самом деле был воякой. Вся его деятельность посвящена армии. Пруссия для него армия со страной в придачу. Его изречения чисто солдафонские:

«Если вам нравится чужая провинция, занимайте ее немедленно. Вы всегда потом найдете юристов, которые докажут, что вы имели право ее захватить».

«Солдат должен бояться своего офицера больше, чем неприятеля».

Религию он ценил невысоко. Симпатична его любовь к музыке, он и сам хорошо играл на флейте. Для этого немца, пруссака, удивительна его неопрятность, и в еде, и в одежде. Интерес историков к

монархам позволяет, как через лупу, видеть особенности человека того или иного времени, страны.

* * *

*Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!*

(Ф. Тютчев)

А Михаил Зощенко написал:

«Писатель с перепуганной душой это уже потеря квалификации».

* * *

Белка дерется с дятлом. У нее болит голова, попробуй проживи рядом с этим стукачом.

* * *

«Вода у вас — пять звездочек, воздух у вас — духи "Ландыши", мужики — гвардейцы, только окучивать их надо долго».

* * *

Иметь родственников за границей было несчастьем — не засекречивали, не брали на руководящую работу, портили карьеру. В туристскую поездку за рубеж не пускали. Не дай бог — приедут в гости. Старались не писать в анкетах про них.

Потом вдруг все перевернулось, стало выгодно иметь за рубежом родных. Принялись к ним ездить, принимать их. Восстанавливали утраченные связи, разыскивали по разным странам, звали к себе в гости.

Появилось много бывших дворянских фамилий. Доказывали, что он не просто Апраксин или Голи-

цын, он «из тех!». Отыскивали грамоты, добывали документы — вот вам, за это меня преследовали, хлопотали, чтобы восстановить себе графское, княжеское звание. Покупали, присваивали...

* * *

Плакаты в ГДР при разрушении стены:

- Платформа есть, рельсов нет.
- Долой всеобщее равенство в нищете!

* * *

Замечательный стих Пушкина:

*Блажен, кто про себя таил
 Души высокие создания
 И от людей, как от могил,
 Не ждал за чувство воздаянья!
 Блажен, кто молча был поэт...*

Их много, таких счастливцев.

* * *

*Кто прелесть книжную постиг,
 Тот чужд другим земным соблазнам.*

(Кто-то)

* * *

Если бы не было человека. Если б он не появился, как венец творения, существовал бы этот мир?

* * *

Не стучись в судьбу, не надоедай ей.

* * *

Есть изюминка, ничего другого не надо. Нет — и красота не помогает.

* * *

Трупы лежали, как камни, холодные, твердые.

* * *

Совесьть удерживает в памяти наши неблаговидные поступки, так что совесть, она как историк.

* * *

Полк выстроили на поляне буквой «П». Посредине поставили столик, за ним сели три члена трибунала. Зачитали приговор — одного за самострел, второго за трусость — бежал с поля боя. Расстрелять.

* * *

Пушкина «Евгений Онегин», «Пиковую даму» он знал по операм, Толстого по фильму Бондарчука, Достоевского по телевизионному сериалу. Ему вполне хватало. Куда удобнее, чем читать эти огромные книги.

* * *

Во время концерта Козловского в Кремле ему стали кричать просьбы, что петь. Сталин поднял руку: «Я думаю, что Козловский будет петь, что он хочет, я думаю, что он хочет петь "Сердце красавицы"».

* * *

Тише сидишь — дольше будешь.

* * *

Когда решалась война в Афганистане, Фалин, ведающий международным отделом, пришел к Андропову и сказал, что войну с Афганистаном вели много лет англичане и проиграли, и нам следует это учесть. Что же ответил ему Андропов? «Откуда тебе известно, что мы решили воевать, это решение известно только пяти человекам!»

Когда Фалин на Политбюро заявил, что Руст психически неуравновешенный и не следует его сажать в тюрьму, что ответил Горбачев? «Откуда тебе это известно, мне только недавно доложил об этом следователь».

* * *

«Трава на небе не растет, все растет из земли. Снизу растут и перемены жизни, а не сверху», — такую вот сентенцию преподнес мне Сергей Иванович Смирнов, старорусский мой друг.

* * *

Два лозунга моих школьных времен:

«Если враг не сдается, его уничтожают».

«Кто не с нами, тот наш враг»!

* * *

— Вы откуда приехали?

— Я? Из Санкт-Петербурга.

Все было не совсем так

Такой разговор я услышал в гостинице, в Москве. Любопытно, подобный ералаш творится по многим понятиям. Колхозников нет, крестьянства не стало, как называть сельских жителей, никто не знал. «Муниципал» — это кто? Председатель муниципального совета? Вроде бы, но не уверен. Языку русскому трудно не то что выговаривать, ему трудно осмыслять то, что происходит не так во внешнем мире, как в собственной голове. Как отвыкнуть от Ленинграда, если он продолжает пребывать в Ленинградской области?

* * *

Одной из главных скреп этой многоликой, огромной страны была коммунистическая партия. После войны о ее программе уже не вспоминали. Осталось «светлое будущее», ничем не заполненное. Космическая туманность. Новые правители не читали ни Маркса, ни Ленина. Они пользовались более грозными аргументами: «Положишь партийный билет на стол!» Это была реальная угроза гражданской казни. Уйти из партии по своей воле было нельзя. Исключенному все пути перекрывались. Он становился «невъездным», неблагонадежным, обрывалась карьера, репутация...

Система была выстроена жестко, без всяких степеней свободы.

* * *

Во времена Великой Французской революции был лозунг: «Свобода, равенство, братство!» В 1917 году: «Мир без аннексий и контрибуций! Земли крестьянам, фабрики рабочим!» Конкретно и ясно. Для

революции нужны именно подобные лозунги. Не так программы, как лозунги.

* * *

2008 год, Санкт-Петербург, у нас на Петроградской стороне вместо рынка, вместо обычных продуктовых магазинов открылись: «Полушка», «Пятерочка», «Копейка», «Находка» — магазины, где якобы все подешевле, но продукты если не просроченные, то вот-вот. Но главное, привлечь хотя бы названиями — для вас, бедняков. Не замечают унизости. Пусть подешевле, ради бога, одни пошкарнее, другие люкс, а эти скромнее, со скидкой, но зачем подчеркивать, полушка — меньше монеты не бывает, нищим такую уже не подают, это дно жизни. Приучают, и смирились, большего мы не достойны, нам «полушка», четыре на копейку. Хоть бы назвали по-другому, не «Пятерочка», а «На пять», «Пятерка»...

Будь я моложе, я бы стал изучать связь русского языка с историей, как изменялось слово в зависимости от событий, от того, что происходило в России. У каждого слова своя история, свое происхождение. Этим занята семантика, но есть или должна быть еще наука о взаимодействии слова и страны. Вот та же сеть магазинов «Полушка». В 90-х годах XX века такие названия были невозможны, не было такого расслоения общества на богатых и бедных. К 2005—2008 годам оно произошло, и лавочники извлекли забытое слово «полушка» как рекламу для бедняков. Общество перестало стесняться, бедные, вот для вас магазинчики — тесные, грязные, дешевые — налетайте. В супермаркеты ехать надо на машине, а «полушки» в спецунивермагах не нуждаются.

* * *

Средняя летняя температура в России — три градуса.

* * *

Время от времени у меня возникала проблема предпочтения: Толстой или Достоевский, Пушкин или Лермонтов, Чехов или Бунин, а то еще Агата Кристи или Сименон, Шерлок Холмс или Тайна патера Брауна. Или Шекспир — Мольер, Шагал — Пикассо.

Противопоставления эти вызывают споры. Сравнивая, лучше открывается прелесть каждого. Но вот что интересно, — особое, вне сравнений преимущество для меня представляют те авторы, у кого герои покидают книгу и начинают жить без нее. К примеру, имя Обломов. Живут и действуют. Чего стоит компания трех мушкетеров. Вспомним Швейка. Гамлета. Хлестакова. Целую галерею типов из «Мертвых душ».

* * *

На самом деле, если признаться, хотя нелегко в этом признаваться, Римма заботилась о моей совести, блюла ее, следила, чтоб я не оступился, запрещала сомнительные сделки, не позволяла халтурить, это была инспекция нравственной охраны.

* * *

К Пушкину в России существует заговор любви и поклонения. Его комментаторы, толкователи сделали из него совершенство. Г. Адамович отмечает удивительное у Пушкина «совпадение пропорций, соответ-

ствие дара внешнего дару внутреннему». Точное определение. И далее он, Адамович, приходит к выводу, что искусство обрывается на Пушкине, «в смысле предела возможностей». Смело, рискованно и, пожалуй, неопровержимо «какими судьбами случилось то, что грек (т. е. античный грек — Д. Г.) явился в далекой, хмурой и убогой России — неведомо». Короткая заметка Адамовича о Пушкине стоит многого.

* * *

Иногда на меня находит счастье. Вдруг я ощущаю чудо своей жизни.

* * *

Опять о пушкинской прозе. Толстой упрекал «Капитанскую дочку» за то, что «манера изложения устарела» (дневник 1853 года). За то, что повести Пушкина «голы как-то». Точное нашел определение. Только это не беда их, а преимущество перед всей прозой XIX века. И сам Толстой, и Достоевский, и Лесков, и прочие их современники спустя полвека все больше стали проигрывать в сравнении с пушкинской прозой. Ее лаконичность не дает ей стареть. В прозе ведь прежде всего ветшает излишество диалогов, описаний. Читателю надо уже меньше, чем раньше, чтобы понять, почувствовать. Пушкин сегодня куда лучше читается, чем его современник, классический мастер рассказа П. Мериме. «Капитанская дочка» ни в чем не устарела. Так же как и «Повести Белкина». Нет ничего лишнего, никаких избыточных подробностей. Попробуйте хоть что-то вычеркнуть. Не получится. Все нужно, все по делу. Вот вам и голизна.

Интересная это была пара, оба рослые, красивые. Она с роскошными золотистыми волосами, короткая коса, высокая грудь, торчащая с каким-то вызовом, такая грудь, которая мешала любоваться ее лицом. Он плечистый, глаза живые, подвижные, все время что-то высматривают, на чеку, разговаривает с тобой и следит за всем происходящим вокруг, ничто не ускользало от его взгляда. От него веяло уверенностью в успехе, да он и не стеснялся: «По Волге будет плавать теплоход "Алексей Астахов"! Я вам покажу портнихин сын!» Это его кто-то упрекал, ставил на место. Такие слова в молодой душе застревают надолго. Знаю это по себе. Тем более что я ведь тоже портнихин сын. Уже будучи писателем, был я приглашен одной художницей в ее мастерскую. Она уговорила меня позировать для портрета. Художница хорошая, позировал я охотно. Во время сеанса пришла ее мамаша. До этого дочь рассказала мне про свою семью, отец известный врач, членкор, мать тоже какая-то ученая шишка. Маман — грандиозное сооружение из прически, длинного пальто, чернобурки, сумки... Знакомимся. «А-аа, слыхала, слыхала», — говорит она одобрительно, оглядывает меня с улыбкой. Есть такая улыбка, небольшая. С подтекстом: «знаем мы, кто вы такой». И действительно, она сообщает, что знала мою мать, шила у нее. Далее следовало удивление: подумать только, как это вы стали писателем, сын портнихи...

Может быть, у нее было одобрение, но все равно мне было обидно.

Та моя знакомая пара вскоре развелась, разошлись без переживаний. Он нашел себе дочь крупно-

го чиновника. Бывшая жена поняла его, поскольку сама присматривалась к чему-то более выгодному. Оба деловые, циничные, они добились своего. Не знаю, как насчет парохода, но журнал, гламурный, он получил, главный редактор, соиздатель. Она стала владельцем дома мод.

* * *

Жизнь деревенская вспоминается как устойчивая, неподвижная, наподобие русской печи. А на ней лежанка, овчины, теплынь.

Этот неподвижный быт ныне кажется заманчивым.

Если что-то менялось, то неспешно. Люди уезжали и возвращались в родные места. Через год, два. Все оставалось узнаваемо. Те же соседи, тот же двор, знакомый вкус воды в колодце. В доме те же широкие лавки, отполированные задами. На лавках этих можно спать. Простые столы, табуретки. Фотографии родни, поколение за поколением. Стены проконопачены бледно-зеленым мхом. Привычные запахи печи, хлеба.

* * *

«Детей у нее полная кадриль».

* * *

У нас погоня за богатством привела к появлению бесчестных деляг, казнокрадов, жуликов. В Европе — к появлению менеджеров, новаторов.

* * *

Все тротуары Петербурга, Москвы, а может быть Европы, а может быть и мира, заплеваны жвачка-

ми. Серые ее пятна, как сыпь, не стереть, не вывести. Неужели действительно во всем мире?

* * *

Выпивши, дьяк мне объяснял, почему покаявшийся грешник дороже праведника. Потому что праведника не ухватить, не за что, «а грешник, он у меня в руках. Усек?»

* * *

Желательно, чтобы ученый старел раньше, чем его работы.

* * *

Вряд ли на том свете нас ждет больше огорчений, чем на этом, поэтому не стоит бояться смерти.

* * *

Хочешь стать свободным — стань равнодушным.

* * *

Древнейшая профессия? А вы знаете, на нее претендуют сикофанты. По древнегреческому — доносчики, стукачи. Они стали профессионалами в V веке до н. э.

* * *

Три особы, лет по тридцать, вроде милы, однако спустя час—полтора милота стала исчезать, у одной открылась набожность, поджатые губы, вздыхала, закатывала глаза к небесным инстанциям.

208 Вторая — воплощение кислоты нашей жизни, так

все кисло, отвратно, и это купе, и этот чай в под-
 стаканнике, некрасиво, бедно.

Третья, пожалуй, была самая любопытная. Она
 плавала в какой-то блаженной дреме, узкие глаза ее
 были улыбочиво затуманены. Говорила она протяж-
 но, словно засыпая, разбудить ее, вывести из этой
 дремы не удавалось.

А ведь на каждую из них найдется свой обожа-
 тель.

* * *

В борьбе со злом можно применить зло, но
 только меньшее, надо уметь честно сравнивать. Если
 мы хотим уменьшить общее зло.

* * *

«Добродетель не есть природное качество, оно
 является победой над природой».

(А. Любичев)

* * *

Те, кто не смотрит телевидение, они добрее, здо-
 ровее.

* * *

Вся партийная печать накинута на повесть
 «Зубр» с ожесточением, причем сладострастным,
 добыча виделась им сочной, долгожданной — напе-
 чатано в ненавистном журнале «Новый мир». Ге-
 рой — интеллигент. Автор тоже из другого лагеря,
 не деревенщик, не раз пятнал себя своими выпада-
 ми. Вспомним повесть «Наш комбат», рассказ «Соб-
 ственное мнение» и др.

Артподготовку возглавил «Наш современник». За ним журнал «Москва» и пошло-поехало. «Молодая гвардия», «Партийная жизнь», газета «Советская Россия». За ними застрочили провинциальные ортодоксы. Три года не утихала канонада (1987–1989). Мне помогало то, что я не читал эту ругань.

* * *

В 1897 году Страхов писал:

«При жизни Пушкина многие предпочитали ему Державина, в чем, вероятно, он не видел большой обиды. Но если б он теперь узнал в своем гробе, что все молодое пополнение уже не читает его больше и предпочитает Некрасова, то, может быть, он почувствовал бы немалую горечь».

Славу поэта у потомков предсказать невозможно. На моем веку резко изменилась слава «12 стульев» Ильфа и Петрова, с послевоенных лет она за последние годы упала, сник интерес к Тургеневу, Гончарову. Популярность Набокова вспыхнула и стала гаснуть. Даже у любви к Пушкину есть и пики, и провалы. Отчего они зависят — это тема, наверное, специальных исследований. Меняются вкусы, люди, но не только.

* * *

Пейзаж был приготовлен для долгого любования.

* * *

Кто прощает, тому простится.

Слушал я слушал ее жалобы и единственное, что я мог посоветовать, раз нужна любовь, надо любить самой, а не ждать любви.

* * *

Я не забуду, как одна начальница пришла к нам в училище, напутствовала нас:

— Вы защищайте Россию, а мы потом про вас кино снимем.

* * *

Это из книги «Дети мира пишут Богу» Михаила Дымова. Кажется, она у нас не выходила:

— Боже, ты на портретах всегда такой строгий, грустный — это потому, что мы у тебя плохо получились?

(Дона, 12 лет)

— Милый Боже, почему ты создал так, что человек живет вечно только после смерти?

(Хана, 12 лет)

— Боженька, у меня есть фотографии всех великих людей, кроме тебя.

(Норманн, 9 лет)

— Вот ты хочешь, Боженька, чтобы я был честным, тогда слушай честно: больше всего я люблю не папу и не маму, а купаться.

(Курт, 12 лет)

— Господи, скажи: Ты специально сделал, чтобы жираф так выглядел или у тебя случайно получилось?

(Норда, 7 лет)

* * *

Меня спросили школьники, кого я считаю самым великим ученым среди мировых гениев. В школьные годы любят выделять «самых», иметь четкую иерархию. Я задумался: а в самом деле, наверное, существует эта галерея «самых». Стал перебирать. Начиная с древних. Но там среди туник и тог я быстро запутался. Слишком мало знал античную науку. Аристотель, Пифагор, Платон... Они и философы и ученые. Нет, это мне не по росту. Лучше новое время. Там у меня на первом месте Ньютон.

Как-то при обсуждении плана серии ЖЗЛ я спросил у редактора издательства «Молодая гвардия», почему у них нет книги про жизнь Ньютона? Редактор пожал плечами, «он же Исаак». То, что семья фермера, пастора, это неважно, важно, что имя звучит как еврейское.

Ньютон открыл систему мира. Всего лишь. И с тех пор триста лет мы живем в ньютоновском мире по его законам. И тот редактор «Молодой гвардии», хочешь не хочешь, живет в мире отвлеченного Исаака.

* * *

За десятилетия советской истории накопились Монбланы лжи, мифов, утаенных фактов. Потихоньку их раскрывают. То там, то тут появляются

публикации. Недавно по телевидению показали фильм о Мао-Цзедуне и министре обороны Китая Линь-Бяо, который готовил заговор против своего вождя. Происходило это в годы Культурной революции. Линь-Бяо действовал в сговоре с нашими органами. А у нас в это время распевали песню «Москва-Пекин», славил Мао, цвела советско-китайская дружба.

Однако Мао проведал о заговоре и уничтожил своего министра обороны вместе с его женой...

Фильм высветил страшную подоплеку того нашего братства с Китаем. Не полностью открылось, но кое-что достаточно трагичное и подлое с обеих сторон.

*О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...*

Вполне уместны эти пушкинские строки. Гомеопатическими порциями мы получаем правду, запоздалую на десятилетия. Историки выдирают ее с трудом из архивов. Сведения полувековой давности все также под замком... Шестьдесят лет прошло, и только сейчас усилиями, героическими, появляется кое-что, сквозь зубы, о потерях, о том, как на самом деле началась Великая Отечественная, та война, что вел народ. Все было завалено чудовищным враньем. Сочинили про коварную внезапность Гитлера, про преимущества в технике, в численности дивизий — чего только не наврали, лишь бы оправдать бездарность наших военачальников, преступные потери.

Поколения прожили в стране мифов, миллионы солдат полегли не столько за родину, сколько во имя амбиций бездарных полководцев. Из напрасных жертв они соорудили себе славу и памятники.

Страна никак не может выбраться из трясины лжи. Архивы недоступны, армейские начальники из всех сил секретят прошлое. Особенно советское, словно свою постыдную родословную. С трудом удастся публиковать крохи, ничтожную часть, хотя уже прошли все мыслимые сроки хранения. Ушли из жизни все участники, все свидетели преступной нашей истории, и все равно Страх не снимает запретов.

Что мы знаем о трагедии Катыни? Почти ничего. И то большей частью из иностранной печати. Что знаем про депортацию советских народов? Как она происходила? Какие обвинения предъявляли калмыкам, чеченцам? Как готовили «Ленинградское дело»? А как судили командующих авиацией, за что расстреляли Берия, Власова, Мейерхольтца?..

* * *

Меня уверяют, что во времена античности любви как чисто духовного чувства не было, она родилась позднее. В Древнем Риме, например, царило желание, то есть эротическое начало, чисто сексуальное влечение, ссылаются при этом на такого автора, как Овидий. При внимательном чтении того же Овидия возникает чувство поклонения, восторга перед красотой и совершенством женщины, оно куда ближе к любви, оно скорее следствие любви, все ее приметы. Любовь, влечение, выбор — имеют и чувственное начало, и проводить здесь четкую границу до-

вольно трудно. Однако читая «Науку любить» Овидия, убеждаешься, что автор рассказывает о своей науке отнюдь не только как о приемах овладения женщиной. Сладострастие присутствует в его науке, оно сопровождает чувство более серьезное: «Снискать доверие не трудно, — всякая женщина считает себя достойной любви... Часто, однако, прикидываясь влюбленным, влюблялся не на шутку, часто, начиная с притворства, кончал серьезно».

Овидий рассказывает, «каким искусством можно удержать при себе бога любви». Разве это не задача всех влюбленных, самая духовная часть любви, любви платонической, мечтает продлить себя. У Стендаля есть большая книга «О любви», где он подметил процесс, который обозначил термином «кристаллизация». Это процесс возникновения и роста любви. Даже внезапная любовь все равно требует какого-то процесса, он сопровождается целым рядом открытий. Чувство любви растет, в любимом существе находишь все новые подтверждения выбора. Открываются новые совершенства, начинает нравиться голос, смех, жесты. Это все подтверждает чувство. Вот этот процесс, который Стендаль называет кристаллизацией, мне знаком. Надо признаться, что остальные рассуждения автора на тему любви меня меньше привлекали. Но вот процесс кристаллизации подтверждался. Конечно, чистое желание никак не связано с любовью, более того, мужчина, удовлетворив свое желание, уходит, не оглядываясь, а часто даже испытывает какое-то раздражение или недоброжелательство к женщине, которая доставила ему это наслаждение, словно он злится за свою слабость, за то, что уступил своему чисто физическому желанию,

словно сознает порочность совершившегося, это злость за свою слабость и зависимость, унижительную зависимость от физиологии.

Любовь, она увеличивает чувственное наслаждение, украшает его и она-то дает, допустим, мужчине совершенно иное чувство — радость обладания, победы, осуществления; она создает какую-то новую прелесть любви, более того, даже счастье в этой любви, именно тогда сливаются чувственное и духовное начала любви, это счастье обладания друг другом, в любовном акте торжествует именно чувство обладания. Об этом писали многие, и можно считать это общим положением, но это никогда не бывает общим, это всегда очень индивидуальное чувство, потому что оно связано у него — с личностью женщины, у нее — с личностью мужчины. Любовь раскрывает прежде всего личность. Если мужчина удовлетворяет чисто физическое желание, это происходит без особого разбора, конечно, хочется помоложе, посвежее, покрасивей, и все же здесь нет ничего похожего на счастье находки. Вот эту неразборчивость я наблюдал всю войну на фронте, да и потом. В какой-то мере, мне кажется, гораздо в меньшей было это и у женщин. Я вспоминаю то, что произошло со мной во время отступления нашей части у Лужского рубежа летом 1941 года. Это был какой-то «населенный пункт», уже не помню, как он назывался, а может даже, я и не знал никогда его названия, мы получили приказ оставить его на следующий день. А вечером, успев помыться в бане, я сидел, пришивая воротничок, когда подошла хозяйская дочь, девица лет восемнадцати, присела рядом и через несколько ми-

нут нашего разговора призналась мне, что хочет, просит меня, как-то она интересно выразилась, чтобы я с ней сделал то, что иначе с ней сделают немцы, когда придут. Помню, как она мучилась в поисках более деликатной формулировки, сказала, что она девушка и что она больше всего боится забеременеть от немцев. И я помню, как я испугался и стал всячески отнекиваться. Но вспомнилось мне это сейчас, потому что я был для нее лишь средством, потому что не было никакого чувства, а был лишь страх. Я позорно бежал. И интересно, что это ощущение мужского стыда было куда более сильным чувством, чем горечь нашего отступления. Позже я иногда спрашивал себя, прав ли я был, что стало с ней, и было ли какое-то другое, может, более порядочное решение?

Существует ли какое-то различие в любви мужчины и женщины? Наверное, состоит оно в том, что женщина хочет любви навсегда, любви надежной, прочной — древний инстинкт будущей матери, потребность иметь защитника и кормильца. А у мужчины? Честно говоря, это скорее желание безоговорочного обладания, ревнивого требования признания своего превосходства.

Является ли любовь, как часто считают, счастливой находкой двух половинок? В каком-то смысле да, ни у Стендаля, ни у кого другого я не нашел разгадки вот этого первоначального момента, когда он или она вдруг обнаруживают свое внезапно вспыхнувшее чувство. Откуда оно обрушивается, с чего, именно к ней, именно к нему, казалось бы, без особого повода, от какого-то взгляда, слова, бог весть как оно появляется и овладева-

ет душой, и распространяется. Есть, конечно, и другое, какое-то более мирное и спокойное возникновение привязанности, влечения, когда начинаешь понимать все достоинства другого. Интересно общаться, все более приятно быть вместе, говорить, а то и молчать.

Я не раз убеждался в том, что любовь мужчины к женщине делает ее и краше, и умнее, делает ее способной на чудеса самоотверженности или самопожертвования, она и внешне становится куда привлекательнее, она любима и это поднимает ее в собственных глазах. Интересно, что жены, например, русских художников сами начинали рисовать и достигали немалых успехов. Жена Осипа Мандельштама после его смерти написала великолепные воспоминания, вдруг открылся литературный талант; Зинаида Нейгауз написала интересные воспоминания о Пастернаке. Похоже, что соседство с гениями индуцирует у любящих женщин способности.

* * *

Первых кроликов привез в Австралию в 1860 году Остин. Выпустил нескольких в своем парке, просто для охоты. Ему не приходило в голову, что он делает. Кроликов до этого не существовало в Австралии никогда. Кролики быстро-быстро, подобно пламени, охватили поля континента. Полтора века Австралия страдает от нашествия кроликов. Миллионы фунтов стерлингов потрачены на их истребление. И впустую. Кролики в австралийских условиях могут размножаться круглый год и повсюду. От одной самки в течение года может

появиться потомства более 3 000 особей. Три тысячи! Природа этой части света оказалась беззащитной. Она не обладает хищниками, каким-то собственным иммунитетом перед этими милыми созданиями.

* * *

У меня вышел спор с одним священником насчет немцев. Я считал, что, конечно, простим немцам. Уже пора. Сколько можно? Простим, но не забудем. Он же доказывал, что прощение тогда будет полным, если забыть, не вспоминать. Иначе что же, сохранять в душе на них зло?

Так и не договорились. Есть вопросы нерешаемые. У каждого свое пережитое, то, что не передать никому.

НА ЛЕСТНИЦЕ

Дом писателей имени Маяковского находился неподалеку от нашего дома. По вечерам у писателей проходили какие-то неведомые действия. Горели окна, былолюдно, шумно. Дом был недоступен. Не помню уж как, я однажды проник на вечер по поводу приезда испанского поэта Рафаэля Альберти и его жены, тоже поэта, Марии Терезы Леон. Ах да, у меня был роман с университетской девицей, испанисткой. Она меня провела. В тот раз я увидел Алексея Николаевича Толстого, Чапыгина, Шишкова. Испанцы читали стихи. Все вставали и пели с ними «Бандера росса», поднимали сжатые кулаки в знак солидарности с испанскими

революционерами. Воодушевление братской любви пылало в зале. Светловская «Гренада» вспыхнула пророческим светом. Как мог он угадать в двадцатые годы, что мы действительно станем воевать за свободу испанцев, за то, чтоб «землю крестьянам в Гренаде отдать».

После стихов, песен, речей, Рафаэль Альберти с женой танцевали. Это была красивая пара, они исполняли фламенко почти профессионально.

Мои догадки подтвердились: в этом доме шла особая, волшебная жизнь. Великие писатели жили великими мировыми страстями.

Первый свой рассказ я напечатал в журнале «Резец». Это былдохлый малотиражный ленинградский журнальчик. Событие это я почему-то хранил втайне от родных и друзей. И рассказик был никудышный, и было сознание того, что я не писатель. Тем не менее я отправился в Дом писателей, записаться в их библиотеку. Мне хотелось почитать журнал «Литературная учеба» и серию книжек о том, как писать. Выходила такая брошюрка как бы в помощь начинающему автору: «Как я пишу». Писали их (тоже примечательно!) большие мастера — Алексей Толстой, Николай Никитин, Михаил Козаков и другие. Толстой не то всерьез, не то с иронией советовал следить за желудком, от хорошей работы желудка многое зависит.

Почему-то считалось, что стране нужно больше писателей. Не хватает писателей.

На всякий случай я взял с собою номер «Резца» со своим опусом. Как назло, в библиотеке толпился народ. Библиотекаршу звали Александра Ивановна Вагина. Это была маленькая женщина, подстрижен-

ная по моде двадцатых годов — под челочку. Выслушав мою просьбу, она спросила, какое я имею отношение к Союзу писателей. Я стал совать ей журнал «Резец». Голос мой излишне завибрировал, как это бывает, застенчивость прикрылась наглостью. Не знаю, какими словами сопровождал я демонстрацию своего шедевра, привлекая всеобщее внимание. Александра Ивановна усмехнулась над моим журналом, над моей застенчивостью. «Нет, нет, этого недостаточно, — сказала Александра Ивановна, — мы записываем только членов Союза писателей».

Надо было повернуться и уйти. Это было самое трудное, при мне они только усмехались, когда выйду, они расхохотутся. Я ощутил жалкий комизм своей фигуры, штаны с пузырями, резиновые тапки. Высочка, самозванец. То, как я вспыхнул, еще усугубило положение. Мне редко удастся вовремя найтись, снять неловкость шуткой. Я все порчу своим наглым конфузом. Весь в липкой потной краске, я спускался по лестнице. Не помню, как я вышел, зато помню, как, спускаясь по лестнице, я поклялся, что вернусь сюда победителем, они еще пожалеют, они еще устыдятся. Мраморные ступени Шереметьевского особняка должны помнить жар моей клятвы. Я приносил ее моей юности, моему будущему. Извините, что посягнул на ваш заповедник, говна пирога.

— Я вернусь! Вы еще пожалеете! Вы увидите, я въеду сюда на белом коне!

Клятва овладевает душой, юношеская — выжигает свое чувство глубоко. Слова произнесены и обрели власть, напрасно потом я посмеивался над ними. Оплеуха эта долго еще помогала мне.

Первая моя повесть «Ярослав Домбровский» имела тяжкую судьбу. Издательствам, тем более литературным журналам не нужна была чужеземная история. Партия призывала писать о современности, не уходить от насущных задач... Когда повесть была готова, я стал искать, кому бы дать ее прочитать. У меня не было знакомых писателей, мои друзья были технари, физики, электрики. Кабельная сеть имела в своем распоряжении все что угодно, кроме литературы. Как и все начинающие, хотел получить точные указания — годится или нет, и вообще... Извечные вопросы начинающего. Тайная уверенность и жалкие поиски одобрения. Выяснилось, что у одного моего друга есть школьная знакомая, которая имеет какое-то отношение... Она окончила филологический и, кажется, пишет какие-то рецензии или что-то в этом роде. Ей он вручил мою рукопись. Через две недели я получил ее обратно с пренебрежительным советом бросить эту тему. Я настоял на личном отзыве, девица оказалась внушительной, пухлая, белая, непропеченная, голос у нее тоже сырой. Доказывала, что нужно начинать с азов, с коротких рассказов, на хорошо известном материале. Внушала подробно, как тупому ученику. Я спросил ее, стоит ли мне вообще продолжать, она посмотрела на меня с жалостью, мягкая ее всякая грудь поднялась со вздохом — пожалуй, не стоит, призналась она, у вас же есть специальность, знай сверчок свой шесток. Она была полна сочувствия. Возможно, она была права. Не раз и не два я потом вспоминал ее совет. «Вы уверены, что писательская специальность лучше инженерной, что она принесет больше пользы?»

Я совсем не был в этом уверен. Насчет пользы, определенно моя работа в «Ленэнерго» была полезнее, я был весь нацелен на пользу людям. Какую могла принести пользу повесть о генерале Парижской коммуны? Категоричность ее приговора не остановила, а разозлила меня. Я, значит, не знаю своих возможностей, а она знает.

Объективно у меня не было никаких данных стать писателем. Образование — техническое; наследственности быть не могло, никто в нашем роду не посягал на литературу, возраст уже серьезный, способности были явно к научной работе. И тяга к ней имелаась. И результаты появились. Я напечатал две работы по замкнутой сетке. Тема эта была не очень интересна, но исследование продвигалось легко, удачи были, и я чувствовал, что и другая тема, разряда в газах, пойдет.

Тем не менее я продолжал писать. Я писал как бы тайком от себя. Назло себе. По ночам. Я не пытался улучшить свой язык, стиль, постигнуть тайны мастерства, мне просто нравилось писать, это было чистое, ничем не замутненное наслаждение графомана. Я корил себя, как за порок, пряча свои рукописи от всех. Жена мирилась с этим. У одних мужья играют в карты, другие пьют, мой чего-то пишет, пусть перебесится.

Так было до окончания «Домбровского». Пожалуй, по удовольствию это была самая лучшая моя пора.

Только после того, как повесть была закончена, я начал учиться писать. То есть учиться читать. То есть читать, учась, стараясь понять, почему так получается у Достоевского, у Паустовского, у Толстого, у

Чехова, у Бабеля и Катаева. Иногда что-то удавалось понять. Классика свои секреты выдавала неохотно. Легче было с моими современниками и с западными тогда модными Ремарком, Хемингуэем, Хаксли.

Каждый из них был убедителен, каждому хотелось подражать. В каком-то рассказе Сергея Антонова я прочел, как входит человек в контору и вешает плащ на никому не видимый гвоздик. Эта деталь означала, что человек здесь бывал, отсюда следовало его поведение и окружающих. Емкость подобных примеров поражала меня, как открытие.

Пристрастия сменялись, я начинал писать под Бунина, под Тургенева, под Горького, но свое, собственное, то и дело смывало чужую манеру. Неявная, может безликая, зато естественная. Чужое при ней не удерживалось. Тем не менее еще долго я продолжал одалживать, восхищался, завидовал, и до сих пор нет-нет да погружаюсь в зависть, тоскливо упираюсь в чужие страницы, грустно, так непостижимо, хоть плачь. Потом, вычитывая свою рукопись, нахожу эти пятна, чужой оборот, интонации. Одно время меня мучило, что нет у меня собственного стиля, явного, такого, как, допустим, у Александра Грина или Достоевского, неважно большой, маленький писатель, каждый должен иметь свой голос, узнаваемый, ни на кого не похожий. Я для себя такого не нашел. Не образовался он. Стиль, наверное, нечто прирожденное. В самых ранних повестях Паустовского, в рассказах Бабеля уже звучит их собственная интонация. Много позже я дошел до того, что эта стилевая яркость — не самое важное. Есть писатели типа Бунина, где любишься красотой слова, виртуозной гибкостью фразы. Бо-

гатство языка, сравнений, метафор точно витражирует своим многоцветием. Не обязательно даже различать, что там за цветными стеклами, так хороши краски и рисунок цветных стеклышек. Есть другие писатели, прозрачные, как стекло, так, что видно все, что там за ними. Таковы, например, Чехов, Лермонтов. Между мной, читателем, и их героями я почти не вижу, не замечаю автора. Он как бы отсутствует, он не поражает меня своими мазками и красками. Проза Чехова, Пушкина, Лермонтова с годами кажется мне все более современной именно своей прохладой, лаконичностью.

* * *

Есть люди, которые не признают существование души, душа, мол, это вещь недоказуемая, выдумка религиозного толка, а главное — субстанция ненужная. Спорил я, спорил, а потом сказал — нет смысла навязывать вам душу, раз вы в ней не нуждаетесь. Мой оппонент сослался на анатомов, сколько они ни вскрывали трупов, никаких следов пребывания души не обнаружили.

Однако, если вскрыть мозг любого из нас, то никаких следов мысли, разума мы не найдем.

* * *

Мы не дружили с Семеном Кирсановым, однажды лишь были вместе в Париже и там пообщались. Жаль, человек он был занятный, яркий, талант общения был у него исключительный. Последний раз мы с ним встретились в ЦДЛ. Выглядел он плохо, болел, знал, что непоправимо. Увидев меня, подсел, сказал, начав по привычке с середины:

— Все плохое теперь, в конце жизни, стало хорошим. И ссоры, и разводы, и тоска, все-все. Ни о чем не жалею. Жил много. Ни одной щелки не было.

Он вдруг подмигнул:

— Да здравствует все, благодаря чему и несмотря ни на что.

Испортил, шутка не получилась.

* * *

Мы все ищем комплекс вины у немцев. Раз они нам — гуманитарную помощь, значит, чувствуют себя виноватыми. Они нас хорошо принимают, потому как хотят как-то искупить свою вину. Помнят. И дети их помнят. И это правильно. Пусть помнят.

Почему же у нас нет подобного комплекса? Допустим, за Афганистан. Перед афганцами? Почему мы не шлем им гуманитарной помощи, не собираем посылок, не приглашаем к себе афганских детей? И мысли такой не появляется. Сами участники войны никак не хотят искупить своей вины, и дети их не хотят. К своим солдатам у нас жалость, ах бедные, они травмированы. А сколько перебили там мирных людей, скрывают от нас до сих пор.

* * *

Известный наш онколог Н. К. Петров выступил с учением о должном, так называемой деонтологией, и ввел его в медицину в своей книге «Вопросы хирургической деонтологии». Там есть, к примеру, такие правила:

«Смелость не должна превышать умелость».

«Добросовестный хирург вправе делать больному только такую операция, на какую он согласился бы для себя или для близкого ему человека».

* * *

Трусливый врач — самый опасный врач, он всегда найдет возможность ничего не делать для больного.

* * *

Американский писатель-публицист Казинс пропагандировал лучшее, по его убеждению, лекарство от всех болезней, это смех. Он испытал его на себе.

Болезнь тяжело, так, что кардиологи еле удерживали его на этом свете. Он попросил показывать ему комедии, рассказывать анекдоты, всячески веселить. Восприняли просьбу как блажь. Смертельно больному пошли навстречу. Приглашали комиков, клоунов. Казинс доказывал, что при смехе что-то выделяется, работает биохимия. И представляете, сработало.

Это был веселый, милый человек, он возглавлял американскую сторону в дни нашего визита в США. Его исцеление произвело впечатление на медиков, правда, потом вспомнили, что подобное средство давно известно. Ничего нового под луной не бывает. Итак, он выздоровел и стал автором нового средства. Которое тоже вскоре забудут.

Казинс пригласил нас на вечеринку к себе домой, случай редкий, нас — девять писателей плюс десять американских.

Посреди вечера меня позвал глава нашей делегации Федоренко Николай Трофимович. Он возглав-

лял иностранную комиссию Союза писателей, возглавлял журнал «Иностранная литература». Он был крупный начальник, всегда что-то возглавлял, имел звание посла, что причиняло много хлопот и огорчений. Когда мы прилетели в США, он был уязвлен тем, что в Вашингтоне его в аэропорту не встретил посол.

— По протоколу, — жаловался он мне, — посла должен встречать посол.

— Так вы же давно не посол.

— Посол звание пожизненное. Как академик!

Послом он был при Сталине в Китае. Он сопровождал Мао и был на их встрече со Сталиным. Это на него сильно подействовало, до сих пор он пересказывал, как кто говорил, каждый жест, каждое междометие одного вождя и другого. Глубочайшее историческое значение он был обязан запечатлеть, беда была в том, что ничего про эту встречу он писать не мог и тогда и поныне.

Итак, он пригласил меня, я подошел, он сидел в углу гостиной с Казинсом и американской журналисткой, другом дома, рослой сорокалетней дамой, красивой, большеглазой, никакой косметики, ранняя седина не закрашена, все это было симпатично, и по-русски она говорила коряво симпатично, вспоминая свою московскую жизнь.

Оказывается, меня призывали как фронтовика. Разговор у них шел о Втором фронте, слишком поздно его открыли, как доказывал Федоренко, поэтому у нас большие потери. Собственно, исход войны был уже предрешен. Союзники не считались с тем, как гибли советские солдаты. Двадцать миллионов — он самодовольно подчеркивал эту

цифру как свои козыри. У него были круглые навывкате глаза, веселые. Двадцать миллионов!

— Разве в этом виноваты союзники? — спросила американка. — Вы ведь не открыли Второй фронт, когда немцы напали на Европу.

— Давайте лучше послушаем фронтовика, — сказал Федоренко и похлопал меня по плечу.

Конечно, мы ждали Второго фронта, чем дольше, тем больше, мы негодовали на союзников, чего они тянут, готовятся? Но если мы не выдержим, если падет Ленинград, Сталинград, Москва, то тогда вся их подготовка ни к чему, без нас они рухнут. Мы еле держимся. Кое-кто говорил, что они нарочно тянут, чтобы мы ослабли...

Я высказал это как можно мягче, дело прошлое, да и эта славная бабенка была ни при чем, не она медлила.

— Но ведь мы вам помогали, — сказала она. — Раз вы были на фронте, вы, наверное, помните.

— Чуть что, они предъявляют свою тушенку. — И Федоренко подмигнул мне.

— Кроме тушенки мы послали четыреста тридцать тысяч автомашин, — мягко сказала американка, — «виллисы» и «студебеккеры».

На «виллисе» носился вдоль нашей танковой колонны комдив. Могучая была машина. Я однажды проехался на ней, она брала подъемы не хуже танка. Я вспомнил и «студебеккеры». Не чета нашим полуторкам.

— Еще был американский шоколад, на Ленинградском фронте мы от него сразу пришли в себя.

Мне сразу вспомнилось, как мы рубили светло-коричневые глыбы шоколада, и вкус горько-слад-

кий, и крошки, которые тоже делили. Шоколад был потрясный.

Еще мне достался американский фонарик, а в конце 1942 года нам выдали по меховой жилетке, как-то они назывались, уже не помню.

— А танки, три тысячи танков вам сумели доставить наши корабли, — сообщила американка, — а телефоны, а рации...

Она, видно, неплохо знала или подготовилась про этот ленд-лиз.

— Насчет танков не надо, танки ваши на бензине были плохи, — я смягчил, как мог, потому что в самом деле это были никудышные машины.

— Это говорит танкист, — сказал Федоренко, — так что не будем преувеличивать.

— Нет, что было, то было, Николай Трофимович, лично я благодарен, я бы слег от дистрофии, а может, и вообще бы загнулся, они нас сильно поддерживали.

Мне хотелось отдать должное тем парням на транспортах, что везли нам через Мурманск жратву и взрывчатку, там потопили немало пароходов. В сущности мы так ни разу не отдали должное тем парням. Наши начальники быстро перессорились, мы и опомниться не успели, как они объявили друг другу холодную войну. На обратном пути Федоренко стал выговаривать мне за восхваление ленд-лиза. Не надо нам снижать ценность нашей Победы, отдавая ее американцам, англичанам, разгром Гитлера — наша заслуга, они же хотят разделить Победу. Не стоит помогать им...

В мягкой его настойчивости чувствовалось требование признать свою ошибку. Известно было, что

руководитель делегации пишет отчет, что было, кто как себя вел, какие замечания. Кто-то «там» читает и выносит решение — этого больше не выпускать. Такие решения в мой адрес уже выносились.

Тут вдруг вспомнилась мне история с заячьим тулупчиком в «Капитанской дочке», я рассмеялся, радуясь этому воспоминанию.

* * *

Оправдание человеческой жизни в том, что она выше разума, законов нации, выше инстинктов, она чудо. Это не самомнение, а благоговение к другой человеческой жизни.

Так же, как внутри плода есть косточка его будущего, в ней заложен план его жизни, так же в человеке есть внутренний человек с его способностями, наклонностями. Человек этот готов жить по совести, подчиняясь только себе. Но есть внешний человек, который заставляет жить по обстоятельствам, так удобнее, безопаснее. Два этих человека всегда сопутствуют нам, наружный он посильнее...

* * *

2009 год, бушует кризис, банки, пресса, власти сокращают штаты, избавляются от «планктона». На нашей улице закрылось несколько магазинчиков, старый ресторан «Флора» обанкротился, вместо него теперь японские «суши» — «Евразия».

* * *

Мы были на Сытном рынке с Галей Наумовой. Она живет в Париже, приехала навестить своих. Обходила ряды продавцов — азербайджанцы, тад-

жики, узбеки. На улице делают новый тротуар — работают узбеки, таджики.

* * *

Была отчетная конференция Московского горкома партии. Новый секретарь Ельцин Б. Н. в докладе раскрыл безобразия, полное разложение бюро МК во главе с Гришиным. Тот сидел тут же в президиуме. Делегаты встречали обличения Ельцина бурными аплодисментами. После заседания члены бюро направились *в их ход*. Мальчики остановили Гришина — «вам сюда!», показали на общий выход. Гришин по общему ходу вышел на улицу. Подъезжает обыкновенная черная «Волга». «Это вам», — говорит шофер.

Первым делом — отобрать, лишить. Самая срочная мера.

* * *

Человек человеку человек!

* * *

И. Грабарь и другие художники были у Сталина по поводу распродажи картин из Эрмитажа.

Сталин слушал холодно, посасывая трубку, потом обратился к Грабарю:

- Вы верите в мировую революцию?
- Верю, — ответил Грабарь.
- Ну так о чем вы беспокоитесь?

* * *

Надо бы наращивать культурный слой России, а его срезают, смывают, растворяют, интеллигентно-

сти не дают отстояться, пустить корни, стать потомственной. Почти все великие ученые были детьми священников, учителей, врачей.

* * *

Сущность христианства не в соблюдении запретов, а во взаимной любви. Наша советская мораль создавалась из страха, ненависти. И это длится по сей день. Ксенофобия, ненависть к олигархам, американцам, всяким «черножопым», «хачикам».

* * *

Так называемое «Ленинградское дело» самое для меня непонятное. Все осужденные были яркими сталинистами. Никто из них никогда не проявлял оппозиционных настроений. И в мыслях такого не было. Все они были сталинскими выдвиженцами. Считается, что «Ленинградское дело» было затеяно Маленковым, Берией в борьбе за власть. Вероятно, так оно и было. Документов нет, все уничтожено Маленковым. Он ведь еще после смерти Сталина два года возглавлял правительство, до 1957 года оставался членом Политбюро, так что время подчистить за собой следы — было. Меня же «дело» это коснулось, пересекло мою жизнь. Осколок просветел рядом. Не то слово: так рядом, что опалил, контузил, и надолго. Приоткрылась адская кухня того, что творилось вокруг Сталина. Среди верных ленинцев в Политбюро.

Участники «Ленинградского дела», как правило, блокадники, это те, кто худо-бедно работали всю блокаду в Ленинграде. Хлебозаводы, типографии, карточки, какие ни есть продукты, выдачи, эвакуации,

госпитали, как могли поддерживали городское хозяйство, спасали памятники, подбирали трупы... Директоры, райкомы, городские службы — все руководство блокады арестовывали в первую очередь.

Никаких ясных обвинений не предъявлялось. В печати ничего вообще о «раскрытии заговора», о вине и преступлениях участников не сообщалось. Все творилось безмолвно.

Появлялись слухи о том, что «они» противопоставили себя ЦК партии, возвышали героизм Ленинграда, принижая Москву. Подобное сопоставление это не публиковалось, хотя в те годы оно, очевидно, было не в пользу Москвы. Всем была известна паника москвичей в октябре 1941 года. Повсюду жгли архивы, бумаги, над столицей летала копоть. Шло повальное бегство. Учреждения опустели. Начальство исчезло, бросив свои кабинеты, своих подчиненных. 16 октября считалось позорной датой в истории Москвы. Чтобы город-герой Ленинград не заносился перед Москвой, не высмеивал ее звание города-героя, следовало сбить с ленинградцев спесь.

Способ был один, привычный.

Существуют и другие версии о причинах «Ленинградского дела».

Считают, что Сталину наговорили на ленинградских руководителей, изобразили заговор. Якобы Сталиным манипулировали. Не знаю, вряд ли Сталиным можно было управлять. Он был непревзойденный мастер интриги, куда хитроумнее своих сподвижников.

Прямых улик, доказательств у Берии, Маленкова не было. Но Сталину не нужны были ни улики, ни

мотивы, вполне возможно, его устраивала беспричинность. Она создавала нужный страх.

АНГЛИЯ

Кембридж, университет отмечает свой юбилей — 800 лет.

Ходишь по этому Кембриджу, из колледжа в колледж, и ощущаешь незыблемость. От газонов до стен, дверных ручек, портретов на стенах. Все так и было. Тот же порядок в столовой, здесь всегда сидели преподаватели, там студенты. Это место декана, та же роскошная библиотека, та же плохая вентиляция. Так было всегда и так будет и дальше. Восемь веков.

* * *

Худо не тогда, когда мало, а тогда, когда всё мало.

(Д. С. Лихачев)

МИФЫ И ТАБУ

Ни в коем случае не разрешалось писать о том, что происходило на оккупированных немцами территориях. Была ведь и радость от прихода немцев. Ни-ни! Табу!

Роль заключенных в строительстве ГЭС и великих строек пятилеток — нельзя!

Заградотряды — низя!

Все было не совсем так

* * *

— Победа — единственное дитя нынешней России, бесконечно любимое. Тридцать с лишним миллионов жизней мы вложили в нашу войну. Не трогайте ее. Не старайтесь развенчать. Я слышать про это не хочу! Ничего другого у нас нет и не будет взамен. Чем еще прикажете гордиться, чем?

* * *

Проходят годы, они превращают нас, наши книги, фильмы в робкие, соглашательские, нашу философию в трусливое эпигонство.

* * *

Наблюдал приход весны, трогательно, красиво, но по сути порядок прихода неизменен, тысячелетняя процедура таяния снега, высвобождение деревьев, и то, как они распрямляются, возвращаются к деятельной своей жизни. Все же нынешняя весна неповторима, в следующую весну я буду другим, в прошлые весны я видал то же самое, а воспринимал иначе.

Где-то идет борьба доллара и евро, ловят хакеров, обсуждают проблемы СПИДа, все это пройдет, а то, что происходит в лесу, будет повторяться и всегда будет привлекать и трогать человека.

* * *

— Будешь еще дергаться, полетишь у меня вверх кармашками!

* * *

Кумиры свергнуты, памятники снесены, святых не стало, страна оказалась вдруг безлюбовной. Кого любить? Все опустошено, разочарование лишило нас сегодняшних авторитетов, которым можно поклоняться, любить, следовать за ними. Кто? Где? Можно подумать, что эротика, порнография, эстрада пытаются как-то компенсировать эту безлюбовную жизнь. Был Лихачев, был Сахаров, был Аверинцев, были люди, достойные восхищения... Грустно, потому что все это ушло, нового не появляется, наверное, где-то частные примеры существуют, но хочется живого, теплокровного, духовного прибежища. Ведь огромная страна, полная умных, образованных, талантливых людей, любящих Россию, страдающих за нее...

Порнография превращает страну в мусорную свалку, эта грязь мешает сердечной чистоте. Порнография, похоже, пропагандируется настойчиво, ежедневно, и сводит молодые чувства к постоянным разборкам, где главное — кто? с кем? как? сколько? — где нет места ни поэзии, ни грезам, ни любованию друг другом.

1982 год. Ноябрь. Под Гатчиной осталось неубранное капустное поле. Люди стали ходить брать капусту. Так что сделали? Совхоз облил эту капусту хлоркой. Директор заявил, что ему дали такое указание.

Мы не дали России захиреть. Твои предки, мои предки, она как была огромной, сильной, так и со-

хранилась. Народы в ней тоже в сохранности находятся. А сколько других государств потеряли былую мощь! Возьмите Голландию, Испанию, Литву, Швецию, Грецию, какую-нибудь Монголию — миром правили. Континентальные очертания русской России не съёживались, они ширились, словно обретали цельность. Иногда кажется чересчур, зачем нам столько, но вспомнишь, какие были потрясения, как испытывали эту громаду на прочность, все она выдержала и как была, так и осталась. И понимаешь, что обширность нам помогала, просторы страны, то особое непереводимое русское понятие — воля, «хоть хвоину жую, да на воле живу».

* * *

Можно, да и следует вместо того чтобы мерить нас европейской меркой, мерить Европу нашей, русской. Мы пережили Гражданскую войну, социализм. Мы пережили колхозный строй, однопартийную систему, раскулачивание, индустриализацию, репрессии, Великую Отечественную, перестройку, ГУЛАГ. За 90 лет своей истории мы испытали столько, сколько ни одна другая европейская страна. Можно считать, что они неучи по сравнению с нами. Другое дело, что мы вынесли из своего учения? Одни мучения? Невозместимые потери? Но, думается, все-таки впустую это не прошло. Мы получили хорошую иммунную систему и начинаем понимать себе цену.

* * *

Вера в Бога — это бунт человека против смерти.
 238 Своей верой человек вызывает богов, защищается

от страха и бессмыслицы жизни, он заявляет смерти: «Есть нечто сильнее тебя. Даже не нечто, а нечто, именно нечто. Бог поможет тебя одолеть, он лишил тебя силы, он сделал тебя не страшной».

* * *

— Откуда мы узнали, что планета называется Венера? Значит, там живут?

* * *

Писать о себе, про свою жизнь — это самое достоверное и самое лживое. Но о ком же еще, если не о себе?

* * *

Снег был такой мелкий, легкий, что огибал подставленную ладонь. Ток тепла отбрасывал снежинки, а те, что падали, не оставляли мокрого следа, только щекотное прикосновение.

* * *

В Ялте, когда Виктор Шкловский и Илья Сельвинский жили в Доме творчества, они напечатали письмо в местной газете, где осуждали Бориса Пастернака за антипатриотический поступок. Бог с ним, с Сельвинским, а вот за Виктора Борисовича Шкловского обидно, испугался, так же, как испугались Вера Панова и Борис Слуцкий.

* * *

Вымысел бывает нужнее факта. Сочиняя, человек уподобляется Богу. Факт это то, что человек получил из окружающего мира. Вымысел — это то,

чем мир обязан человеку. Человек создает вымысел из ничего. Каждый человек кого-либо обязательно сочинял, погружался в мир воображения, фантазировал, видел сны. Есть легенда, что Петр Первый записывал свои сны. Феномен снов наверняка мог поражать его любопытство естествоиспытателя, это соответствовало его натуре. Может, когда-то найдутся его записи.

* * *

Комиссар нашего батальона Елизаров вывешивал в своей землянке свой портрет и под ним высказывание: «Солдат должен быть на войне круглые сутки, война не имеет перерыва. Елизаров».

* * *

Борьба с космополитами в начале 50-х годов имела тайную цель избавить нас от благодарного чувства к союзникам за помощь по ленд-лизу, за военное братство с англичанами, американцами, французами. И надо признать, огромный агитаппарат добился своего, «космополит» стал бранной кличкой. Космополитизм умело соединили с еврейством. Космополиты это прежде всего, конечно, евреи. Ну и все остальные слишком интеллигентные, которые не могут забыть про то, как нам на Ленинградский голодный фронт стали поступать шоколад, ветчина, полушубки, тушенка, лекарства, всякая всячина американская, вплоть до пуговиц. Мы пили какую-то горькую дрянь, и она избавила нас от цинги, сохранила остатки зубов.

Фридрих Шиллер считал: нация — пройденный этап человечества. Гёте с гордостью называл себя

космополитом. Желание подтолкнуть мир по пути христианского учения захватило многие умы. Учение Христа имело нравственное обоснование: «Нет ни Еллина, ни Иудея, есть всеобщая любовь». Христос выступал не как иудей, а как человек, Сын Божий. Христианство не знает коллективной вины, не знает национальной ответственности. Есть личная вина, личная совесть, личная вера. Но и до христианства Диоген объявил себя гражданином мира.

Во времена Путина был сделан решительный шаг, в паспортах исчезла графа «национальность». В Европе существует графа «вероисповедание». У нас ее не ввели. Остановились. Космополитизм как плохое понятие не реабилитировали, «космополит» остается бранным словом. Заменой все чаще звучит «европеец». Слово это расширяется. Французы, конечно, хотят называться французами, но и европейцами. Иметь двойное гражданство.

* * *

«Кто этот Кювье?» — спросил французский король Луи Филипп, узнав о смерти самого знаменитого ученого Франции.

«Кто этот Клод Бернар?» — спросил Наполеон III о французском физиологе, основоположнике эндокринологии и вообще экспериментальной медицины.

* * *

Очень часто сопротивляться бывает бесполезно, не может вода в чайнике сопротивляться огню, она должна закипеть.

«Сикстинская мадонна» Рафаэля — любимая картина Пушкина, Достоевского и Л. Толстого. Наверное, для каждого она значила свое.

Во время революционного восстания в Дрездене М. Бакунин предложил выставить эту картину перед войсками, уверенный, что в нее не станут стрелять.

* * *

Русские барыньки, дворяне, помещицы дочери — не так уж они убоги, нашим женам есть чему у них поучиться. Еще при Пушкине они в провинциях музицировали, читали и много. Знали французский, рисовали; где появляется интересный человек, приезжий — приглашали к себе.

Ныне бегают по магазинам, «достаю́т», заняты массажами, масками, похудением, жратвой, собираются посмотреть, кто что сшил, у кого какая машина. Вершина интеллекта — имеет права, водит машину.

* * *

1992—2000 гг., вдруг:

Все надели кресты.

Исчезли очереди.

Появились герои шоу-бизнеса.

Куда-то пропали коммунисты.

Прекратились собрания.

* * *

* * *

Оказывается, мы можем существовать и без КПСС, кто бы мог подумать. Правда, лучше пока не стало.

* * *

Илья Сеченов писал: «Спор (естественников) выходит истинно жарким лишь тогда, когда бойцы немного дилетанты в спорном вопросе».

* * *

Происхождение? Конечно, влияет. Семья интеллигентная много значит. Богатство тоже способствует и образованию, и научной карьере. Но так ли уж исключительна судьба Ломоносова? Фарадей родился в семье кузнеца. Всю юность работал в лавке переписчиком. Только в 21 год приблизился к алтарю науки. Попав в секретари к знаменитому химику Дэви. Пастер родился в семье кожевенников, отец его был солдатом.

Отец Иммануила Канта был ремесленником.

Великий математик Гаусс самостоятельно изучал труды Ньютона, Эйлера, Лагранжа. Отец его был водопроводчиком...

* * *

Таких примеров немало. И все же подавляющее большинство великих ученых появилось из среды просвещенной — где родители были профессоры, священники, врачи, учителя. Интеллигентность помогала и помогает выявлять таланты, помогает им создавать. Гении, они, конечно, могут многое преодолеть. Мы не знаем, сколько их так и не пробилось, не осуществило себя.

Все было не совсем так

* * *

— Бабуля, когда мы опять станем строить коммунизм?

(Костя, 7 лет)

СЕСТРА МНЕМОЗИНА

Если б можно было оживить тот зимний день, когда отец поставил меня на сделанные им досчатые лыжи с сыромятным ремешком и стал учить кататься на них. Знаю, что это было, но никак не могу вспомнить его наставлений, утешений, тот двор, пригорок. Не помню и что он говорил мне перед смертью. Почему забывается так много дорогого, бесценного, почему? Забвение хозяйничает, заявляя, что заботится о здоровье Мнемозины. Богиня памяти отягощена, слишком много выпало на ее долю встреч, событий, разговоров. Одни книги и газеты, горы этого бумажного хлама чего стоят, задохнешься, если его не уничтожить. Забвение — это наперсница Мнемозины, верная спутница. Для меня же она мой враг, каждый раз оказывается, что она выкинула самое нужное. Нет никакой системы, что под руку подвернется. Как назло сохраняется всякая мелочь, труха. Какая-нибудь выпавшая ресничка на щеке. Само лицо исчезло вместе с именем и тем летним днем, зачем-то осталась эта никчемушная ресничка.

* * *

Появлялись ли в Советской России гении? Появлялись. И немало. Даже на диво много. Появлялись,

несмотря ни на что, такова уж природа русского человека. Список велик: Сахаров, Ландау, Королев, Раушенбах, Ахматова, Шостакович, Николай Вавилов, Капица, Маяковский, Есенин, Тарковский, С. Прокофьев, Булгаков, Мандельштам, Шнитке, Платонов, Зощенко, Тимофеев-Ресовский — список мой можно расширять, сокращать, но остается в нем одна особенность — стоило им обозначиться, как их начинали травить, преследовать, сажали, высылали, просто уничтожали. Никому не доставалось благополучной жизни. Положенная слава от своего отечества почти всегда приходила после смерти. Власти ни у кого не просили прощения. Зато впоследствии ими хвалились, они становились гордостью, украшением, им даже ставили памятники.

* * *

В собственной тени не укроешься.

* * *

На безрыбье и жопа соловей, как сказал нам пленный немец.

* * *

Страна без завтра.

* * *

Лес тут, на Алтае, густой, похоже, эта девочка знает в нем каждую тропку. Стоит передо мной, тоненькая, покачивается на лозе через ручей, который клокочет далеко внизу. Знает, где сейчас гроза, откуда, когда придет. Маленькая метеостанция на плато. Влажность, давление, ветер, облака, видимость,

осадки. Названия облаков по-латыни знает вся семья, даже малыши.

Девочка научила собаку пасти овец, вечером пригонять их домой, зачем-то научила корову бодаться.

* * *

Казалось бы, что полет Гагарина был чудом. Мир действительно был поражен. Навсегда? ...Но полет за полетом, космонавт за космонавтом — и впечатление, то, первое, померкло, стало хроникой. А вот чудо Леонардо остается чудом. Незыблемо. Почему? Наверное, потому, что оно личное, достижение его гения, десятки изобретений, догадок, предвосхищений, он делал вещи, машины, которые появились спустя 200—300—400 лет!

* * *

На пленуме Ленинградского обкома разразился скандал, шутка ли, в дни выборов город сидел без мыла!

* * *

Как-то меня вызвал один из секретарей обкома, предложил написать повесть о строительстве ленинградского метро. Я отказался, сослался на то, что занят другой работой. Секретарь рассказал о драматических эпизодах стройки: борьба с пливунами, большая глубина, туннель под Невой... Действительно, интересно. Потом он вздохнул, сказал доверительно: «Будь у меня время, я бы сам такой роман написал... Если б отпуск дали».

Он начал говорить в 1 год и 4 месяца. До этого он уже многое понимал, но не знал нашего языка, впрочем, так же как и мы его. Теперь он называет меня «деда». Освоил. Бабушку и Марусю — «баба». Ну, конечно — «папа» и «мама». Следующее необходимое появилось — «пи-пи» — это пить, дайте пить! Затем «а-а» — это уже после того, как сделал. Сообщает. Кроме того, всякая грязь на полу тоже «а-а», что, в сущности, соответствует. Далее «дядя». Едет на коляске, окликает всех прохожих, сообщает, кто они — «дядя».

Возраст этот самый общительный, полная доверчивость, необходимость заявить о себе и независимость. Все время разглядываешь — о чем он задумался? Почему так пылливо смотрит на тебя? Заинтересовался, как я ем — вилкой. Зачем? Берет вилку, пытается вонзить ее в картошку. Отвергает всякую помощь. Сам! Каждый день постигает много нового. Сам пробует сойти с лестницы. Кричит, отмахивается от помощи. Мир одушевлен. Упал, стукнулся об пол, бьет половицу. Ему легче.

Грустно, что все это смешное, милое — первая лошадь, собака, купание, автомобиль, в памяти не сохранится, исчезнет безвозвратно, память занята другим, она учит язык, грамматику. Исчезнет это лето, мы еще молодые, наши с ним поездки. Это остается за порогом. Так же, как я ничего не помню до двух-трех лет. Ни тех, кто нянчился со мной, учил первым словам. Какие они были?.. В эти месяцы и происходит формирование личности, вылепляется человек, потом это быстро затвердеет. Все, что заложено, рас-

пределяется в нем через наши ласки, запреты, заботы, неосторожные окрики, все, за что мы наказываем, вот этот молоток и трубка, с которыми он возится, не отбирайте их, смотрите, вдруг ему удалось вставить ручку в трубку и он смеется от радости! Ему не помешали. Более того, я обрадовался вместе с ним! Наверное, такие вещи входят в подсознание. Один четырехлетний человек с грустью признался мне, что он не помнит себя маленьким. Между тем я нахожу из его прошлого — когда он потерялся, или подрался, или был пожар, какие-то следы на его нежной, еще податливой душе, которая, грубо говоря, и есть подсознание. Но *сейчас* хочется знать *как*, знать, как это входит в его душу, и что она там совершает. Потому как эти дни, эти часы, иногда минуты могут многое определить в его жизни, будет ли он общительным, целеустремленным, щедрым, фантазером. Но как участвовать в этом, какими словами? У него мало слов, у меня того меньше, потому что не знаю, какие до него доходят. Он понимает больше, чем мне кажется. Это опасно, он понимает то, что мы недоговариваем, то, что мы скрываем. Отношения между родителями, их тайные ссоры, понимает, что они перестали понимать друг друга. Он опережает нас, и через два, и через четыре года, в школе, он будет знать больше, чем нам кажется. Он и сейчас понимает, о чем мы говорим, хотя слов наших не знает. Как бы на уровне собаки.

* * *

Встречные иногда улыбаются, не мне, а тому, что узнали меня, то есть как бы сами себе, своей догадке, памятьливости.

— Не могу не согласиться с вами, женщина для меня куда выше мужчины. И интереснее. Это существо высшего порядка. Когда-то я рассуждал примерно как вы. Тоже кичился умом, логикой, приводил примеры великих ученых, все мужики, они путешественники, открыватели, художники, писатели... А теперь понял, это не доказательство. А что, если она достигать не хочет? Представьте себе, что Пушкин вместо того, чтобы печатать, напевает свои стихи, возлюбленным, детям, сочиняет им свои сказки. Да и не в сочинительстве дело, у них другая стихия. Мы навязали им мужские мерки: знания, творческие достижения, открытия всякие, сколько у кого великих композиторов. А если это ничего не означает? Ни машины, ни диссертации, ни конструкции, если важно совсем другое — количество счастья на душу населения? Тогда как? Количество душевного участия? И сядем мы в лужу со всеми нашими показателями. Счастье, оно не зависит от уровня киноискусства. Оно у каждого свое, оно с любовью коррелирует, семьей, с тайной жизнью души.

* * *

Хорошая китайская поговорка: «На двух ногах лучше, чем на четырех, на одной ноге лучше, чем на двух, без ног лучше, чем на одной».

(Про еду — мясо, растения, рыба.)

* * *

Гриша Г. врач, специалист по диабету, вышел на пенсию. Всю жизнь он проработал в областной

больнице, ездил по районам, консультировал, лечил. Хороший специалист, к нему и сейчас из районных больниц продолжают обращаться. Ничего не нажил. Не может поехать за границу, посмотреть мир. Пенсия крохотная. Ни машины, ни дачи, квартирka — две маленькие комнаты. А ведь во всех странах врач — должность доходная.

* * *

Есть шум совести — общее неудовольствие своим поведением, угрызение не от поступка, а, скорее, от своего образа жизни.

* * *

Интересно, что Земля всегда была для древних — круглой.

* * *

Пушка с Петропавловки выстрелила, как обычно, в двенадцать часов дня. Но этот привычный звук 23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны, все в городе восприняли иначе.

* * *

Гасильники, мракоборцы — каких только названий им, цензорам, не придумывали. Больше всего боялись писателей. Ссылали, тиранили, запрещали. Смерть писателя вызывала страх у властей. Тайком хоронили Пушкина. Со страхом хоронили Зощенко, Твардовского, Пастернака, Ахматову. Похороны Толстого, Достоевского, Маяковского превращались в массовые шествия.

* * *

Немецкий экскурсовод по дому-музею Баха сказал, что в Европе из 1600 великих людей половина по своему происхождению — дети священников. Верится с трудом, но доля правды, наверное, в этом есть.

* * *

Болота, моря, горы, реки, леса, ледники, пустыни, водопады, озера, вечная мерзлота — огромное хозяйство, которым обзавелась Земля за миллионы лет, его надо поддерживать, все нужное, все по делу, и она, Земля, этим занимается.

* * *

Самый быстрый способ заработать — покупать человека за то, что он стоит, и продавать за то, во сколько он себя ценит.

* * *

Если я сошлюсь на слова Христа или Моисея, то оппоненты надо мной посмеются. А если на слова Нильса Бора, Ландау, то меня выслушают с уважением. Почему? Да потому, что на смену религиозной вере (или суеверию) пришло научное суеверие.

* * *

Прогресс человечества происходит не в нравственной области. Тут достижений нет, есть спады и подъемы. Ажецов не стало меньше, и развратников, процент порядочных людей не прибывает. В искусстве прогресса не бывает, и, наверное, быть не может.

Все было не совсем так

Бюсты, сделанные античными скульпторами, не хуже нынешних, а может, и лучше. За четыре тысячи лет ни умения, ни таланта не прибыло.

Но вот где действительно прибыло, так это в науке. Медицина увеличила средний срок нашей жизни. Техника и наука непрерывно поднимаются со ступеньки на ступеньку. Это результат развития мысли. Человек осуществляет свое назначение как мыслящая часть природы. Природа мыслит человеческим разумом, и здесь происходит ее прогресс.

* * *

Все обвиняют Петра I в жестокости. А то, что он захлебывался в крови своих родных десятилетним мальчиком, что у него на глазах его дядю стрельцы бросили на пики, это как? А второго дядю, любимого, который вышел к стрельцам с иконой, они стали рубить, вытаскивать из него, живого, кишки, наматывали их ему на горло, это зрелище могло любого ребенка свести с ума. Вы бы выдержали такое, господа историки, добропорядочные блюстители нравственности?

Вот оттуда припадки, его ночные кошмары. Эти самые стрельцы бунтуют снова и снова, вновь лютуют, договариваются тайно с Софьей уничтожить Петра, захватить власть.

Да, он их казнит, есть легенда, что самолично участвовал в казни, рубил головы. Мне понятна его жажда мести. Это потребность возмездия, естественное молодое чувство, выношенное всей семьей, всей родней, той, которая уцелела после стрелецкого бунта. И матерью его, которая чудом спасла сына, выр-

вала из рук истязателей. Нет, он не был жестоко-серд, он был рожден веселым, сердечным, талантливым ребенком. Жизнь, не дав окрепнуть, стала наносить ему удар за ударом. Смерть отца, тяжелые отношения с сестрой, зверства стрельцов. Удивительно, как он уцелел психически, как он сам не превратился в изверга, как устоял.

Петр был как утеныш среди кур, все к воде стремился и Россию тянул на воду.

* * *

В Париже я как-то набрел на церковь Сен-Жермен. Она построена была в 640 году. Самая древняя из тех, где я побывал. Похоронен в ней Ренэ Декарт (1650). Никак не ожидал встретить здесь могилу этого скитальца. Здесь же похоронен поэт Буало. Классик — слышал, но не читал. В революцию здесь за что-то казнили 180 монахов. Французы сохраняют всякие казусы своей истории — и хорошие, и плохие.

В это время в церкви отпевали какого-то военного. Стояли ветераны в орденах, держали французские флаги. Красиво хоронят бывшего солдата. Вышел на площадь, там памятник Аполлинеру. Сделан Пикассо. Это вздыбленные каменные плиты. На одной спал, сунув палец в рот, клошар.

* * *

Забавную картину Лукаса Кранаха я видел в Виттенберге. Венера, голенькая, ногти на ногах грязные, бусы болтаются на шее, на голове шляпа с перьями — ни к селу ни к городу. Не Венера, Маруся выпившая. А симпатично.

* * *

«Каждое наше знание не истинно и не ложно, а лишь приблизительно и, вероятно, многим кажется, что систематика групп, например, птиц, млекопитающих, высших растений в основе конечна. Но здесь можно вспомнить слова великого Карла фон Бэра, который сказал: "Наука вечна в своем стремлении, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели"».

(А. А. Любищев)

* * *

Природа роскошествует без всякой мотивации.

* * *

Самую важную информацию мы получаем из того, что нам недоговаривают.

* * *

На конференции в Виттенберге. Немец, докладчик, рассказывая о смерти Сталина, сообщил, что после его смерти выяснилось, что «врачи ни в чем не виноваты». Аудитория рассмеялась. Они знать не знали про дело врачей и восприняли речь буквально. Это к тому — как мы преувеличиваем известность своих событий.

* * *

Скрывали свое прошлое, свое происхождение, родословную. Внук губернатора, кажется, архангельского, женился на внучке князя Барятинского. Она работает корректором, он шофером. Они скрыва-

ли свое происхождение даже друг от друга, выяснилось это уже спустя годы.

* * *

На фронте я не встречал у немцев в армии женщин. Не попадались нам и профессора. Может, и были, но не солдатами, не младшими офицерами.

* * *

Ехали мы по Чуйскому тракту. Рядом бежала Катунь, ярко-зеленая, непохожая ни на какие другие реки. Когда-то мне казалось, что реки отличаются берегами. Берега Катуни, и Чуи, и Коксы схожи, а реки разные. У каждой свой цвет. Различаются они и по голосу. Пойдешь вдоль каждой и почувствуешь характер. Вдоль тракта леса чистые, как парки. Красноватые лиственницы стоят редко на ровной, ковровой зелени. Золотые «огоньки» цветут на полянах.

То и дело дорогу пересекают отары овец. Машина пробивается сквозь блеющее, пушистое скопище, нас обдает терпким запахом мокрой шерсти, а затем снова возвращается аромат дороги.

Прошло тридцать лет, возможно, все уже там не так, печальный мой опыт говорит о том, что пейзажи дурнеют, теряют обаяние, наш индустриальный прогресс не украшает, не сохраняет, а, как правило, портит первозданную прелесть. Разве что алтайские горы сохранились.

Машина ползет на перевал. Открываются горы синие, черные, горы со снежными «белками», горы всех цветов, бесконечного разнообразия. Алтайские горы не похожи ни на кавказские, ни на крым-

кие. Я люблюсь ими без конца. Они полны жизни. На вершине, на синем фоне неба покажется тонкий силуэт оленя или марала. Еще прекраснее конские табуны. Блестящие красно-коричневые кони с длинными черными хвостами бродят свободно, как хозяева, они «вписаны» в пейзаж.

Горный Алтай может работать так же, как Ханты-Мансийский край, Тюмень, служить источником красоты, ее «залежи» не меньшее богатство, чем нефть, газ. Сбереечь ее нелегко, предприимчивым господам не терпится проложить здесь автострады, железные дороги, построить и то, и это, чтобы задымило, загрохотало. Отели, мотели, рестораны, казино...

* * *

Как говорили в Древней Индии: «Наше знание — разрушенное незнание».

* * *

На воду не опираются.

* * *

Директор наш — могучий, увешанный наградами, обеспеченный связями. На ученом совете ему сказали: «Вы изжили себя, не годитесь, уходите». И кто сказал — ничтожный сотрудник, с которым он никогда не считался, мелочь.

А вот поди ж, после этого директор наш как-то съежился, потух, все поняли, что дни его в институте сочтены. Что произошло в его душе — неизвестно, ведь никто ему не угрожал...

Партия «белых гвельфов» потерпела поражение, Данте был ее членом, и его осудили на изгнание из Флоренции, конфискацию имущества и разрушение дома. Зачем он с этой партией связался, чем занимались и чем отличались «белые гвельфы» от других, теперь уже не разобрать, но величайший поэт Италии вынужден был скитаться. Наконец, он осел в Равенне. Там он закончил «Божественную комедию». Умер в 1321 году, а через 200 лет флорентинцы потребовали выдать прах их земляка. Равеннцы ответили: «Вы не ценили его при жизни, вы не получите его после смерти». Прах спрятали, и лишь через 600 лет нашли череп Данте, кости и лавровый венок.

Двадцать лет он жил под страхом смерти, не смея вернуться на родину. Поучительная история, широко известная, но которая ничему не научила мир. Великие художники все так же скитались, изгнанные, бесприютные. Это большой список — Цветаева и Шагал, Герцен, Питирим Сорокин... Только по России можно вспоминать и вспоминать — Кандинский, Шаляпин, Рахманинов, Бродский, Бунин, Набоков, Бердяев, Стравинский, Шестов...

Как многого лишилась Россия. Да разве только она. То же было и в Германии, и в Дании, и даже в Англии.

Корней Иванович Чуковский сказал о Катаеве: «Он тоже пострадал от Советской власти — написал три плохих романа».

Евгений Львович Шварц весьма зло пишет в своих воспоминаниях о Корнее Чуковском.

Это нормально, это результат нашей ласкательной критики. Она избегает честных оценок «секретарской литературы», лауреатов, классиков...

* * *

Сколько раз на войне я трусил, не хотел подниматься после обстрела, заляжешь в окопе, и никакие команды не помогают, лежишь, засыпанный землей, вроде как контужен, оглушен.

* * *

Зимой 1941—1942 годов я стал чувствовать себя ветераном, знал, куда упадет мина, как растопить печь в землянке, как постелить накат, чтобы песок не ссыпался, и прочие тонкости солдатской жизни. Прожаривал белье от вшей, не дожидаясь вошебойки.

Но появилось и другое — ощущение того, что везуха фронтовая кончается. Из наших ополченцев осталось в батальоне трое, всех остальных убило или забрал госпиталь. Смертный срок службы подходил к пределу, по теории вероятности пуля должна была меня найти, трещит моя авоська. Надо было сообразить какой-то зигзаг. Все больше донимала голодуха, постоянный недоед, все время думаешь о жратве, чем бы брюхо набить. Унизительная жизнь изгоняла все другие мысли.

Поэтому, когда предложили поехать на курсы в танковое училище в Ульяновск, я не стал отказываться. Добирался туда с мечтой поесть — хлеб и картошку. Жареную. Два продукта — к ним сводилось понятие «еда».

* * *

На пленуме Союза писателей прорабатывали за автобиографию Е. Евтушенко, ругали как антипатриота, выступали со всей кровожадностью — Соколов, Фирсов. В кулуарах Роберт Рождественский сказал Фирсову:

— Ты вчера ползал на коленях перед Щипачевым, чтобы тебя освободили от армии, а сегодня ты патриот.

Фирсов ему ответил:

— У меня жена беременная, должна родить мальчика.

— А кого рожают другие жены?

* * *

Где-то я встретил цитату из Флобера: «Когда уже не стало богов, и еще не появился Христос, от Цицерона до Марка Аврелия настал неповторимый момент, когда человек был один».

Мысль эта меня озадачила — человек остался один, без богов, без Бога, и, выходит, не мог удержаться в этом безбожном пространстве?

* * *

Офицерское: «Лучше быть вышестоящим, чем впереди идущим».

* * *

Все труднее оставаться человеком, все больше хочется быть человеком, все труднее видеть в другом человека.

Все было не совсем так

* * *

Рассказ Василия Емельянова (атомщик, член-кор., Герой Социалистического Труда и пр.), 1980 год:

«Доставили на подводной лодке прибор из Штатов. Наши разобрали его на части, переделали как свой, доложили, что американский прибор плох, чепуховый».

«То же самое сотворили с добытым технологическим процессом. Присвоили. А те ребята, разведчики, жизнью рисковали.

Из-за таких случаев отношения между физиками и чекистами были попорчены».

* * *

Постоянно появляются все новые и новые мрачные предсказания. Тает Арктика, человечеству не хватает пресной воды, Каспий мелеет, озоновая дыра, парниковый эффект, нехватка кислорода. Атомная война... Угрозы апокалипсические, одна сменяет другую. И что? А ничего, от этого становишься оптимистом. Мир выживает. Как будто он запрограммирован на удачу. Оптимизм заложен в его природе. Мы не знаем, сколько кризисов он преодолел, какие катастрофы миновали его, как он выжил. Всего этого добра хватало, и каким-то образом он остался цел. Тут хочешь не хочешь, станешь оптимистом.

* * *

Каждая индивидуальность художника, если она сумела себя выразить, обновляет мир, показывает другую его красоту, красота же природы, человека, всего окружающего неисчерпаема.

Народу в аду больше, чем в раю, и народ адский куда интереснее.

* * *

Шнитке однажды сказал, что из еврейского Ветхого Завета пошло и православие, и католичество, и протестантство.

* * *

Почему тянет к дневникам, письмам, мемуарам, воспоминаниям? Почему? Почему литература такого рода не стареет? Она долгожитель. Она не считается с модой, не ищет новых форм. В чем секрет? Может, в том, что человек со своими страстями, слабостью, любовью — не меняется. Слабости Ж. Ж. Руссо, переживания Панаевой, Герцена, братьев Гонкур — не все ли равно, в каком году вспыхнула ревность Герцена, дата ничего не меняет. Дневники блокадного быта у Князева, тот, что в «Блокадной книге» — история голода, разве голод в 1941 году другой, чем в 1918 году или 1930-м?

Искреннее повествование о своей жизни не отделяет простого человека от знатного. Дневники Тани Савичевой и Анны Франк сделали их знаменитыми. Талант искренности дает результаты не меньшие литературного. Все дело в степени откровенности. Распахнуть душу, да так, чтобы не преувеличить, ничего не замолчать, передать свой ужас, свою глупость, свой стыд, ничего не утаивая...

Все было не совсем так

Да, оппозиции у нас нет. Оппозиция была при Ленине, потом при Сталине, когда она предлагала, выдвигала другие пути развития. И в деревне, и в промышленности, Ленин сам вышел в оппозицию, когда взял курс на НЭП. Затем Сталин расправился со всеми оппозициями, быстро доведя их до стенки. Расстреляв. Ставил к стенке, высылал, и на этом дискуссии кончались. Все это известно, но важно, что существовали альтернативные идеи.

Сегодня альтернативных идей я не знаю. Очевидных, ясных всем, таких, чтобы ставили перед выбором. Как раньше — колхозы или личное хозяйство. Можно заводить свою торговлю, свою мастерскую, свое производство или все это делает государство. Были разные варианты. Нынешние рыночные отношения, казалось бы, и есть нормальное европейское состояние. Но принципиальной альтернативы никто не выдвигает.

* * *

Мать Стружинской (имени не знаю) была замужем за полковником царской армии. В комнате у неё висел портрет покойного мужа, при всех регалиях, с эполетами. В 1937 году соседи донесли. Был обыск. Ничего не нашли. На этом успокоились. Но в 1941 году ее мать эвакуировали в обязательном порядке. В эшелоне вместе с ними ехали немцы, финны и семьи заключенных по 58-й статье. Оказывается, их тоже эвакуировали из осажденного Ленинграда. Привезли в Тюмень, а потом на остров Пуйко в устье Оби, на рыбозавод. Там они

сытно жили, работали до конца войны. Вот кого прежде всего власть эвакуировала.

* * *

В начале XVIII века с Россией не считались. Посол в Лондоне был посажен в тюрьму за долги. Полномочного министра России в Польше — колесовали по приказу шведского короля. Посла в Турции схватили и, как злодея, посадили в тюрьму. Петра сопровождали в путешествии с меньшими торжествами, чем какого-нибудь римского кардинала или немецкого епископа.

* * *

Разве не чудо, что в одно и то же время, в одном и том же месте жили три величайших поэта античности — Овидий, Гораций и Вергилий.

* * *

Единственный из цезарей, Марк Аврелий, запретил гладиаторам сражаться до убийства. У народа он отнял кровавый азарт, лишил зрелище апофеоза.

* * *

Начальник артиллерии вывесил на своей землянке свой портрет, напечатанный в армейской газете.

* * *

Один из приятелей Володи Бахтина изучал сектантов. Он забрался в подвал и там тайком записывал на магнитофон их песнопения. Проиграл их Бахтину — как знатоку, фольклористу. Володя похвалил записи, а потом, когда узнал их происхож-

дение, возмущился, так собирать фольклор нельзя! Подслушивать, да еще религиозные обряды...

* * *

Когда мы стали проводить летние месяцы в Комарово, здешние места были полны зверья. Встречались лисицы, зайцы. Неподалеку от нашей дачи жила рысь. Мы с Сашей Яшиным ходили на глухариный ток. Поутру птичий гомон не давал спать. На нашем участке стучали дятлы, носились белки, они забавно бегали по штакетникам забора. Поселилась целая стая соек. Под крышей свили гнезда синицы. Было это в пятидесятые-шестидесятые годы. С тех пор год за годом лесная жизнь редела. Куда-то вся живность стала исчезать. Ныне лес начисто опустел. Его не вырубили. Он по-прежнему вплотную подходит к даче, но он пуст. Ни птиц, ни белок, он тих и безмолвен. Растет черника, грибы, брусника, все вроде бы в порядке, только унылая пустынность отделяет эту дачную местность от карельских лесов. Слишком много людей, слишком — машин, слишком — музыки. Леса лишились своих голосов и обитателей.

Помнится, жил я под Москвой на берегу Клязьмы у деревни Райки. Извилистые берега, поросшие дубами, есть тростники, вертится река прихотливо между рощ и лугов. Но птицы над ней не летают, нет даже чаек. Вода с металлическим коричневым блеском, какое-то ощущение опасности. Ничего живого. Неподалеку старый пруд. Сюда перебралась вся мошка, чайки тут высматривают рыбешку, бегают трясогузки, мальчишки сидят с удочками.

* * *

Слишком долго соблюдаем правило — «Не можешь делать, как надо — делай, как можешь». Вот так и строим, и красим, и летаем, и делаем себе еду, и покупаем одежду...

* * *

Сосны на ветру качаются целиком, прямым своим золотистым стволом.

Пока на дереве зелень, ветер гнет его. Когда она облетит, ветер уже бессилён. Зимой сосна колышется, шумит, голые берёзы, липы стоят неподвижно, не отзываясь.

ПОЭТ

10 августа 1966 года.

Два дня над Комарово бушевала буря. Ломало деревья, выворачивало старые ели, обрывало провода. Дороги были засыпаны ветвями, листьями. Шли ливни. Ветер клал деревья так, что в комнате то светлело, то темнело. Исчезли птицы. Людям, особенно сердечникам, было плохо. А вчера к вечеру стихло. И в восемь вечера умер Александр Гитович. Он умер сразу — потерял сознание и, так и не прояснев, перестал вдруг хрипеть и умер. Последние годы мы с ним сдружились, особенно в это, последнее лето.

Позднее вдохновение, не знаю, какое по счёту, посетило его в нынешний и прошлый год. Стихи его нравились мне все больше. Перед самой смертью

Все было не совсем так

он быстро, — накатило на него — может за пару месяцев, может еще меньше, написал тридцать стихотворений. Некоторые из них превосходны. Он не очень любил читать свои стихи. И никогда при мне сам не просил читать. И никогда не расходился, его всегда надо было просить еще, еще. Может быть, потому, что он не считал стихи своим главным делом. Хотя любил поэзию навзрыд. Но, может быть, он был из тех истинных поэтов, которые не считают, что главное в поэзии написать стихи. Они писались у него сами собой, постольку поскольку, и кроме того, надо было жить. Он был из тех поэтов, которые не могут писать всегда и везде. У него были многолетние перерывы. Тогда он переводил. И все равно он оставался Гитовичем. Он не войдет в число великих стихотворцев, но он был великий поэт, или, вернее, настоящий поэт по своей жизни и по своей сути. Он жил поэтом. Да, это была редкостная в наше время жизнь поэтом. С таким пренебрежением к деньгам, которых у него не было, к обстановке, к удобствам. Он жил в дощатой «будке», как называли они с Ахматовой свои литфондовские домишки, жил в ней круглый год. Зимой там был холодильник, прогреть, протопить ее было невозможно, я пришел к нему с лыж — раздеться не мог, такая там температура. Из этой стужи он писал свои воспоминания «Зимние послания друзьям». С годами он все больше походил на отшельника — жизнь его сосредотачивалась на внутренней жизни духа.

* * *

Мой комбат, пригибаясь при обстреле, ползком
266 пробираясь через открытую местность, повторял:

«Лучше пять минут выглядеть трусом, чем всю жизнь быть покойником».

Еще у него была поговорка: «Больше прожили — меньше осталось».

* * *

Наш пулеметчик пожаловался старшине, что дистрофия довела его до того, что ходит, а следа на земле не остается, невесомый стал, идет по грязи, не проваливаясь.

* * *

Два дня немцы морочили нас: поставили миномет на машину, едут вдоль фронта и стреляют, впечатление такое, будто у них несколько батарей.

* * *

Он блестящий переводчик-синхронист. С английского, испанского, французского. В перерыве конференции мы разговорились. Переводил он быстро, легко, а в разговоре каждую фразу жевал-пережевывал с трудом, как недоваренное мясо.

Суть его рассказа сводилась к тому, что вот он сопровождал иностранцев в Новгород. По дороге останавливались, сворачивали. Дважды застряли в бездорожье. Россия как была без дорог, так и не может выбраться 300 лет из невылазной грязи проселков. В деревнях пьянь. Избы развалюхи. Районное начальство ленивое, вороватое. Дома у них богатые, а кругом все то же самое. Стыдно. И оправдаться нечем. Давно бы надо было уехать за границу, предложений много, а вот никак не оторваться. Что держит? Понять не может. Какая-то проклятая любовь.

Высылали таких всегда, изгоняли, осыпали руганью, лучших — Герцен, Цветаева, Бродский, Набоков, и что? Все равно назад рвались, страдали. Бунин, Рахманинов, Стравинский, Репин... Проклятая любовь.

* * *

Консерватизм — умение ценить прошлое. Мы его, прошлое, латаем, перелицовываем, всячески приспособливаем, чтобы как-то прилично выглядеть.

* * *

Мы виноваты в том, что уничтожили немецкие воинские кладбища, финские кладбища на Карельском перешейке. Сейчас, наконец, появилось воинское захоронение под Петербургом — Сологубовское, где перезахоронено 20 тысяч немецких воинов. Работы проводились вместе с Немецким народным союзом по уходу за воинскими кладбищами. Есть в Германии такой, довольно солидная организация. Главная их забота — уход. Воинские кладбища немецких солдат раскиданы по всей Европы, и всюду Союз содержит их в порядке.

* * *

Тенор за выступление потребовал 75 000 рублей. Администратор сказал:

— Это много, наш министр не получает столько.
— Но министр не может доставить публике столько удовольствия, сколько доставляю я.

* * *

Спиноза удивительно точно заметил: «Истина — это заблуждение, живущее столетия».

* * *

«...Затем-то и попал он в рай,
Что за дела не принимался».

(И. А. Крылов)

* * *

Как известно, человек — единственное живое существо, которое ест, когда не голоден, пьет, не испытывая жажды, занимается любовью во все времена.

* * *

Человек — тростинка, самая хрупкая вещь в природе, но он мыслящий тростник.

(Б. Паскаль)

* * *

Мы всем обязаны нашей интеллигенции. Литературой, наукой, искусством. Кто все годы советской жизни за гроши работал в музеях, в библиотеках, лечил, учил. Кто? Рабочий класс был «его величеством», а интеллигенция была «гнилой», ее попрекали, бранили, она источник «заразы». Кого отправляли работать в колхозы, перебирать картошку, овощи? Кого? Научных работников. Интеллигенция порождала диссидентов, «неблагонадежных», оппозицию. Их сажали, ссылали, прорабатывали, исключали из институтов. Слово «интеллигент» превратили чуть ли не в бранное. Начальство — партийное, советское не считало себя интеллигентами. Они насаждали недоверие к интеллигенции, презрение к ней. Можно ли европейскому интеллектуалу объяснить, почему наш, советский профессор, доцент, учитель, врач должен убирать урожай, «спасать» (!) колхозный хлеб? Перебирать гнилой

Все было не совсем так

лук, капусту. И ведь что примечательно, этот наш доцент делает все безропотно, считая, что так и нужно, что ему положено.

* * *

Наши философы не живут как философы, ни как Диоген, ни как Платон, ни как Кант.

* * *

Шрёдингер заметил: «Я не знаю, откуда я пришел, куда иду и даже кто я такой».

Эти великие физики любили ошарашивать нас такими откровениями.

«Природа человека слишком сложна. Мы лишь скользим по поверхности планки над бездной истины... Наш кругозор ограничен, нам не проникнуть в смысл существования Вселенной... И самое грустное — мы не сознаем своего невежества».

Вот так. И что дальше? А ничего. Тогда, к чему бы это? Да, ни к чему. Мыслим, узнаем, ковыряемся и в конце концов преподносим... да пошли вы в задницу с такими открытиями. Этот мир — возможность счастья для всех, поэтому он так хорошо устроен, комфортно, грамотно, пользуйтесь этим, и наслаждайтесь, и скользите.

* * *

Чего только не услышишь на читательских конференциях:

— А откуда писателю может быть известно, что думает герой?

— Вы нам давайте поступки, придумать герою мысли — это легко.

— Вот вы, Даниил Гранин, в своем романе не высказываете, кто прав, нет у вас окончательного решения. Кто же за вас должен решать? Зачем я читала роман, если вывода нет? Так нельзя относиться к читателю.

— Вы всем меняете фамилии или только отрицательным героям?

— Я считаю, что лучше писать письма от первого лица, это честно, недаром Пушкин и Лермонтов так делали, возьмите, например, «Капитанскую дочку».

Но даже сквозь неуклюжие эти формулировки просвечивает надежда найти ответ на вопросы об идее своей жизни. Чем известнее писатель, тем больше к нему вопросов — как жить? Ради чего? Зачем эта жизнь? Томас Манн в одном из писем писал о А. П. Чехове: «Он бесконечно мне симпатичен и притом именно "страхом", который внушала ему его слава». Т. Манн приводит в пример героя повести «Скучная история» («шедевр» — как определяет Т. Манн), где герой, ученый с мировым именем, в конце жизни признает, что у него не было «общей идеи», любимое существо спрашивает у него растерянно: «Что мне делать?». Он отвечает: «По совести, Катя, не знаю».

На самом деле, за нашими снисходительными ответами читателям скрыта та же самая растерянность. Мы утешаем себя: «Наше дело озадачить, надо, чтобы люди задумались над своей жизнью» и т. п.

Большая часть моей жизни прошла в СССР. Мне там привили «идею жизни» — коммунистическое общество. Идея была красивой. Затем начались сомнения, разочарования. Идея все время осыпалась, рушилась, трескалась. Годами я избавлялся от нее.

Замены не было, был только протест. В конце концов удалось избавиться от нее. Осталась пустота.

АНЕКДОТ

Подобно вам всем я выслушал за свою жизнь тысячи анекдотов. В России их производство налажено, тем не менее мне ни разу не попался автор, человек, который объявил бы себя сочинителем хотя бы одного анекдота. Их появление остается тайной. Анекдоты не подчиняются никаким законам. То они идут тучей, сыпятся отовсюду, то иссякают, и мы остаемся в томительной паузе. Тогда где-то в подземельях перелицовывают старые анекдоты, подкрашивают и пускают в ход. Гурманы, морщась, стесняясь, потребляют эти. Стыдливо спрашивают после каждой фразы: «Знаете?.. приходит к доктору муж...» Рассказчики делятся на две группы — те кто помнят анекдот до конца, и те, кто помнят лишь начало, а дальше должно быть место, где очень смешно. Из таких рассказчиков и рождаются сочинители, так называемые «начинающие писатели», которые самостоятельно пытаются добраться до места, «где смешно». По каким свойствам одни анекдоты запоминаются, другие нет — не знаю. Мне лично запоминаются самые случайные и пошлые. Возвратясь домой, я долго вспоминаю, чему я так хохотал. Несколько дней еще остается тоскливое чувство потери. Безвозвратной. Возможно, тут действует закон самосохранения, если б их запоминать и рассказывать, а как иначе, то на работу времени бы не оставалось.

Есть люди, которые заявляют, что они не любят анекдоты. Не верьте. Анекдоты любят все... Человеку, умеющему рассказывать их, обеспечен успех — в любом обществе, его ценят выше певцов, спортсменов, он может переиграть в глазах женщин любых красавцев. Ему не нужны ни гитара, ни сцена, ни голос, ни слух, не нужно ваше настроение, он сам его создает, ни микрофон, ни авторитет, даже повод ему не нужен: анекдот может быть рассказан тихонько на любом заседании, для него можно ночью разбудить жену. Более того, рассказчику обеспечен успех по службе, во всяком случае он — ценный кадр. Любовь к анекдотам свойственна многим замечательным обладателям изысканного вкуса. Великий режиссер Г. А. Товстоногов обожал анекдоты, превосходно их рассказывал, каждый раз спрашивал меня — есть ли новенький. Анекдоты почему-то любят кучковаться, у них действует мода — появляется «армянское радио», его сменяет серия о Чапаеве, потом о Брежневе, затем серия «Чукчи». Срабатывают какие-то неведомые нам законы.

Задумывались ли вы над тем, что анекдот столетиями остается наиболее бескорыстным и чистым видом народного творчества. Человек спешит поделиться анекдотом с родными, друзьями из самых добрых побуждений, чтобы доставить им радость. Идет, шепча про себя: «Муж вернулся домой...» Он альтруист, он счастлив их смехом, их удовольствием. Назовите мне другое искусство, столь же самозабвенное, анонимное, без расчетов, без зависти.

Как найти общий язык с чужеземцами, пленными, с идейным противником? Рассказать парочку анекдотов! Как помириться с женой, расположить

начальство? Анекдот налаживает контакт с любым уровнем цивилизации, даже с милиционером. Молодежь потребляет анекдоты готовенькими, не ведая их историю, часто не смешную, когда за анекдоты сажали, отправляли в лагерь.

Анекдот международен, но он красив национальной яркостью: анекдот английский, финский, еврейский, грузинский. Надо отдать должное русскому анекдоту, он самый острый, смелый, самый верный наш спутник в мрачные годы сталинского режима. А еще есть про психов, спортсменов, генералов. Действующие лица бывают — охотник, Рабинович, Пушкин, секретарша, пациент, иностранец, петух. Есть анекдоты, которые можно рассказывать при детях, а есть такие соленые, что и любовнице неудобно...

Анекдот, когда его напечатают, сразу теряет прелесть. Человек может наслаждаться только «белковым» исполнением, а не бумажным, так поваренная книга не заменяет приготовленное блюдо.

Анекдот остался, пожалуй, единственным убежищем устного творчества. Анекдот остается принадлежностью человека, его преимуществом перед роботами. Они не станут сочинять анекдоты, им ни к чему.

Книги сжигают, фильмы можно запретить, театр закрыть, радиопередачу заглушить, а что можно сделать анекдоту? Чем сильнее его преследуют, тем опаснее он становится, тем охотнее им делятся.

* * *

Наше богатство — наши ошибки, а мы их скрываем, повторяя, зато их отлично учитывают и избегают и Китай, и Европа.

Он в этой компании был похож на необитаемый остров.

* * *

В Дрездене ко мне подошел немец. Сказал, что он наполовину русский. Сын изнасилованной нашим солдатом немки. У них тут целое сообщество таких. Они не держат зла на русских, понимают, была война...

* * *

Легко сказать «будь самим собой». А если я не знаю, какой я? Мне все время не нравится тот, кем я пребываю, все кажется, он не настоящий.

* * *

На полях книги о Пушкине автор, известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди, написал карандашом против строчки:

«26 мая 1799 года родился Александр Пушкин» — «это мое!». Мне рассказывали сие как анекдот, вот, мол, до чего доходят пушкинисты.

Спустя годы я прочел, что Пушкин родился не 27 мая, как записано в метрической книге московской церкви Богоявления, а 26 мая. По обычаю же, все, кто появлялся на свет после захода солнца, записывались в книгах на следующий день. Это установил Сергей Бонди. Анекдота не стало.

* * *

«Бог это больше, чем гармония мира. Бог сотворил человека и ждет от него понимания», — примерно так мы рассуждали с Сергеем Мейном.

Капица защищал Ландау, Вернадский писал в защиту репрессированных коллег. Академики защищали Фока. Вспомним хлопоты Сахарова, Лихачева в защиту уволенных, репрессированных. А. П. Александров защищал А. Сахарова.

Вернадский требовал восстанавливать «общественный стыд».

Вспомним письма к правительству Ивана Петровича Павлова, Владимира Галактионовича Короленко, они осуждали большевистский террор, требовали прекратить бесчинства чекистов. Не боялись выступать.

Обостренное чувство справедливости было сильнее страхов.

Кроме высокой гражданской позиции существует у каждого, самого обыкновенного человека, «позиция души» перед другими людьми. Милосердие. Жалость. Сострадание. Любовь. Главное. Это то, что отпущено любому человеку. Способность сострадать и прощать помогает оставаться человеком в любых условиях. Сострадание нужно не только несчастным, в нем нуждаются одинокие, обиженные, больные, все, кому не повезло в этой жизни. Сострадать может лишь человек человеку, сердце сердцу.

ОТЕЦ

Дети привыкли, что отец — это человек, который каждое утро куда-то уходит до самого вечера. Он умеет решать задачки, он совершенно не понимает, почему в русском языке так много новых

слов. Читает скучные книги без картинок, с цифрами. Заставляет пить томатный сок, мыть руки. Жизнь у него незавидная. Приходя домой, включает радио и ужасно долго читает газету. Два раза в месяц ему на работе дают деньги, тогда он принесет конфеты. Есть другие отцы, у одного есть отец вагеновожатый, этот занимается делом.

Правда, дети мало задумывались о работе отца. Они усвоили, что следовало поменьше давать о себе знать взрослым, а то они обязательно вмешаются и что-то запретят. Или испортят. Они плохо понимают детские дела. Сколько их ни убеждали, что Деда Мороза надо разрезать и посмотреть, что у него внутри, есть ли и там подарки, до них не дошло. У них нет игрушек. Им, конечно, скучно.

* * *

Коммунистом я ощутил себя на Ленинградском фронте, когда вступил в партию в январе 1942 года. Положение тогда выглядело безнадежным, погибнуть предстояло либо от блокадного голода, либо от пули. Потери в батальоне возрастали с каждым месяцем. Погибну коммунистом в борьбе за первое дело!

После войны партийное членство свелось к слушанию пустых докладов, к пропагандам, накачкам в райкомах, соцобязательствам, все становилось фальшивым, прибывало вранья и несправедливостей. А уж выйти из партии было нельзя, ловушка захлопнулась.

* * *

— Людей отличает от животных — труд.

Так считают многие. Но ведь трудятся и пчелы, и муравьи, и ласточки, и даже рыбы. Строят гнезда, муравейники, плотины, соты.

— Но что-то отличает?

— Может, юмор?

— Откуда мы знаем.

— Любовь?

— Возьми лебедей, у них точно есть любовь.

— Семья?

— У многих есть семьи. Волки, например.

— Мы знаем, что умрем.

— Они тоже знают. Уходят умирать куда-то в чащу.

— Да, это вопрос.

* * *

Газогенераторные грузовики работали в войну на древесных чурках. Машины называли «колобашки».

* * *

В «Военторге» всю войну имелись единственные духи — «Красная Москва». Я, когда стал офицером, подарил их батальонной врачихе, была у нас Люда Постнова.

* * *

— А закусывать чем будем?

— Есть два сырка плавленых.

— Это дерьмо.

— погоди, ты не выбрасывай, я их на шпаклевку возьму.

Начнем с того, что он был холостяк. Надо же с чего-то начать. Почему бы не с этой, отнюдь не маловажной черты. Даже не черты, а качества, ибо холостяк Илья Моисеевич был закоренелый, ни разу не нарушивший своей одинокости. Уж сколько мы его «сватали», сколько «сводничали», какие капканы расставляли ему девицы и вдовицы, милые, очаровательные женщины. Ускользал. В самую последнюю минуту. О, нет, он не выпрыгивал из окна, как Подколесин, он вовсе не боялся женского пола, не бежал от него. Я бы сказал, даже наоборот, он шел навстречу опасности, у него всегда имелись дамы сердца, он влюблялся, волочился, ухаживал, он являлся в гости то с одной, то с другой красоткой. Был кавалером галантным, хотя и несколько ленивым, но исправно провожал, поздравлял, был внимателен, и тем не менее до «венца» довести себя не давал. Где-то, в какой-то момент все срывалось. И что интересно, что примечательно — ни с одной из отвергнутых претенденток никогда не происходило конфликта. Он умел порывать с женщинами, не обижая, сохраняя самые нежные отношения. Искусство редчайшее, пожалуй, это единственный известный мне феномен. «Брошенные» им женщины не обижались, не чувствовали себя униженными, не рыдали, не скандалили. Они расставались, я бы сказал, с любовью. В их душе сохранялась благодарность и лучшие воспоминания. Как он достигал этого — не знаю. Это высокое искусство человеческих отношений было органично свойственно всей натуре его, бесконечно деликатной, мягкой.

Все было не совсем так

Как это часто бывает, холостяцкому его состоянию способствовало то, что, благодаря матери, было ощущение дома, «семьи», не было той одинокой заброшенности, которая отличает холостяцкую закоренелость. И после смерти матери, которую все его друзья любили, которая поддерживала тепло этого гостеприимного дома, все равно дом не опустел. Женщины не меняли стиля этого дома, они, скорее, подчинялись, входили в тот потомственно-интеллигентный дух, который каким-то образом не улетучивался из этих двух заваленных книгами комнат. Когда-то там стоял рояль. Был громоздкий, видно от прежней просторной квартиры, буфет, стоял еще сервант, середину комнаты занимал дубовый обеденный стол, стулья с высокими кожаными спинками. И вторая узенькая комната, которая когда-то была собственно комнатой Ильи. Там он занимался. Там стоял письменный стол, книжные шкафы и кровать. Потом книги постепенно вытеснили хозяина и он перешел в столовую, обосновался за обеденным столом. Потом исчез рояль, опять же уступив место книгам, графикам, фотографиям.

Внешне с годами мало что менялось вокруг него. Прибывало книг, журналов, прибывало его собственных статей, работ, монографий.

Обстановка, удобства, похоже, совершенно не заботили его. Не менялась мебель. Не появлялись картины, сервизы. Как висели с детства женские, неизвестные никому портреты, так и довисели они до конца. Все было неизменно. Это не было пренебрежением к быту, и уж ни в коем случае — вызовом. В нем не было богемности, не было аскетизма. Он любил поесть, любил хорошо одеться,

но мог и питаться в закусочных, в столовых, мог ходить годами в куртке. Он не занимался *этим*. Не придавал этому значения. Не тратил на это сил, времени. Быт занимал минимальное место в его жизни. Общительность отчасти заменяла ему дом. Его растаскивали по гостям, по всяким вечеринкам, лекциям, премьерам. Он умудрялся за один вечер бывать в двух, трех домах. Его звали не потому, что он был хороший рассказчик, остроумец. Надо сказать, что в компании он не блистал, не был звездой. Тем не менее его присутствие всегда становилось заметным, от него исходила уютность, с его приходом атмосфера становилась добрее, благодушной. Вот это чувство милоты, доброжелательства, очевидно, и делали его нужным, приятным в любом обществе, в любой компании.

Время от времени он встречал с какой-либо новостью, но чаще с идеей, с мыслью по поводу, и мысль эта неожиданно освещала вопрос совершенно иначе.

Как ни странно, мне сейчас не вспоминаются примеры. Я давно заметил, что когда знаешь человека много лет, рассказывать о нем трудно, куда труднее, чем ежели видел его раз или два. Тогда все запоминается, слова и жесты. А многолетнее общение, оно стирает подробности.

Он не докучал никому своими научными невзгодами или достижениями. Мало кто, даже из близких людей, представлял себе размах его научной работы. Первой своей монографией он похвастался, а потом уже ни его статьи, ни книги почти не были известны даже друзьям. Мы узнавали о них случайно, обнаружив, например, очередную его книгу у него на столе.

Не то чтобы такая уж скромность его одолевала, он просто понимал, что оценить его работу мы, не специалисты, не можем, а вежливое поздравление, вынужденные похвалы представлялись ему пустыми церемониями, да и не очень деликатными.

Впрочем, это касалось не только научной работы. Например, он никогда не распространялся о своих фронтовых заслугах. Считалось, что ему не повезло, что в начале войны его ранило, его отправили в госпиталь и оттуда хромой, с палочкой, демобилизованный он пошел работать на производство. Вот, собственно, и все, что мы знали о его войне. И только где-то в конце семидесятых годов вдруг нашла его боевая награда — орден Отечественной войны первой степени. За какие-то боевые заслуги, так он толком и не рассказал за какие. Постеснялся. Он всегда стеснялся рассказывать о своих успехах. Чтобы представить, как он вел себя на войне, я вспоминаю, как вел он себя в опасных полетах, в критические минуты, какие выпадали не раз его группе при исследованиях атмосферного электричества. А вел просто — занимался своим делом. Увлеченность или просто занятость отгоняли страх. Наверное, так было и на войне. Он не был воякой. Мы вернулись с войны вояками, солдатское долго держалось в нас. Даже такой сугубо ученый человек, как Л. Стильбанс, первые послевоенные годы и выпивал по-солдатски и таскал в кармане пистолет ТТ, блюл свое офицерское братство превыше всех ученых общений. Илья Моисеевич преклонялся перед Л. Стильбансом, считал его гением, ставил над собой. Л. Стильбанс заменял ему старшего брата, отчасти же хотелось кого-то лю-

бить, кому-то отдать свои нерастроченные чувства. Это была трогательная дружба, самоотверженная с обеих сторон, хотя, как всегда и со всеми, Илья больше давал, чем брал.

Способностей у Ильи Моисеевича хватало самых разных. Он, например, легко и быстро выучивал иностранные языки. Причем не имея возможности общаться с иностранцами, ни разу не побывав за рубежом. Это было чистое самоучительство. Он замечательно играл в шахматы. Где-то в конце шестидесятых годов он стал пробовать себя в литературе, писал стихи — и все это не любительски, а с профессиональной хваткой.

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать хотя бы несколько строф:

*От вечности мгновенье отобрать —
Непостижимо трудная работа.
И наша постоянная забота —
Век жизни на секунду счастья разменять.*

*Обмен не прост, а продавец суров,
Как спекулянт острейшим дефицитом,
Что умудряется, дав миру пять хлебов,
Уверить вас, что все на свете сыты.*

*К нам несчастья приходят дорогами
И тропинками радость идет,
На дорогах, давно нами пройденных,
Только память следы разберет.*

Помню, вдруг он с успехом выступил на экономическую тему, кажется «Экономика в авиации», и

напечатал затем это выступление отдельной брошюрой. Жаль, что почти неизвестными остаются его стихи. Это поэзия мысли. Впрочем, так же, как и проза. Торжество рационализма в лучшем смысле этого слова. Он был, конечно, прирожденным познавателем. Способность осмысливать любые явления природы в первую очередь была развита в нем чрезвычайно. Достаточно широкий ум, поглощавший все вокруг себя, невольно захватывал и явления общественной нашей жизни, и организацию науки, и экономику...

Он горячо и много помогал в ту пору, когда я писал роман «Иду на грозу». Ему хотелось и через это выразить какие-то свои идеи и пристрастия. Время, конечно, придавило его общественный темперамент. Гражданская деятельность его не привлекала, но засилие бездарностей, приниженность талантов, научная лысенковщина мучили его непрестанно.

Мне трудно оценить его научный потенциал. Это дело специалистов, его коллег. С годами, по мере того, как росло международное признание И. М. Именитова как ученого, у него накапливалась горечь, которую раньше смывала надежда на будущее. Однако будущее это так и не приходило. Кто-то из шустрых чиновников вместо него выезжал на научные конгрессы за границу. Кто-то неприглашенный там выступал «от имени и по поручению». Кто-то за него отказывался от многочисленных приглашений, ссылаясь на болезнь и занятость. Директора ГТО, начальники спецотделов и просто отделов, всякие Шишкины-Мышкины — сколько их сменялось, но порядок сохранялся тот же. Так за всю большую жизнь ему ни разу не позволили выехать за рубеж

ни на один симпозиум, конгресс, даже просто туристом он нигде не мог побывать. Ему не давали свободно переписываться с иностранными учеными, общаться с ними. Не в силу секретности. Куда более засекреченным это все разрешалось. А не давали потому, что можно было не дать. А можно было не дать, запретить, во-первых, потому, что холост, следовательно, заложников не имеет, останется там. Во-вторых, беспартийный. Не вступает. Предлагали — не вступает. Значит, политически неблагонадежен. Главное же, раздражала талантливость. На ученых советах выявляет беспомощность, а то и ошибки в чужих работах. Сидел бы помалкивал. Нет, лезет, не может удержаться. Вот и пушай дома посидит, а то еще, чего доброго, вылезет на международную арену, с ним потом не управишься. Так и продержали его взаперти. А для большого ученого изоляция от циркуляции мысли, от всеобщего содружества ведущих специалистов других стран дело мучительное и во многом, если не гибельное, то иссушающее. Потому что нельзя питаться только научными журналами, так как ничто не может заменить живого общения.

Да и не только в этом дело, угнетали, обижала несправедливость, упорная, бессмысленная, безмотивная. Он пробовал было протестовать, куда-то ходить, доказывать, но ничего этого не умел. Он не понимал, почему на этих чиновников не действовала логика, почему их не трогали интересы науки.

Так и бросил, ничего не добившись.

Был ли сокрушен его оптимизм, его вера в разум? Думаю, что все же какая-то душевная опора в нем сохранялась.

Когда мы сегодня говорим о застое, об этом времени болотной гниющей неподвижности, для меня прежде всего возникает пример И. М. Именитова, судьбы, наделенной талантом, богатыми возможностями и так неполно сумевшей осуществить себя. Подобных судеб было немало в нашей многострадальной советской истории.

Никогда не возникало в его облике, в его, осмелюсь сказать, сознании, ощущение неудачливости жизни. Несмотря ни на что, он был счастлив, и это ощущение полнокровной жизни сопровождало его вопреки всем бедам до последнего дня. В этом можно было всегда убедиться, видя, как его любили дети, и с какой любовью он всегда возился то с моей дочерью, затем с моим внуком, он умел общаться с ними в любом возрасте. Дети тянулись к нему как к человеку, умеющему видеть романтику и таинственную красоту окружающей жизни.

*В капели апреля я вижу метели,
В узорах снежинок — могущество селя,
А грохот и ярость весенней грозы
Таят сладкий сон виноградной лозы.*

Игра и серьезность незаметно сливались, переходили друг в друга. Так же старательно и весело возился он с научной молодежью, со своими учениками, с аспирантами, с удовольствием раздаривая себя и свои мысли, которые он никогда не берег. И он был прав.

* * *

Отель полон дельцов и свободных женщин. Отнюдь не проституток. Приехали отдохнуть. Не скрывают одиночества. Она бродит по пляжам, кафе. Высматривает. Ее высматривают. Знакомство. Оно проходит просто. Сходятся. Разъехавшись, тоскуют. Могло что-то получиться? Каждый не верит себе. По-настоящему здесь никто никем не интересуется.

* * *

«Третий муж, и опять такой же. Как они все похожи».

* * *

Максим Тушонкин.

* * *

Этим летом осень удалась на славу.

КРУИЗ

Нам в Париже понравилось, что Наполеон лежит «в гробнице из русского мрамора», как пояснил гид. Во время круиза на «Победе» вокруг Европы я записывал прежде всего всякое доброе слово о России. Затем — то, что меня удивляло и возмущало в капиталистической жизни. Затем — невиданное и немыслимое: поля тюльпанов в Голландии и то, что снимают их комбайнами.

* * *

На могиле Эйнштейна изображена Солнечная система со всеми планетами, и там, где Земля, надпись: «Здесь жил Эйнштейн». На памятнике Ньютону написано: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого».

Рядом с плитой Ньютона в Вестминстере есть плиты поменьше — В. Томсон, Д. Максвелл, Ч. Дарвин, В. Гершль — великие ученые Англии.

Их хоронили в Вестминстерском аббатстве.

Англия по-своему чтит великих ученых, она посвящает их в рыцарское достоинство. И Ньютон, и Фарадей, и Томсон получили звание лордов. А также Резерфорд. Красивая награда. Не из тех, что нацепляют на пиджак. Измеряется не деньгами, это, скорее, признательность нации. «Считать сокровищем страны». Список пожалованных в лорды велик и красив. Там есть и археологи, и астрофизики, и Френсис Бэкон, и скрипач И. Менухин, физик Рэлей и русский историк Павел Виноградов. История таких наград, кажется, восходит к XVI веку.

* * *

1957 год. Слушаем рассказы одного из реабилитированных, как в лагере он лечил, выручал, учил держаться зеков. На обратном пути Римма заметила: «Он делает себе лавровый венок из колючей проволоки».

* * *

Работая в Союзе писателей, я вынужден был встречаться с графоманами. Типичный их вопрос — получается или нет, стоит ли им продолжать писать?

Я не сразу, но нашел ответ: «Попробуйте не писать хотя бы год, может, у вас это пройдет».

Особо приставучим я довольно советовал: «Вам лучше всего писать сразу на туалетной бумаге».

Получалось грубо, но я вспоминал, как Александр Трифонович Твардовский не щадил молодых поэтов, эта порода графоманов наиболее злостная. Он оправдывался: «Котят надо топить, пока они слепые».

* * *

В Кабельной сети я проникся уважением к мастерству настоящих специалистов. Сам я пытался изучать сетевое хозяйство своего района. Ходил по трансформаторным подстанциям. Изучал трассы подземных кабелей. Каждый кабель имел свою историю. Когда его прокладывали, что с ним было в блокаду, следы бомбежки, обстрелов — сказались? Как? Некоторые взрывы, даже дальние, сказывались спустя годы. Пережитые потрясения давали о себе знать.

* * *

«Мозг — это орудие не мышления, а выживания, наподобие клыков и когтей, он заставляет нас принимать за истину то, что в действительности всего лишь выгодно».

(Сент-Джёрджи, биофизик, лауреат Нобелевской премии)

* * *

Еще в школьные годы я упивался «Декамероном». Все книги «не для детей» прежде всего ими же и прочитываются. Ныне я перечитываю его с еще большим удовольствием. Правда совсем дру-

гим. Шестьсот лет этой книге. Она обогнала по своей привлекательности, пожалуй, всех своих сверстников.

Бесконечно разнообразны любовные треугольники его новелл. Супружеские обманы, ухищрения любовников и любовниц. Измена. Глупость мужей — она бесконечна так же, как женская изобретательность.

Подробности плотской и сердечной жизни в «Декамероне» описаны с той присущей итальянскому Возрождению откровенностью, которая в России всегда осуждалась, хотя прелесть средневековых новелл и фаблио состоит в искусстве рассказать обо всем, нигде не переходя в натурализм, избегая порнографии. Наоборот, всякий раз автор находит новые и новые возможности проявить свое остроумие, поэтический талант, показывая, что литература может сказать обо всем, облечь «неприличие» в красивые одежды. Самые рискованные сцены у него защищены богатством его таланта иносказания. В этом состоит великое искусство возбуждать воображение читателя. Особенно юного. Вспоминаю, как это было с тем школьником, когда он читал, как мадонну Филиппу муж застал с любовником. Вызвал ее в суд. Защищая себя, она так обратилась к судье: «Я спрашиваю, мессер подеста: если он всегда брал с меня все, что ему надобно было и нравилось, что мне-то приходится делать с тем, что у меня в излишке? Собакам что ли, бросить? Не лучше ли услужить этим благородному человеку (любовнику. — Д. Г.), чем дать ему потеряться или испортиться?»

Вспоминаю, как разгорелась фантазия отрока, когда ему попалась новелла, где монах Рустико на-

учил пустынноцу, как загонять дьявола своей плотью в ад, который был у нее. Дело вскоре дошло до того, что «дьявол хочет и хочет», Рустико уже не в состоянии ответить на просьбы Алибек и говорит, что дьявола следует наказывать и загонять в ад лишь тогда, «когда он от гордыни поднимает голову».

Время от времени Рустико удовлетворял бешенство ада Алибек — «но это было так редко, что было ничем иным, как метаньем боба в львиную пасть». Бедняге мешало его постное монашеское питание.

Современная проза разучилась пользоваться подобными приемами.

Сам Боккаччо пишет в заключении, обращаясь к дамам: «Может быть, иные из вас скажут, что, сочиняя эти новеллы я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни выслушивать. Это я отрицаю, ибо нет столь неприличного рассказа, который, если передать его в подходящих выражениях, не был бы под стать всякому».

* * *

Природа живет рядом с нами параллельной жизнью. Пересекается только когда нам что-то надо от нее. Она же безучастна к нам. У нее время течет по-другому, чем у нас, свой ритм — зима, весна, лето...

* * *

Только я расположился в купе, уселся, вытянул усталые за московский день ноги, как дверь шумно

отъехала, и не вошел, а ввалился Прокоп. Никак не ожидал, что нам с ним дадут билеты в одно и то же двухместное купе. В Москве, видимо, не знали о наших отношениях. Мы с ним не ругались, не ссорились, мы разошлись. Александр Андреевич Прокофьев, мы звали его Прокоп, был председателем Союза писателей Ленинграда. У него было много почетных должностей, в редколлегиях, в комитетах, но эта была главная. Он был даже членом Центральной ревизионной комиссии при ЦК КПСС. Кажется, она так называлась. Чистая синекура. Зато роскошная корочка и повсюду «ради бога, что за вопрос». Он был хороший поэт, но эта корочка была важнее.

Итак, он ввалился, удивился: «И ты здесь, Данила?», плюхнулся на свое место. В купе сразу запахло коньяком, выпить Прокоп умел, и крепко. Выпив, пел свои любимые песни, частушки. Вместо голоса имел слух и нечто хрипло-рычащее.

Сейчас было не до того, ему явно не нравилось мое соседство. Пыхтел, хмурился, я тоже помрачнел. Сидели молча. Молчание густело. Мне, как младшему, полагалось бы как-то нарушить. Не хотел.

Поезд тронулся. С двух сторон мы смотрели в одно окно. Там пробегали фонари, и оставалось отражение наших лиц: Прокоп округлый, с чертами грубыми, сельскохозяйственными, никогда не скажешь, что поэт, это вам не Тихонов с его снежно-седой шевелюрой, не симоновская орлиность. У Прокопа было свое неожиданное сочетание разгульного, лихого: то ли вояки, то ли налетчика и нежнейшего лирика. Он хорошо знал мировую по-

эзию. Писал чудесные детские стихи. Я знал его молодые стихи, почти все.

*Плещет лента голубая —
Балтики холодной весть.
Он идет, как подобает,
Весь в патронах, в бомбах весь!*

И дальше тоже здорово:

*Справа маузер и слева,
И, победу в мир неся,
Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся!*

Однажды я ему целый час читал наизусть его стихи. Я тогда знал Пастернака, Тихонова, Шефнера, Прокофьева, Симонова и Киплинга, такой был странный подбор любимцев. Да, еще Маяковский.

В купе вошла Тамара, была такая буфетчица в «Красной стреле», она разносила по мягким вагонам коньяк, бутерброды, водку. Я часто тогда ездил, знал Тамару, она знала нас.

Прокоп пробурчал:

— Данила, ты прозаик, тебе больше платят, ты покупай.

Тамара налила нам по фужерчику и плюс бутерброд с ветчиной. Я расплатился. Выпили не чокаясь.

— Имей в виду, я все знаю, — сказал Прокоп. — Знаю, что вы с Дудиным и Орловым затеваете. Хотите меня обратить.

Чего-то он еще стал сообщать про наш заговор. Мы действительно обсуждали: надо, мол, переизб-

рать Прокопа, хватит, три срока сидит, надоед. Главное же, стал нетерпимым, зазнался. Донесли.

Говорил, говорил и вдруг повалился на подушку и захрапел. Была у него такая манера, на полфразе, выпивши, мог отключиться.

Я снял с него туфли, накрыл, разделся и лег.

Он, конечно, был личностью. Если оценить в общем и целом, был человек порядочный. Вспомнилось, как он попросил меня вручить какую-то медаль писателю Мирошниченко. Объяснил, что сам не может, этот человек был доносчик, в частности, на Маршака доносил, хотя Маршак помогал ему писать роман. Я было заартачился, но он уговорил — ведь все это было давно, до моего вступления в Союз писателей, я ничего про ту историю не могу знать. Знал только Прокоп. Он достойно вел себя при борьбе с космополитами, защитил Гитовича, Лившица, многих евреев-переводчиков. Нет, нет, он не был замаран, хотя ему приходилось нелегко. Бездарная шушера тянула его к себе, льстила, угодничала. Славили его, ссорили с молодыми ештушенками, вознесенскими... Но Прокопу помогал один твердый принцип — быть на стороне таланта. Важен талант.

Утром, когда проснулся, он еще похрапывал. Я встал, выпил крепкого кофе, прильнул к окну. Лучший отдых — окно поезда.

Прокоп проснулся просто, без охов, вздохов, перекатился, чтобы свесить ножки, сел, уставился на меня и сказал:

— ...Только ничего у вас не выйдет!

Он знал, что в этом мире все должно оставаться так, как было.

Мы были уверены, что воюем навсегда, делаем последнюю войну. Навсегда закопаем фашизм, и не с кем станет воевать. Мы останемся солдатами последней войны. Ни войн больше не будет, ни солдат.

АЛЬТРУИЗМ

«Человечность не заложена в генофонде человека». А откуда же она? Нет, извините, она как раз заложена. Казалось бы, борьба за выживание не способствует бескорыстной заботе о ближнем. Альтруизм считали «моралью слабых». Марксисты считали — нельзя преодолеть противоречие между эгоизмом и альтруизмом, только в социалистическом обществе, где уничтожен классовый антагонизм... и т. п.

На самом же деле, выдающийся наш генетик Владимир Эфроимсон показал, что как раз борьба за выживание развивала альтруизм. Выживали и оставляли потомство те племена, которые при войнах прежде всего спасали своих детенышей, где взрослые не считали обузой своих стариков, не способных охотиться, добывать пищу. Старики были хранителями опыта, знаний. Альтруизм в современном человеке имеет глубокие генетические корни. В животном мире это необходимое условие выживания вида. А. Д. Сахаров сказал по поводу статьи Эфроимсона «Родословная альтруизма» («Новый мир», 1961, № 10): «Генетические корни альтруизма — последняя надежда человечества!»

Самый невоспитанный, дикий человек защищает своих детенышей, склонен к благодарности, к помощи родным, соплеменникам.

* * *

Попробовал вспомнить, что пела мама:

«Дремлют плакучие ивы...»

«По пыльной дороге телега несется...»

«Жалобно стонет ветер осенний...»

«Что так жадно глядишь на дорогу...»

«Ты сидишь у камина и смотришь с тоской...»

Столько лет прошло, а тексты тех романсов помню, хотя не пел и не слышал больше ни от кого. Как прочна детская память, сохраняет всякую всячину.

* * *

Когда он вернулся, отсидев за плен, вернулся не с войны, а из нашего лагеря, собрал родных, рассказал про то, как попал в плен и чего натерпелся в плену, а потом в лагере. Долго проверяли его наши энкаведешники, установили, что вел себя в плену достойно, не опозорил звания офицера. Заключение: «Я вас не опозорил, мои дорогие».

Сын взорвался:

— Да тебя наградить надо за то, что защищал эту власть!

Отец помолчал, потом сказал:

— Я тебя защищал, не ее. Такая власть мне не нужна.

В лагере он многое понял, узнал. Советские солдаты, придя в Германию, например, удивлялись —

что немцам надо было у нас? Богатые каменные дома, хорошая мебель, не то что наши избушки. Как вошли в Восточную Пруссию, долго соображали над машиной, пока не поняли, что это стиральная. Холодильник тоже озадачил...

* * *

Всеволод Чернецов, я знал его еще по Кировскому району, был секретарем райкома комсомола, позже секретарем обкома комсомола (естественно, пострадал по «Ленинградскому делу»). Он рассказывал мне, как в середине сентября 1941 года К. Ворошилов выступил с речью на каком-то активе ленинградцев, призывая готовиться к уличным боям. Для этого требовал изготавливать пики (!), горячий вар, лить на головы фрицев кипяток. Чернецова послали на Кировский завод договориться насчет заказа на пики. Срочно собрали специалистов, они молча выслушали его. Один из ведущих конструкторов вежливо сказал:

— Видите ли, если б вы предложили нам покрыть броневыми плитами платформы, создать нечто вроде бронепоезда, это можно было бы обсуждать, но холодное оружие не наша специальность. Пики мы не знаем, как изготавливать.

Что-то в этом роде. Я был так поражен его рассказом, что сразу записал. Он уже вернулся из лагеря, где отсидел шесть лет, был морально пришиблен, думаю, что не стал бы врать.

* * *

Человеческий организм издает много разных звуков, неслышных нам. Стучат клапаны сердца,

свистят легкие, шумит кровь, поскрипывают суставы. Работает огромная машина. Включили аппараты, я все это услышал, врач же различал, где не тот звук. Возможно, животные, насекомые слышат нас, наше приближение так же, как мы слышим приближение поезда, рев самолета.

* * *

Вторая книга после Библии — это «Дон-Кихот», она переведена на все языки.

* * *

Время безымянно. Недели, месяцы не имеют собственного имени. Только год имеет свою цифру.

Вещи — зеркала времени. В них оно отражается. Они имеют стиль, сохраняют забытую моду. Уровень — керосиновая лампа, штоф, этажерка — это куски прошлой жизни.

* * *

Вагон поезда до Новгорода был переполнен. В нашем отделении всю дорогу не переставая говорил инвалид. Орал в полный голос, перекрывая лязг колес. И все про свои фронтовые заслуги. Мужик, что сидел рядом со мной, не вытерпел.

— Уймись! Земля вращается без шума, а ты!

Все засмеялись. Инвалид не нашелся что ответить и замолчал. Вернее сказать, заткнулся. Что значит удачное слово, не обидное, а вот сразило напрочь.

* * *

Один из учеников Александра Александровича Любищева, а их было много, правильнее назвать

их воспитанниками, последователями, почитателями, так вот Юлий Шрейдер — биолог, философ, культуролог, не знаю, как точно его определить, человек глубокий, самостоятельно мыслящий, однажды на примере Любичева показал, что выбор свободы чрезвычайно труден для человека, свобода разная бывает. Отношение к истине может быть религиозным: «она не от кесаря к кесарю, не отдается ни в малейшей части». Любичеву его крест доставлял радость. Шрейдер пишет, что это характерно для святого. «Томас Мор взошел на эшафот в светлом состоянии духа».

Пожалуй, Шрейдер прав, жизнь Александра Александровича Любичева имеет святость, если скромнее — он блаженный. Он беззаветно служил истине, боролся за нее. Советский режим порождает таких блаженных, радетелей правды. Тоненькие их свечки не могли рассеять тьму, но поддерживали дух.

ПЯТЬ ПИСЕМ

При очередной чистке своего архива я обнаружил копии старых писем. С фронта. Не сразу я понял, что фронт этот не Великой Отечественной войны, а еще Первой мировой, 1916 год. Письма офицера домой, в Питер, жене. Адреса подробно нет, есть ее имя — Мара, его подпись — Миша. И все. Как они попали ко мне — не помню. Вспомнить не мог. Дожидались, видимо, своей очереди. Дождались. Возможно, когда-то я прочел их и отложил. Не шибко зацепили. А вот ныне стал читать и вдруг взволновало — это же про меня, про мою

войну, только с позабытыми подробностями, армейским бытом, с теми чувствами окопными, о которых мы писать себе не позволяли. Цензура вымарывала, возвращала в политотдел, а то еще куда. Я читал эти пять писем, словно свое собственное, неотправленное. Та же молодая запальчивость. Его, Мишу, влечет война и «непременно туда, где есть опасность». Он сам не может объяснить, для чего он пошел на фронт: «Когда защищаешь своих детей, разве думаешь о том, и разве можно думать об этом — какие они вырастут».

Идет война с Германией, и автор признается, что ни к кому у него ненависти нет, и к немцам нет. Удивительно, на фронте он полон любви ко всем, ему хорошо, счастливо живется. В этом, пожалуй, его отличие от нашей войны. Но в какие-то моменты его тревожит это состояние душевного покоя, более того — одобрение происходящего. Пленных курдов увозят в штаб, автор знает, что по дороге казаки обязательно их зарубят, а он равнодушно смотрел им вслед. Поймав себя на этом, он ужаснулся: «Что же это за равнодушие к чужой жизни, — спрашивает он себя. — Ведь это не оттого, что, мол, собственной рискуешь...»

Письма отличаются душевным самоанализом, самонаблюдением, высоким пониманием воинского долга. Неведомый мне офицер Первой мировой войны вызывал симпатию. История той войны и особенно ее русского офицерского корпуса нам плохо известна. У нас, по-моему, не осталось ни одного воинского захоронения Первой мировой войны. Тем более на Кавказе, этой хронической болячке России.

Читая эти письма, я вспоминал свою молодую войну, молодую — то есть первый год, 1941-й, моей войны. Неужели нам тоже было «интересно драться», «удивительно весело» идти в атаку. Нет, у нас была осмысленная война. Она была Отечественной, ибо дело шло о судьбе России, да и не только России.

На воинских кладбищах Европы есть могильные плиты с надписью «Имя его известно Богу». О моем герое я ничего не знаю, что с ним стало, уцелел ли он тогда, на Кавказе, сохранилась ли его семья, его дети...

Эта публикация для меня — возможность воздать воинскую честь русскому офицеру Первой мировой войны, нелепой, ненужной, где невеста за что шестьдесят процентов русской армии составили цифру потерь, то есть больше девяти миллионов. И на этот раз Россия потеряла больше всех других стран.

21 марта 1916 г.

Письмо № 21

Милая моя Марочка! Получил твое девятое письмо от 21 февр., где ты пишешь о Бобке. Не уедешь ты в Крым, а потом в Калугу. Реши уж лучше прямо в Калужскую губернию ехать. Где же тебе разъезжать и туда и сюда?

Сколько раз уже и раньше у нас поднимались разговоры о соединении Крыма с более северными дачными местностями — но ничего, кроме разговоров, не выходило. Ты пишешь, с кем отправить — раньше ты говорила, что Лиза едет в Артек, она и возьмет. Ехать тебе раньше одной на дачу, с кем же Верушу оставить? И у кого, кто ее будет отвозить?

Пишу и думаю, но когда ты получишь? Вот твое десятое раньше дошло, чем девятое. Девятое вскрыто цензурой в Пет. Если бы хоть в две недели доходило письмо, то было бы хорошо. А то читаешь то, что ты написала почти месяц тому назад. Грустно.

Вечереет. С половины второго идет мокрый снег большими хлопьями. Каково-то в эту пору разъездам, — когда до штаба сотню сажен едешь — погоду проклинаешь. Какая благодать — сидеть в теплой комнате, идти никуда не надо.

У нас — гость — есаул Савельев. Ефремов лежит на кровати. Ведется разговор — коснулся, наконец, и «жидов». «С примесью они хороши, — авторитетно заявляет Савельев, — во Франции более жидов талантливых, чем где-либо». В доказательство этого же положения — идет ссылка на Надсона. «Да, умер рано, можно сказать, мальчишкой. Да, и Лермонтова взять тоже. А сколько написал!?» Молчание. Через некоторое время продолжает: «Интересно, чья это переделка "Горе от ума?"» Ефремов: «Самого Грибоедова». Потом он же: «Говорили такую вещь, что с Грибоедовым жил в Персии какой-то студент, и он-то и написал настоящее "Горе от ума", а Грибоедов выдал за свое». Есаул Савельев: «Лермонтов наверняка скабрёзник. Пушкин несомненно, а Грибоедов же был человек серьезный. Вряд ли он переделал "Горе от ума"». Ефремов: «Да, но ведь ходят слухи...» Молчание.

Ефремов начинает напевать «Привет тебе, приют невинный». Есаул Савельев: «Вот это красиво. А помните сцену костёла?» Хочет что-то изобразить, но ничего не выходит, бросает. «Вот, б... (непереводимый синоним "проститутки") была Маргарита, —

совершенно неожиданно изрекает есаул. — А еще Гретхен!» «Да, был я в Народном Доме в Пет., после японской войны, — продолжает есаул. — Ну, знаете, и постановка куда лучше, чем в Мариинском. Клумбы, например. Где это, перед костелом? Нет? Ну, все равно. Знаете, цветы, ну просто живые...»

Начал было писать под этот разговор письмо детям, бросил: не мог, как будто эта пошлость письмо замазает, стал записывать, что говорят. «Сцена с натуры». Опустил только «вводные» слова, предложения и пословицы — весьма, может быть, и остроумные — но которые все-таки лучше не передавать тебе.

Дождь со снегом все идет. Монотонно, капает с потолка. Протекает. Савельев ушел. Ефремов и Алимбаров уткнулись в «журналы»: «Огонек», «Всемирная Панорама» и т. п. С чего-то загоготали гуси, — они у нас ведут себя не хуже римских. Садики и то жалуется: спать не дают.

Сегодня закончил разбор дела курдских крестьян одного села с их помещиком. Допросил, написал заключение — генерал положил резолюцию: «Вполне согласен».

Эх, если бы уметь по-татарски, а то все с помощью переводчика. Рассуживаешь, конечно, по совести.

Да, не думал на войне заниматься юриспруденцией, да еще практической. А писем, кроме как от тебя — ни от кого нет. Видно, недаром говорится, «не доходят письма, которых не пишут».

Бурочные сапоги я давно получил — и тебе писал об этом.

Ну, пока кончаю. На днях pošлю тебе еще двести сорок рублей. Как видишь, коплю вовсю.

Целую тебя, милая моя, и ребятишек. Извещай, какие письма получаешь.

Твой Миша.

27 апреля 1916 г.

Письмо № 15

Милая моя деточка, милая моя Марочка!

Я долго колебался, писать ли тебе... Но, получив от тебя вчера письмо, где ты говоришь о том, что хотела бы приехать, повидаться со мной, я решил тебе телеграфировать и написать обо всем.

Я — пулеметчик. Вышло и для меня это совершенно неожиданно. Психологически же для меня понятно, и, может быть, и ты поймешь, и, если не одобришь (это исключаю), то и не осудишь слишком сурово. На второй месяц службы здесь у меня уже созрел план — если не будет движения воды — в конце мая уйти в один из кавказских полков. Только при таком решении я и мог со спокойной совестью жить и работать здесь, не краснея за свое существование. Я знал, что сейчас здесь все равно тихо, я налаживаю нужную необходимую работу, до сентября я успею еще навоеваться. Если же, паче чаяния, двинемся, я остаюсь на своем месте. Влад. Дм. уехал, я исправлял его обязанности, как в одно утро является ко мне штабс-капитан Е. Заявляет, что его прислал начальник штаба округа, как именно в ту часть, которая стремится уйти в бой и что ему нужно 15 ратников для укомплектования ... пулеметной команды. Я ему ответил, что могу доставить не 15, а 30, 45 — но при одном

условии — возьмите меня. Я не могу посылать людей на смерть, оставаясь сидеть в безопасности. Пулемета я не знаю, но я научусь этому делу. Принципиально Е. согласился. На другое утро я был в Штабе округа, говорил с нач. штаба (мы случайно с Вл. Дм. с ним познакомились) — и в субботу же вечером была у нас получена телеграмма, предписывающая командировать меня и 15 человек исключительно из числа желающих — по моему выбору.

И начальнику штаба я говорил, что в пулеметах я святой человек — и тем не менее, как видишь, нашли возможным назначить меня в команду.

Ты скажешь, ну, какой же ты, Миша, пулеметчик! Мне многие говорили: ну, какой же Вы будете адъютант, Вы ничего не знаете. И что же — за полтора месяца я развил такую энергию и работоспособность, и так вошел в курс дела, что после полу часового разговора со мной генерал, назначенный инспектировать все подобные нам части на Кавказе, предлагал мне стать его адъютантом. Ты скажешь, что, мол, юристы, а тут все законы да циркуляры. Но не в них соль. Все в энергии и желании работать. К Магометам, как мы, — горы никогда не подходят, это мы знаем, и потому всюду ходим и ходим, завязали тьму лично-служебных отношений, пустили во всех штабах и управлениях корни и добиваемся скорее, чем другие, своих целей. И, если моя прежняя часть и двинется с места (а некоторые признаки есть, но это не так еще скоро, и этих признаков 17 апреля не было на горизонте) — то этим она будет обязана опять-таки нашей энергии. Но, конечно, все это не так интересно для тебя,

т. е. вопрос, буду ли я сносным пулеметчиком или нет. Я только хотел выразить ту мысль, что вовсе не иду с тем чувством, что все равно нужен офицер, отчего мне и не пойти. Я уже все силы положу, чтобы не быть хуже других специалистов дела. Важнее объяснить тебе мою психологию. Как я уже говорил, я не остался бы здесь дольше конца мая, ушел бы в полк. Но, когда зашла речь о пулеметах — то я тогда понял все преимущества этой команды. Можно попасть в полк и засесть в дыру. А там еще отдельный мир с Турцией — стой да охраняй границу. Здесь же у меня все гарантии — не здесь, так там, и телеграммы о мире с турками меня уже больше не волнуют. Но и это все еще не объяснение. Что же влечет меня туда и непременно туда, где есть опасность? Я уже писал тебе в прошлый раз о необходимости для меня, неодолимой потребности свое личное будущее — искупить настоящим. Ты, наверное, меня не поняла, когда говорила «во имя чего, будущего? Да пропади оно пропадом, слишком дорого оно стоит человечеству!» Я имел в виду не будущее России, не будущее человечества, я говорил о своем «я», о себе. Я знал, что для меня психологически невозможно вернуться в мирную обстановку из мирной же. И я бы — мне, во всяком случае, теперь это представляется ясным — предпочел бы не возвращаться.... Ты говоришь: «Ты не имеешь права быть лучше других». Но я же имею право быть самим собой?

Это было в прошлый четверг. С нашим батюшкой я ездил служить молебен в одну из наших частей, за 20 верст по ж. д. После обеда мы закусывали и говорили, конечно. Разговор шел на

ту тему, что нужно беречь культурные силы, что молодежь должна учиться, что то, что я делаю — безумие. Я не стал отвечать, а как-то — высказывать свои мысли затаенные. Я сказал, что я сам не мог бы объяснить, для чего я все это делаю. Во всяком случае, не для каких-либо целей. Мне так глубоко безразлично сейчас, что наступит после войны. Если бы был убежден и твердо знал, что не будет худшая, чем когда-либо, реакция, это не могло бы повлиять на мое решение. Когда защищаешь своих детей, разве думаешь о том, и разве можно думать об этом, какие они вырастут. Может быть, во мне говорит моя кровь, моя связь с родной землей; я не могу поступить иначе... Я ни к кому не обращался, и вдруг заметил, что общий разговор прекратился, что все молча слушают меня, и никто не возражает.

А на вокзале ко мне подошел один из наших офицеров — штатский — как я — окончивший Академию художеств и, пожимая руку, сказал: «И все-таки вы правы. Сам я — по происхождению полунемец-полунемец — чувствую — вы правы».

Разве я мог бы себя так чувствовать, как сейчас, если бы у меня был бы разлад с совестью? А я переживаю чудесные дни. Я всех люблю, у меня нет ни к кому ненависти, нет ее даже к немцам. Ты говоришь: «Лезть под огонь, жертвовать людьми из одного геройства — не подвиг». Жертвовать людьми я не собираюсь. Но я не могу сказать: иди в пулеметчики, а я сам останусь. Это я считал для себя нравственно недопустимым, и психологически невозможным. Только тогда я мог говорить, кто хочет идти, когда я пошел первый. И я им

говорил: «Мне нужны только те, кто идет от хорошей жизни, а не с отчаянья. Мне не надо тех, кому все равно, жить или не жить. Нет, кому жизнь дорога-мила, как мила она мне». Говорят, м. б., где оно, народное воодушевление. А что же, это мало, говорят, когда из одной только роты я набрал 10 человек, когда из 27 желающих мне нужно было только пять человек. А письма пяти солдат издалека к моему денщику с просьбой похлопотать перед «адъютантом, его благородием», чтобы он записал их в пулеметчики. И это зная, на что они идут. (Правильно или нет, я даже сгущал краски.)

Официально я перехожу 1 мая, хотя уже с завтрашнего дня начну учиться новому делу. Вообще в ближайшее время буду и здесь и там. Надо же познакомить с делом моего заместителя. Раньше конца мая мы не можем тронуться. Это уже наверняка. Но и затем, кто знает, вдруг мы должны будем еще остаться и готовить других. Вот это-то и останавливало меня раньше. Зачем я стану тревожить тебя. Мой адрес — прежний, я могу писать. Но, получив твое письмо, я понял, что ты не простила бы мне, что я мог повидаться с тобой и не сделать этого. Все равно уже: Рубикон мой пройден, возврата нет, и ты должна считаться со всем, как уже вопросом поконченным.

Обращаясь к прошлому, я могу сказать, что все у меня шло по одной — поднимающейся линии.

Я с самого начала говорил, что хочу воевать, что я не могу быть культурным работником. Если я высидел в Питере и здесь два месяца — (и не жалею, конечно, ни о том, ни о другом) — то потому, что никогда меня не покидала тайная, не высказы-

ваемая уверенность, что рано или поздно, я все-таки буду на войне.

Но зачем я стал бы лишать себя видеть тебя здесь. Препятствия не столь велики, чтобы не преодолеть их. И денег много не надо тратить. Комната есть, обедать будем в штабе, нам ведь теперь готовит Ярошкин. Я послал телеграмму, чтобы ты готовилась к отъезду, а получишь письмо, телеграфируй, едешь ли и когда? Еще одно побуждает меня просить тебя приехать. Уйдя отсюда, я-то смогу еще писать — но получать письма будет очень трудно.

Но мрачные мысли все-таки оставь. У меня такое сильное предчувствие, что я вернусь и к тебе, и к детям. Мне всегда везло, и звезда моя счастливая, и рука моя легкая. В это не только я, и другие верят.

По местному два часа ночи, в 7 я встаю.

Приезжай. Твой Миша.

24 апреля 1916 г.

Письмо № 24

Страстная суббота

Милая моя Марочка! Ты, наверное, читала Джека Лондона. А и право стоит. Замечательная, например, книга: «Белый клык» — ну так психология собаки изображена, что, как мы здесь говорим, не был ли Лондон сам собакой. Но видишь ли, почему я заговорил о Лондоне. Удивительно этот писатель умеет связывать наше настоящее с самым отдаленным прошлым. И вот, настоящая война и заставляет меня размышлять о воп-

росе, насколько же в нас сидит «первобытный человек». Но прежде всего маленький случай из жизни.

В ночь на 28-е мы стояли в одной деревушке. Кругом, конечно, сторожевое охранение. Около 12 часов ночи на один из постов «нарвались» пробиравшиеся в деревушку трое курдов. Были схвачены, при попытке бежать одному хватило прикладом по брови. Я еще ночью узнал, что их поймали. Был сделан выстрел. Спросил, что такое, узнал, тогда же подумал, что их ожидает, с чувством удовлетворения заснул в своей соломе.

Наутро увидел этих курдов, молодые, здоровые. Солдаты, по обычаю, окружили, с любопытством разглядывая курдов. Глядел и я, с некоторым чувством злорадства: что, мол, попались голубчики. Я знал, что им недолго жить, что по дороге в штаб они несомненно будут делать попытки бежать, хотя их всех связали вместе, но что двое казаков, которые их поведут — зарубят их. Так, конечно, и случилось.

Но не в этом дело, а в моем отношении ко всему происходящему. Я ведь не только не протестовал, напротив, я с одобрением относился ко всему происходившему. Вместе с тем я прекрасно сознавал, что ведь это тоже люди — что у них есть семьи, — но это меня совершенно не трогало. Тут ведь никого из близких не было. Я равнодушно смотрел вслед, как эти курды перешли вброд реку и вскоре скрылись за холмами. Сзади их два казака.

310 Что же это за равнодушие к чужой жизни. Ведь это не оттого, что, мол, собственной рискуешь,

так что же жалеть чужую. Ведь своих-то убитых мне жаль, — а к этим полнейшее безразличие. Общего у нас с ними никогда ничего не было. Может быть, десятки тысяч лет тому назад мои предки дрались с предками курдов, то удовольствие и радость, которую они испытывали, видя побежденного врага, переживаю до некоторой степени и я, их потомок.

Но злобы к курдам у меня нет. Я и до сих пор не согласен с Владим. Дм. К чему на войне «злоба» — она может ослепить, помешать, а при хладнокровии можно больше истребить своих противников. Вот, между прочим, поэтому и надоедает сидение на одном месте, что ты никого не истребляешь, а цель войны — истреблять, как можно больше и как можно скорее.

Одно для меня в настоящие минуты кажется несомненным. Во мне очень силен первобытный человек... Бой доставляет мне удовольствие. Я теперь знаю, я не трус — но не в силу каких-либо головных соображений — мне просто интересно драться, это так захватывает, что тут нет места чувству страха. Тяжело быть под обстрелом, когда сам обречен на бездействие — ну, тогда на помощь являются «головные» соображения. А когда ты стреляешь, идешь в атаку, только удивительно весело и такое «подъемное» состояние духа в мирной обстановке редко когда придется переживать. Недаром я с детства любил военные картины, описания битв и т. п.

А культурный «налет»? Да он остался. Благодаря его наличности я не менее ценю искусство, чем до войны, поэзию и литературу, науку. Более

того — жалость к женщинам и детям прежняя. Но как переходишь к взрослым врагам, просыпается первобытный человек, со стремлением к уничтожению, разрушению и т. п. Знаю, что такие, как Илья Ильич, покачают головой и скажут или подумают: какое падение: человек науки дошел до исповедания каких взглядов! Но прежде всего, я не «исповедую». Я стараюсь прежде всего установить и уяснить, что делается в моей душе. Затем, судьями могут быть только те, кто здесь, с нами.

А затем: ах, сколько можно было бы привести примеров и обвинений в бесчувственности к ближнему находящихся в тылу. И вот здесь сказала наша общественная отсталость. В «Рус. Вед.» была помещена корреспонденция Осоргина из Рима, вызванная статьей московского корреспондента одной итальянской газеты. Итальянец прямо поражен равнодушием Москвы к войне, широкой жаждой наслаждений и т. п. Осоргин спрашивает, неужели это правда? Ну, редакция, конечно, говорит, что обобщать нельзя, что Москва как никто работает на войну, но это следует все-таки признать...

В Англии — классической стране скачек — их нет теперь, во Франции почти нет театров, а у нас «пир во время чумы». В старину купцы мазали физиономии «человеков» горчицей и платили. Теперь у нас с аукциона покупается за 400 р. последний бокал шампанского, и серьезные газеты считают священным долгом оповестить об этом всю Россию с упоминанием имени патриота-жертвователя.

Конечно, знаешь, что не этими любителями зрелищ и тонких аукционов — исчерпывается вся Россия, но все же обидно и горько за «цвет» нашей страны. А простой народ продолжает свое дело. Я думаю, что глубокий инстинкт сидит в нем, что надо воевать, что им принадлежит в будущем Россия и ее судьбы. Но им легче, у них нет интеллигентской психологии. Да многое им и не видно и непонятно...

Вот какими мыслями занят я в Страстную субботу. Еще два года тому назад в это время собирались на улицы, к Казанскому, к Исакию. Бог даст, придет время, буду вспоминать, как проводил эту ночь. А теперь ты, если уехала, сидишь в Артеке, думаешь обо мне. Дети, поди, уже легли спать. Половина девятого.

Эти письма пойдут в Артек. Сделала ли ты распоряжение, чтобы пересылали письма из Пет. Туда еще будут приходить.

С твоим отъездом у меня точно связь оборвалась с Пет. Буду ли я получать «Русс. Вед.», кто мне будет посылать посылки? Так жалко, что ты только одну партию книг выслала. Ну, как-нибудь обойдемся.

Жду писем от Ремизова, Зайцева, Ермолова — всем ведь писал. Бутцу, наверное, завтра окончу. Вот тебе — «все удивляются, что не пишу», как укоряла меня раньше. Ну, вот, написал Лизе. Что из этого выйдет — посмотрим.

Ну, милая моя Марочка! Целую тебя и детишек. Бог даст, следующую уже Пасху будем встречать вместе.

29 мая 1916 г.

письмо № 37

Милая моя Марочка! Это письмо тоже возьмет с собой Леонид. Он уезжает сегодня днем. Вчера снимал наш бивак и меня. Попрошу его прислать прямо тебе снимки.

Продолжаем жариться. Местность, где стоим биваком, напоминает холмы, что вокруг Севастополя, и так она безжизненна и безотрадна, как и там. Горы, что вокруг нас, за месяц успели выцвести. Поля пожелтели, трава высохла. Теперь хорошо и на высоте 4—5 тысяч футов, как например, где мы бродили с 17—24 мая. Там чудная зелень, дубы, орешник, там ручьи, там зеленая трава и горные цветы. Вечером там прохладно.

Я сегодня ездил к пулеметам. Один взвод стоит на позиции — в 40 минутах езды от нашего бивака. Турецкие цепи и окопы находятся далеко — 2400—3000 шагов. Стрельбы почти нет. Поеду как-нибудь туда ночевать, там прохладнее. Только там скучно, надо сидеть одному, хотя, м. б. недурно уединиться дня на два, хочу еще раз заняться историей Тураева.

Я все собирался тебе сообщить, да как-то не успевал, о смерти Кери. По имени ты его, конечно, знаешь. Андронник, Амазас, Кери — наиболее известные имена начальников дружин. Кери убит 15 мая. Он вел свою дружину в атаку сам на турецкие окопы. Его упрашивали не рисковать собой, но он пошел с обнаженной головой — и сразу был поражен двумя пулями в лоб. Смерть была мгновенная.

Кери было уже за пятьдесят лет. Высокий широкоплечий старик с мужицким лицом. Глаза добрые и ласковые... Он по-русски не говорил. Первый раз я видел его, когда в марте ездил в его дружину производить расследование. Вся эта история была ему тяжела и неприятна, т. б. он был самым гостеприимным хозяином. Его адъютант говорил нам, что, живя и воюя с Кери 4 месяца, он не может познать его. Кери провел полжизни своей в стычках и боях. Я не знаю, представлял ли он себе жизнь в мирных условиях. 30 апреля мне пришлось видеть, как Кери руководит постройкой моста, разрушенного курдами... Он сам — первый таскал бревна, мало говорил и приказывал — но все как-то спорилось. Он вообще был медлителен, я бы даже сказал — «важен» в своих движениях. Дружинники его страшно уважали и любили. Слово Кери было законом для них.

После переправы он, точно юноша, шел по горам, где мы тащили пулеметы, и чувство усталости ему, казалось, было совершенно чуждо.

15-го, когда уже турки бежали, а я был в 3—4 верстах от лагеря, я узнал от встретившихся двух дружинников, что Кери убит. И мне стало грустно, что нет уже больше этого «гарибальдийца» и вместе с тем некоторая радость за него, что умер славной смертью. Умер, как жил — воином.

За апрельские и майские бои мне пришлось бывать вместе с дружинниками-армянами, и я вынес очень хорошее впечатление от них. Подавляющее большинство — престоное — очень много турецко-подданных. По жаре, по тяжелой дороге, они безропотно «прут» вперед. Часто не-

доедая, не высыпаясь, в оборванной обуви, навьюченные, как вообще пехотинцы, они невольно умиляли меня, и я любил их равной любовью, как и своего солдата-«земляка». В атаку дружинники идут великолепно — смерть, раны товарищей их только еще больше озлобляют — и они часто несут из-за этого еще большие потери. Если конных дружинников пустить вместе с казаками — то первые все полягут, только бы быть впереди.

Так, впитывая в себя боевой опыт — меняешь свои заключения. Надеюсь, к окончанию войны — мои выводы не будут скороспелыми и слишком неверными.

Если бы после 15-го хоть несколько дней мог посидеть спокойно — я бы цельнее описал тебе бои 13—15 мая, но как уже знаешь, в ночь на 17-е ушел в экспедицию.

Леонид остается до завтрашнего утра. Приезжал ко мне к завтраку, а после него пили бесконечно чай и кофе и говорили о красоте Армении, Персии и Туркестана. Оба жалели Виталия, ничего не видящего, кроме деревушек западного края.

Леонид отсюда проедет на Урмию—Хой—Ван—Битлис—Муш—Эрзерум. Места, где он еще не бывал. Об одном только Леонид печалится: не удалось ему видеть, как мне со снежных вершин — Мосульской равнины. Вид действительно упоительный. Сзади и с обеих сторон — хребты, по всем направлениям. А впереди еще верст на двадцать — несколько понижающихся постепенно хребтов, а за ними холмистая равнина, издали, кажущаяся серой, точно «взбаламученное море».

Красиво также ночью на вершинах гор. Далеко — по отрогам главного хребта — в полгоре, иногда выше, лепятся огоньки курдских деревень или биваков. Днем деревни не так-то легко различишь — теснятся по щелям, сливаются с горами. Ночью — огоньки как на ладони. Солдаты невольно приходят в изумление: «Когда же их чертей всех перебьешь!» В ночь на 15 мая — в девять вечера мы еще не доползли до вершины. Прошли уже область лесов, кустарника, началась полоса скал и камней — характерная для вершин. Влезаешь, в небе резко очерчена предельная линия. Добрался — о ужас — небольшая площадка, а от нее опять гора ползет вверх. И чем дальше, тем круче. Совсем уже стемнело. На счастье — ночь светлая, звездная. Тропинок никаких. Под ногами камни — небольшие, но готовые каждую минуту покатиться вниз. Все время страдаешь мыслью, оступится кто-нибудь, поскользнется, загремит вниз патронная коробка в 20 фунтов, искалечит кого-нибудь — или упадет другой, несущий одну из частей пулемета. Делал частые отдыхи и передышки. Если бы знать, скоро ли вершина. Решил, наконец, остановиться и послать разузнать.

На подъеме находилась группа камней, за которые можно усесться без риска скатиться с пулеметами. Площадки никакой. Все как шли (кроме пулеметов), сели, отыскав кое-какую точку опоры. Все время призывал — как можно бережнее уложить винтовку и коробки — чтобы не скатились. Солдат увещал так расположиться, чтобы не полететь во сне, если задремлешь. Уселся и сам с одним сапером-офицером. Стали закусывать хлебом

и салом, запивая водой. Смотришь вниз и ощущение — точно птицы сидим. Под ногами темно, все сливается в тени, — а вдали по хребту — что бежит верстах в 10 от нас — мелькают огоньки. Над тобой звездное небо. И вспоминал о тебе и детях. Те уже спят, а ты сидишь на балконе, пьете вечерний чай, разговариваете, а я один, заброшен в такие дебри Курдистана. Впереди холодная, бессонная ночь. Неожиданно скоро возвращается мой посланец — оказывается, мы совсем близко от вершины. Капитан Ильин даже костер зажег, чтобы дать нам знать. Но подъем такой крутой, что нам его было не видно. Пройти еще каких-нибудь 15 минут — и тут нечего и задумываться. Двигаясь осторожно, можно дойти — и, наконец, мы на вершине, — на «яйле». Через пять минут я уже наслаждался чаем из растопленного снега. На душе было сознание выполненной задачи. Все 36 коробок доставлены в целости, ни одна из частей пулеметов не утеряна.

Завтра Троицын день. Я забыл бы про него, но у нас в отряде появился батюшка. Молодой — всего 25 лет. Личная жизнь сложилась тяжело, потерял жену. Поступил в Казанскую духовную академию, теперь уже на втором курсе. Потянуло на войну и непременно в строевую часть. Хотелось на Запад, но попал сюда и очень рад. Наш отряд полгода не имеет священника, и батюшка чувствует, как он необходим. Отпевает павших, причащает умирающих, разъезжает по окопам. Сегодня устраивает спевки, — а сейчас трудится над сооружением церкви из ветвей. Счастлив, что добился возможности выпечь просфоры. Завтра бу-

дет служить молебен, а потом поедет по окопам. Сегодня ездил со мной к пулеметам.

Удивительно быстро уживаешься с местом. Стояли до третьего дня на равнине. После обстрела бивака благоразумие заставляло, конечно, переселиться. Между прочим, Леонид был поражен дисциплинированностью войск. Шрапнель рвалась над биваком — в общем ранило шестерых — и никакого беспокойства. Никто не бежал, и, если бы не разрыв шрапнели, — и в голову не могло прийти, что это происходит обстрел бивака. Может быть, благодаря этой выдержанности, — турки скоро и прекратили стрельбу. Видят — никто не бежит, лошади по-прежнему стоят на коновязи — невольно придешь к заключению, что стрельба твоя безрезультатна и не стоит тратить снарядов зря.

Но я отклонился в сторону. Пришли мы ночью в ущельице — сплошной камень, площадок и ровных мест почти нет. Стало так грустно, неуютно. Утешало, что батарейцы рядом с нами, был доволен, что и капитан Ильин с двумя ротами тоже в этом ущелье. (Леонид снял наш бивак.) И что же, на другой день уже заработала наша «кают-компания», и своих немало, и гости и посетители есть. Выровняли площадку, устроили стол. К вечеру в табель-дотной палатке совсем хорошо. Нет-нет и ветерок подует. Писать удобно. Чего еще желать? Разве только, чтобы поменьше мух было, уж больно одолевают своей массой. Здесь, поневоле, долго не поспишь. С рассветом просыпаются и мухи. Закрываешься с головой — душно.

Правда, на новом биваке не расходишься по гостям. До штаба версты полторы, да и неудобно оставлять свою часть. Не так скоро узнаешь новости. Но иногда не вредно расставаться с начальством. Как бы оно ни было благожелательно, все-таки оно остается «начальством».

Леонид с Алимбаровым ушли ловить сеткой рыбу. Рыба весьма нам всем приятна — внося разнообразие в наш скудный стол.

Детишкам сегодня уже не успею написать. Хочется дожидаться посылки. Завтра, послезавтра вопрос с ней должен разрешиться.

Приедут и письма. От тебя во всяком случае. Уже почти пять месяцев, как уехал из Петербурга. От Зайцева — одно письмо, от Лизы получил, только не от московской...

Леонид рассказал мне, что ему Алеша поведал тайну, почему он не подавал руки. Обещал раскрыть ее перед самым его отъездом — тогда уже ты не расскажешь. «Знаешь, почему я не подавал руки. Мне нетрудно было. Это потому, что я решил не подавать!!» Леонид очень расхваливал детей. Он давно их не видел, и в его глазах — они стали совсем иными — «взрослыми».

Скоро ли теперь увижу вас, моих дорогих? Конечно, не буду ожидать окончания войны — а как только представится возможность ехать в отпуск, воспользуюсь ею.

Целую тебя и кротов.

Твой Миша.

18 июля 1916 г.

письмо № 47

Все было не совсем так

Милая моя Марочка!

Нравы и обычаи «захолустного» фронта вступили опять в свои права. «Стальной щетиною сверкая», стоим друг против друга верстах в 10—12. Пули не летают, ничто не омрачает душевного спокойствия — полный мир и благоволение в человецех — но только днем. С наступлением темноты в душе поднимаются ночные страхи — наследие отдаленных пещерных предков. Что такое — значит, пройти за ночь 10—12 верст и с рассветом атаковать наши окопы! Я бы и за ночь не беспокоился, — но стою с «грузо» (грузинскими стрелками), а им куда против армян. С ними я свыкся и сжился, и на них я полагаюсь. А это «грузо», увы, до сих пор дали мне только отрицательный опыт. Постоянное, свое прикрытие — вот мечта всей нашей команды. По 50 человек на взводе — да я себя везде и всюду в полнейшей безопасности чувствовать буду. Да, ты не думай. Я и сейчас себя прекрасно чувствую и ничего другого не желаю, как постоять на этой позиции, хоть с недельку. И люди и лошади отдохнули бы. Температура идеальная, можно спать и утром и днем. Завтра, послезавтра привезут палатку, кровать. Устроюсь с комфортом.

Мои милые суддюзские холмы! Свежая зелень на них исчезла, побурели они, и только там, где пробиваются роднички, — ручейком вьется зеленая травка. Но и сейчас эти холмы близки мне своей обнаженностью. В какое идиллическое настроение я по-

321

грузился. А четыре дня еще только тому назад стрелял, кого-то лишил жизни, увечил, ранил. Что же тебе рассказать про бои 4—14 июля? Новое для меня было то, что это были бои с отходом или отход с боями, как хочешь назвать.

Все полезно испытать, в том числе и отход

Не желал бы только переживать «бегства» — когда исчезает дисциплина и всякий думает только о себе. Вообще же отходить жутко. Чувствуется у каждого животное желание очутиться впереди других. Откуда берутся силы идти, не останавливаясь, без привалов по несколько часов подряд. Я изумлялся, как взбирались люди на горы — казалось бы, устали уже без этого. Этот «ветер в пятках» злил меня до бесконечности. Меня возмущало до глубины души это подленькое, гаденькое чувство поскорее унести свою драгоценную шкуру от опасности. Не знаю почему — но я был полон уверенности, что мы выберемся благополучно. Во вторую ночь отхода — отряд наш вышел из капкана только чудом. Иначе никак объяснить нельзя.

Нам надо было пройти 3—4 версты ущельем, правые горы заняты турками. Конец левых гор — у выхода — никем. Достаточно было посадить туркам роту у выхода из ущелья, — чтобы нас зацапать в ловушку. За себя и команду опять-таки я не опасался. Полез бы на левые горы, а там с Божьей помощью стал пробираться бы дальше. Местность мне в общем знакома. Но транспорт раненых и больных — орудия, обоз, — ведь в панике все бы бросили. Когда вышли из ущелья, то перекрестился. Я шел в арьергарде.

Турки, мне кажется, были чрезмерно осторожны. За ночь мы отходили спокойно, к утру занимали позицию, вели бой, а с темнотой вновь уходили. Но отходили так уверенно, что даже две «дневки» было — во время которых, правда, некоторые части в арьергарде вели бой. А 13-го мы сами перешли в наступление и взяли пленных. Я и раньше ценил нашего генерала Р. — за время отхода еще больше научился его уважать как хладнокровного и мужественного человека.

22 июля. За это время получил ряд твоих писем. Последнее от 8 июля — это сегодня, когда ты переехала в С.-П. Одно из писем было очень грустное, где ты жалуешься на Верушку — на свое одиночество. Я как раз писал письмо это, и как-то сразу упало настроение описывать свои военные приключения. Что я отсюда могу поделать? Одно у меня чувство живет, что я вернусь и все наладится, и с детьми, и с твоим здоровьем.

Казалось бы, столько случаев было пропасть за этот отход: в ночь с 14 на 15, когда сделали 25 верст по горам, рискнул быть отрезанным от главных сил. Да и все это время, даже и не упомянешь — сколько раз был под обстрелом. Письмом же о занятиях детей ты меня утетила. Я, в сущности, предупредил тебя, сообщив свое предположение еще из Ровандуза о том, чтобы уже этой осенью определить училище. Я склоняюсь к Тенишевскому. А заниматься лучше всего тебе самой. В сущности, много ли с ним занимаются — 4 раза в неделю. Ты сама больше можешь уделить время. Насчет училища сходи, посоветуйся с Ягодовским. Он преподает — или до самого последнего време-

ни — преподавал в Тенишевском и вообще осведомлен в этих вопросах.

А с Алешкой ты чудесно подготовишься, и деньги в кармане, которые ты можешь истратить вполне заслуженно на себя (мне тоже подарки).

Насчет Артека, все твои проклятия по его адресу не могут поколебать моего твердого намерения — взять именно землю (дом не надо). Земля не будет требовать расходов, а в будущем — если уж так захочется продать, то 2 десятины будут стоить 20—25 тысяч рублей.

Словом, бери землю, хоть пустырем, но побольше. В Крыму земля начинает терять свое сельскохозяйств. значение и делается предметом роскоши. Поверь всем моим скромным политико-эконом. знаниям.

Насчет отъезда колебаний у тебя быть не должно. Уезжай вместе с Верушей.

Твоя экономия меня удовлетворяет. К 1 сентября и у меня будет рублей 400, но они все уйдут, если поеду в отпуск. По дороге я проем, по крайней мере, рублей 100.

Сейчас у меня аппетит прямо чудовищный. Очевидно, раньше действовала жара. При ней только очень хороший стол мог бы полезть в горло. А здесь я уничтожаю мясо, жаренное на сале. Вчера съел курицу! Привезли из обоза. Весь день пью чай с хлебом и шоколадом. Ты знаешь, и вторую посылку я получил: фуражку, рубашку. Кулич там оказался исправным. Шокол. яйца.

Так жалко, что ты больше не посылала посылок! Теперь так легко получать их. Я в течение недели три раза письма и газеты получаю.

Из обоза привезли мне фунтов пять абрикосового варенья. Через неделю пошлю чиновника в Тифлис.

Сплю на кровати. До рассвета, впрочем, сижу в окопах. А там иду к себе, раздеваюсь и сплю до 8—9. Потом весь день валяюсь и хожу в одном белье, ем и пью. Приходится заниматься канцелярией и подтягивать Алимбарова, у которого проявляется сильно лень и неаккуратность, собственная «грузо».

Лучше здесь не хочу устраиваться. А то сейчас куда-нибудь передвинут. Это у нас уже примета. А нам здесь очень хорошо, даром что «позиция».

Есть теперь и книги. Прочел «Сентиментальное воспитание» Флобера. От мамы получил два письма. Оба еще в Ровандузе. Трогательные.

Шурка уже в школе прапорщиков. Был бы более рад, если бы туда взяли Андрея. Виталий был в шести боях. До 1 июля чинил свою машину.

Вся моя усталость, кажется, уже прошла. Но как были тяжелы некоторые ночные переходы. Спать хотелось — до боли. Едешь верхом, дремлешь, качаешься. Того и гляди — слетишь. Чтобы разогнать дремоту — идешь пешком. В своей усталости доходили до иллюзий или галлюцинаций. Придорожные кусты и деревья принимали самые причудливые очертания. Помню — один раз, — но уже не могу точно сказать — стоял ли я во время остановки, или шел — я принял куст за свою верховую лошадь и положил на «седло» руку — и в то же время чувствовал, и сознавал, что это не лошадь, а куст.

Я своими глазами видел, как люди засыпали на ходу. Бердников вел лошадь и сразу остановился, покачнулся и пошел дальше. Заснул на секунду. А когда делали небольшой привал — то вся колонна мгновенно ложилась и засыпала в самых разнообразных положениях. Засыпали, опускаясь на землю. Это был сон без сновидений и даже, думаю, подсознание не работало в эти минуты. Это была вторая бессонная ночь подряда, — а перед этим сутки отдыха, а до того трое бессонных дней и ночей. Такой тяжелой ночи я не переживал еще за походы. Но странно — с рассветом усталость проходила — чувствовал себя бодрым. Наутро предстояла дневка. Мечтал отдохнуть, разделся. Но начался обстрел бивака, и отдых был испорчен. За этот отход я был удивительно равнодушен к пулям и артил. обстрелу. Так как все это как бы вошло в обиход — то не было никаких мыслей насчет «грядущего дня». Не хотелось нисколько «уйти» от опасности («хоть бы ранило»), было желание поспать — поесть как следует, перестать ходить, а главное, лазить по горам. Должен был бы, казалось, покаяться, но нет, чувствую себя правым. Одного обозного «старшего» (все случаи с посторон. частями) — оттащали за бороду: не возбуждай паники. При отходе по ущелью (что нарисовал) за шиворот и нагайкой разгонял солдат, толпившихся, как бараны, у воды (дать стоять, надо было час потерять — в эту-то ночь!). Хлестнул сапера, загородившего дорогу со своим буйволом — частям, спешившим занять позицию, дабы под своей защитой пропустить главные силы. Последний случай: подгонял нагайкой пять человек из своего прикрытия. Ото-

рвались. Я пропускаю команду — думал все прошли. Оказалось, нет. Отстали. Дождлся и всех награбил по удару. Взять последний случай. Какая жестокость, скажут. Ведь усталые. Конечно, иначе развели бы отставать и идти, не имея сзади уже никого. Так, чем же другим их и подогнать, как не страхом непосредственной грозящей боли. Я пошел сзади всех них. М. б., они и не заблудились бы (дороги не знали, а я знал направление) но жалость брала, как только подумаешь, что бы они переживали, идя ночью, одни, без офицера. А со мной им было спокойно. Они видели, что я их не бросил и не брошу, и что со мной они отстреляются. Команда с прикрытием шла впереди с версту. Так здорово отстала. Шли по щели. Было немного жутко. Нет, совесть моя чиста. Суди меня Бог и Великий Государь!

Ну, довольно. Мне все кажется, что тебе это мало интересно. Ты никогда не откликаешься.

Целую тебя, Марочка, и ребят. Привет всем, всем.

Надеюсь, письмо дойдет недели через две.

Твой Миша.

ЭПИТАФИИ

(Жизнь загробная)

«Под камнем сим лежит супруга купца второй гильдии Скачкова Мария, которая прожила 54 года 7 месяцев 6 дней без перерыва».

* * *

«Генерал-аншеф Иван Ильич Дмитриев-Мамонов. При погребении его превосходительства были ду-

ховные чины, генералы, фельдмаршалы, сенаторы. И при оном минутная пальба была пушечная и три залпа беглым огнем»

* * *

Михаил Леонтьев:

«В земные недра скрыто тело героя, терзавшего врагов отечества»

* * *

Виневитенов Д.

«Как знал он жизнь,
Как мало жил!»

* * *

Петр Клочков — 1831, купец

«Покой наш есть земля.
Там будут люди, червь и я».

* * *

Война — это каторжная, немереная работа, труд окаянный. Добывать дрова — откуда? Сушняк неси — откуда? Кругом! Чистить окоп от снега. — Хоть бы лопата была совковая. — Отставить разговорчики!

Драить винтовку. Носить ящики с патронами, минами.

Прожаривать вшей.

Копать ровик под нужник.

Чинить блиндаж.

Добывать бревна под накат.

Стирать гребаный подворотничок.

Скоблить свою щетину.

Носить воду из ручья нельзя, заразный, до ко-
лодца топать и топать. Там чем-то надо лед разби-
вать. Могилы копать — земля ведь мороженная —
штыком ее раздолбал — завернуть его в шинель, а
шинель уже сперли — хоть в занавеску, в доме у
стрелочника висела... — твоя очередь за мылом в
хозроту.

Ночью отправляемся всем взводом в поле за
хряпой, наша очередь собирать. Во взводе четыре
человека осталось, привязывают их веревкой, по-
могают из окопов тащить, сил нет ползком с хря-
пой добираться.

* * *

Хоронили в крематории мою героиню Клавдию
Денисовну Вилор. Представитель райкома сказал:
«Сегодня мы прощаемся с телом Клавдии Дени-
совны».

* * *

Диалог:

— Что поделаешь, надо жить.

— Надо, но зачем?

— Но если не жить, то чем же еще заниматься?

* * *

«Я живу в деревне среди глубокоуважаемой мною
природы», — написал мне один из читателей. Луч-
ше и не скажешь, формальное выражение это вдруг
обрело свою прелесть.

Люди легко обходятся той порядочностью, которой обладают.

* * *

Вчерашняя победа ничего не стоит, победить надо сегодня. Но много стоит вчерашнее поражение.

* * *

В одном из своих стихотворений Наум Коржавин писал:

*Да! Мы в Бога не верим,
Но полностью веруем в совесть,
В ту, что раньше Христа родилась
И не с нами умрет.*

А. Н. ТОЛСТОЙ

В своих романах и повестях А. Н. приоткрыл невероятные возможности любви, ее таинственные силы. Герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев рассказывает:

«Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое...»

Это любовь преобразует твоё восприятие, ослепляет, оглушает. Но и наоборот, любовь совершает с влюбленными чудеса. Меня всегда изумляла сцена объяснения в любви Кити и Левина в

«Анне Карениной». Он пишет начальные буквы мелом на столе: *к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э, н, и, т.* И происходит чудо, она, Кити, понимает всю эту буквачину и читает: «Когда вы мне ответили: *это не может быть*, значило ли это, что это никогда, или тогда?»

Вопреки всем вероятностям Кити безошибочна, она и сама уверена, пишет Левину: «т, я, н, м, и, о», и Левин, «он вдруг просиял: он понял. Это значило: "тогда я не могла иначе ответить"».

Так они переписывались, понимая, угадывая длинные фразы, и это не кажется невероятным. Объяснение в любви создавало взаимопроникновение чувств друг друга без слов. Меня восхищала убедительность этих открытий Толстого в сложнейшей науке, науке любви.

Не знаю, можно ли употреблять такое понятие — «наука любви». Имеет ли любовь законы? Может, это все же искусство? Всепроникающий глаз Толстого дает больше чем философию любви, это постижение того, что творится в любящем сердце. Перефразируя одного философа, Толстой «задирает юбку» сердца.

Толстой дальше других проник в природу любви. Понять природу любви, значит понять природу женщины, а вот здесь почти все философы, психологи, даже поэты терпели поражение. «Сердцу девы нет закона» — так заключал Пушкин. Чтение по начальным буквам сперва показалось мне литературным приемом Л. Толстого, но однажды я вспомнил, как в январе 1942 года я написал с фронта письмо Римме, там было под конец: «Мы окружены намертво, вряд ли вырвемся, у меня нет надеж-

ды, я хочу, чтобы ты знала, что я уйду с благодарностью тебе, ты столько дала...» И так далее, не помню уже, но очень прочувствованно. Потом оказалось, что цензор весь этот кусок вымарал, очевидно, за безнадегу. Римма написала мне в ответ все, что она там прочла, именно прочла, хотя цензура вымарывала какой-то тушью намертво. Прочла, процитировала мне, возмущенная тем, что я не надеялся на ее молитвы.

* * *

В белых халатах, белых шапочках они вроде все одинаковы, а нет, наоборот, обнаруживается разница каждой: ее румянец, у этой легкая смуглость, у той пушок на щеках, локон на лбу, черный блестящий водопад волос...

* * *

Николай Александрович Козырев был у нас дома в 1976 году. Рассказывал о своей теории времени. Время имеет свойство материи. Когда в термосе смешивали горячую воду с теплой, время вблизи термоса уплотнялось. Процесс шел энергичнее.

Он выступал с лекциями, собиралось много народу. Такие сенсации местного значения возникают и вскоре лопаются, как пузыри.

Излечение рака, снежный человек, чтение мыслей...

Сколько их было. Но любопытно то, что полного доверия, серьезного отношения они не вызывали. Какова судьба Козырева — не знаю.

Июль, август, сентябрь — три месяца 1941 года — разгром Красной Армии, отступление, бегство, плен, окружение...

Появились вопросы, на которые не было ответа. Сами эти вопросы еще недавно были невозможны. Стало проясняться, мы увидели, что связь не работала, телефоны в ротах, в полках были такие допотопные, как в Первую мировую войну. Не было радиосвязи. Это в стране, которая гордилась тем, что изобрела радио. Не было отечественных танков, мы получили старенькие БТ, английские «Черчилли», «Матильды», «Валентины». Они горели, как бумажные. Не было карт. Не хватало снарядов. Не было мотоциклов. Не было оптических прицелов. Не хватало биноклей, перископов... Я могу судить лишь о том, что творилось в самом низу, на солдатском нашем уровне. За что ни возьмись, мы оказывались не оснащенными. Говорить об этом не разрешали — пресловутая «окопная правда», за которую так поносили военную литературу — повести и романы, написанные бывшими солдатами. «Окопная правда» не сходилась с правдой генеральских мемуаров, правдой штабов, сводок Информбюро, газетных очерков. У солдат была правда драпающих частей, потерявших управление, правда окруженных дивизий, армий, когда в плен попадали десятками тысяч, правда преступных приказов командующих, которые боялись своих начальников больше, чем противника.

В 1967 году вышел том в 750 страниц: «Ленинград в Великой Отечественной войне». Отступле-

нию войск Северо-Западного фронта к Ленинграду уделено в нем всего восемь страниц.

НА ТОМ СВЕТЕ

Аркадия Кругликова, тяжело раненного, привезли в распредгоспиталь. Он тогда, в 1942 году, помещался в Александро-Невской лавре. Положили на каталку, повезли. Коридор. Длинный. Своды расписаны — небеса, парят ангелы, лики святых — вся эта картина движется над ним. Открывает глаза, закрывает, забытие проходит, наплывает, он понимает, что уже на том свете. Везут, видно, в чистилище. Наверное, не везут, он туда плывет. Кладут на операционный стол. Усыпили. Пришел в себя в палате. Никак не мог понять, что с ним было. Жизнь после смерти? Не иначе как загробный мир повидал. Рассказал об этом в палате. Постепенно утвердился, уверовал, что побывал на том свете. Его расспрашивали, журналисты записывали.

Однажды, спустя много лет, он приехал в лавру, там помещался НИИ. Ожидая приема у начальства, ходил по коридору, курил. Увидел роспись. Что-то знакомое. И вдруг вспомнил. Сообразил, как все было. Стало смешно, стыдно и жаль, словно лишился чего-то.

* * *

Глина, из которой Бог делал Адама, была не китайской, не индийской, обыкновенная глина.

Большую часть жизни я жил материалистом, а также атеистом. Душа — это мистика. Так мне внушили в школе и институте. Все было просто, удобно, и никаких опровержений. Но с возрастом — и чем дальше, тем больше — какая-то путаница началась. Маленький вопрос: «А что, если что-то имеется?» — стал расти, а спросить было некого. Церковь — учреждение заинтересованное, там не сомневаются, философы — у каждого свой ответ, а вопрос для меня все более становился безответным, и в том — я чувствовал — его сила. И неотступность. «Верю» — заклинание, «не верю» — тоже заклинание. «Не верю» ведь тоже бездоказательно. Если душа есть, то она как — бессмертна? А какая у нее судьба, а что с ней происходит после всего, что произойдет с ней после того, как меня не будет? Несчастливая моя душа, куда она подевается? Где найдет приют?

В зале сидело примерно человек двести. Студенты и преподаватели. Между прочим, гуманитарного университета, к тому же филологический факультет. Задавали всякие вопросы. Я давал всякие ответы. Встреча с писателем происходила по издавна установленным (неизвестно кем) канонам. Было скучно. Я вдруг подумал: почему они могут спрашивать, а я не могу? У меня тоже есть вопросы, я тоже хочу получать ответы. Не важно, что передо мной молодые, молочновосковой спелости субъекты. И я задал свой неотвязный вопрос: кто из вас признает у себя наличие души? Не просто отвлеченного понятия, не «вообще», а некоей субстанции — участницы вашей жизни.

Я сделал паузу.

— Поднимите руки!

Как вы думаете, сколько рук поднялось? Двенадцать. Всего двенадцать!

Шел 2008 год — семнадцатый год от кончины советской власти и вместе с ней диктатуры диалектического материализма. А душа все еще пребывала религиозным устарелым понятием. Она годилась для Платона, Аристотеля и прочей древней публики.

В следующий раз я повторил этот вопрос студентам хантымансийцам. Опять был зал и тоже человек полтораста. Поднялось рук двадцать. Для них душа существовала, для остальных нет. А на нет — и суда нет.

Когда-то Владимир Даль определял душу так: «Жизненное существо человека, воображаемое отдельно, от тела и от духа».

Некоторое время спустя после этих экспериментов я попал в больницу по случаю инфаркта. Меня срочно привезли и срочно положили на операционный стол, распластали. Бригада врачей-кардиохирургов удалилась на совещание смотреть мои данные. Я видел их за стеклом, как в американских криминальных фильмах. Они там совещались по поводу моей судьбы. Видел, но не слышал. Сам я после всех принятых болеутоляющих удалился из своего тела и витал в этом операционном зале, наблюдая за собой и за тем, что творилось там, за стеклом. Не знаю, может быть, я, освобожденный от брэнной своей оболочки, и был в это время душой, смотрел, не имея возможности вмешаться в разговоры хирургов. Они решали на основании

того, что оставили мне в наследство отец с матерью, какой организм, какие данные, и на что я их потратил за свою безалаберную жизнь. Свои легкие, свое сердце, свои нервы и прочие материалы. Наверное, итог был печальный. Я думал о том, что, конечно, можно было побереечь отпущенное мне родителями и к этому критическому моменту быть поздоровее, но это все уже было поздно и бесполезно. А еще я думал о том, что вот сейчас мне сделают операцию, и если ничего не получится, то вот тут-то наконец и выяснится про душу. Наконец я узнаю... Тут появились хирурги и сказали, что будут делать мне операцию, и попросили моего согласия. Я согласился, подписал бумаги. Операция началась, и я на экране монитора мог наблюдать, что творится с моим сердцем. Все кончилось благополучно. Тогда я спросил у хирургов:

— Вот вы имеете дело с сердцами людей, что это за орган — сердце?

На что они мне заявили категорическим тоном:

— Сердце — это всего лишь насос, и ничего другого, и выкиньте из головы все свои литературные загибоны.

— А душа? — спросил я.

— А эту штуку мы вообще никогда не наблюдали. Сколько мы делали операций, рассекали грудную полость — ничего оттуда не вылетает. Через нас проходят тысячи, и ни у кого никаких признаков не наблюдалось.

Я понимал, что такое чисто технологическое представление о сердце им необходимо для спокойной уверенной работы. А с душой они вообще дела не имеют. Она неоперабельна.

* * *

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают и уже нет им воздания, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем».

Безжалостны библейские слова. Они не оставляют утешения. Они, как ни странно, как бы уводят от веры в вечность человеческой души. Но так ли бесспорна их суровость?

* * *

Наконец однажды я раздобыл данные о гидростанциях. Они в общей сложности похоронили под водой 12 млн га. Четыре Бельгии. Куйбышевское море затопило 20 тыс. км². Одно лишь сено, собранное с этих площадей, если его использовать, как топливо, дает энергии больше, чем Волжская ГЭС. А сколько денег тратят на борьбу с размывом берегов, на борьбу с сине-зелеными водорослями!

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

Кроме таланта, образования, везения, есть еще Случай. Его надо писать с большой буквы. Мы обязаны ему многими открытиями, изобретениями. Он один из творцов нашей цивилизации.

Чарльз Гудьир (1800—1860) большую часть жизни занимался резиной. 31 год! Не знаю, чего он достиг, но однажды он нечаянно уронил кусок пропитанной серой резины на горячую плиту и уви-

дел, что она стала твердой. Так была открыта вулканизация каучука.

Рано или поздно это произошло бы, но случай не претендует на звание Создателя, он лишь протягивает руку, озаряет, то есть зажигает свет в сумерках.

* * *

То, что небо живое существо, сомнений у меня не вызывало. Звезды мерцали, переливались, что-то там происходило. Если б у нас был знакомый астроном, он мог бы подхватить мой интерес. Я ночью вставал, чтобы смотреть на небо.

* * *

— Справедливость — это удовлетворенная зависть.
(М. А. Леонтович)

* * *

Леонтович и Ландау называли физика И. Р. Пригожина, Нобелевского лауреата, «бесстыдным трепачом».

* * *

— Солидность — удел дураков.
(М. А. Леонтович)

* * *

Майор красавец, усики, как часовые стрелки, волосы завитые блестят, словно отлитые из шоколада, плечи, фигура — атлет, пригласил Катю к себе. «Я сразу поняла, зачем. Приехала. Я не возражала, мне давно хотелось иметь такого гвардейца бой-френдом. Попили чай. Он снял китель, остался в

голубой майке, снял брюки, черные трусы, войлочные шлепанцы, и все стало неинтересно. Понимаете, как будто муж, с которым я много лет. Даже смешно. Животик у него обозначился. Уехала я тут же, ничего не стала объяснять, он, бедный, так и не понял, почему».

* * *

Физики в буфете обсуждали, почему сосиски лопаются вдоль, а не поперек. Потом перешли на другую тему — с какой скоростью надо бежать по воде, чтобы не утонуть.

* * *

Те, кто в провинции поменьше смотрят TV, где хотя бы каналов поменьше, там люди лучше, и добрее, и терпимей.

* * *

Нам надоели банальности, но без них не обойтись, мы больше страдаем от новаций.

ПЕРВО-БЫТНЫЕ

Меня приняли в Союз писателей в 1956 году. Ленинградская блокада, война многих погубила, но я еще застал писателей из тех, что начинали до революции. Была среди них Евгения Ивановна Фортунато, рослая пышная седая дама. Разговаривая, она приставляла к уху большую медную трубу. Старомодный аппарат для людей глуховатых. Умерла она в 93 года, и лишь на похоронах я узнал, какой

популярной детской писательницей в России она была, сколько пьес написала. В юности она дружила с С. Рахманиновым. Она закончила филологический факультет Сорбоннского университета и с 1897 года начала печататься. Романы, повести. Дед ее, Чистяков М., был знаком с Жуковским и Пушкиным, в их доме бывал П. И. Чайковский...

Я считал ее всего лишь забавной старухой, принадлежностью безвозвратно устарелой литературной жизни, архаикой, тех пыльных, книжных завалов, куда никто не заглядывает.

Живы были М. А. Сергеев, который когда-то возглавлял знаменитое издательство «Прибой», литературовед Максимов. В нашем доме жил писатель Илья Груздев, один из близких друзей М. Горького. Он воевал еще в Первую мировую, получил два Георгиевских креста. И был еще один сосед — Николай Григорьев, участник Первой и Второй войн. В Гражданскую он командовал бронепоездом. Автор многих книг для детей.

Честно говоря, меня тянуло больше к «старорежимным» писателям, и той университетской их части, потомственным питерским интеллигентам. Там царил другой язык, другой юмор, были другие ценности. Мы были все в одном Союзе писателей, но внутри Союза четко выделялись разные группы. Отношения у них были сложные. Появился термин: «групповщина». Формировались по интересам, по идеологическим разногласиям. Были деревенщики, почвенники. Сословно делились внутри себя переводчики, очеркисты, фактисты. Кроме того, граница проходила между интеллигенцией, либеральной частью и казенной, «автоматчиками» и большеви-

ствующей. Литературная среда, хочешь не хочешь, всегда произвольно образует салоны, делится на своих и чужих.

Я был пришлым. Поначалу меня пригрели фронтовики: Дудин, Орлов, С. Давыдов, Д. Хренков, были там бывшие танкисты — Аквилев, В. Курочкин, был Герман Гоппе, Глеб Пагирев, ребята, порядком изувеченные в боях. Но почему-то память о войне меня в те годы тяготила. Хотелось бы от нее отдалиться. Я долго пребывал в Союзе сам по себе. Я вижу себя в ресторане Союза, ходит этот парень между столиков, не знает, куда присесть. Всюду свои компании, идет свой треп. Однажды его пригласили. Там сидели Ольга Берггольц, Юрий Герман, Леонид Рахманов, Владимир Орлов, Евгений Шварц и Михаил Слонимский. Усадили. Это было как бы признание. Он был допущен. Почему он придавал этому такое значение? Да потому, что у них был свой счет. Значит, достоин. Еще важнее для него тогда было то, что они представляли Храм, жрецы Храма литературы, для них литературное дело было служением. Да, был еще, кажется, Юра Макогоненко. Понятие «писатель» означало нечто возвышенное — так он воспринимал этих людей. Независимо от таланта, успеха, положения, нет, они ценили именно бескорыстное, чистое служение литературе.

ГРЕКИ НАЗЫВАЛИ ЭТО — ОКСИМОРОН

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы. К подножию Мавзо-

лея солдаты бросали немецкие знамена, штандарты разбитых германских дивизий, простреленные, опаленные, кидали на землю с чувством, которое и определить невозможно — вот она, завершающая долгожданная минута, о которой мечтали все четыре года войны. Как она будет выглядеть, не знали, знали, что она будет, и теперь все верили, что только так и должно быть.

Церемония была разработана во всех деталях. Естественно, Сталин должен был лично принимать парад. Оказалось, что он не умел ездить верхом. Попытался и упал. Пришлось уступить честь Георгию Жукову, а значит, и весь распорядок торжественного парада, последнего парада Великой Победы. Верховному оставалось смотреть с Мавзолея, как Жуков на белом коне въезжает на площадь, как принимает рапорт маршала Рокоссовского, как они верхами объезжают войска, гарцуют, словно его, генералиссимуса, самого главного, тут нет. Микрофоны разносят цокот копыт, десятки телевизионных и кинокамер следуют за маршалами, весь мир старается навечно запечатлеть это торжество. Все взгляды устремлены к Жукову, любуются им, получается, что это он был Главный Полководец Победы. На всех экранах страны показывают его. Здоровенный, плечистый, ему адресованы все восторги. Не хватало только пурпурного плаща и лаврового венка триумфатора. В последний заключительный миг история вильнула, предоставив торжество другому.

Отличный кавалерист, Жуков держался с подчеркнутой молодцеватостью, конь под ним играл, Жуков чувствовал на себе холод рысских глаз вож-

дя. Отлично понимал, что сейчас происходит и что произойдет дальше. Он достаточно изучил этого человека, но праздника своего уступать никому не собирался.

Как говорится, тонуть, так в море.

С чего-то все начинается, с какого-то первотолчка. Вскоре появилось «дело Жукова». В марте 1946 года арестовали главного маршала авиации А. Новикова, с него стали собирать компромат на Жукова. За «делом авиаторов» появилось «дело артиллеристов». Новиков заупрямился, отказался дать показания на Жукова, тогда ему сочинили заявление о том, как Жуков умалял роль Верховного и выпячивал свою. Подпись выбили. Резиновыми дубинками. Избивали до потери сознания одного за другим боевых командиров из окружения Жукова. Следователи топтали ногами окровавленных генералов, материли — Крюкова, Минюка. Арестовали министра авиапромышленности...

Затеяно было дело на флоте. Пострадал адмирал Кузнецов, адмирал Галлер, следствия не прекращались. В 1950-м расстреляли генералов Гордова и Рыбалченко, всех не перечислить. Сталина раздражало, что на Жукова не удавалось добыть серьезных показаний, генералы не поддавались. Недавние герои войны, видно, возомнили о себе невесть что, надо было поставить их на место.

Громких процессов, однако, не проводили, так, чтобы публично, доказательно. А хотелось вернуть тот трепет, что царил перед войной. К прежнему страху — прежними способами! Других не знали. Беспощадно! Не только генералов. Со всех офицеров, солдат надо было посбивать спесь. Отменили

празднование дня Победы. Это был самый дорогой, душевный народный праздник. По всей стране в деревнях, на заводах отмечали бывших солдат, что-то дарили им, плакали, поминая погибших, надевали ордена, медали.

За эти самые ордена перестали платить. Платили гроши, мне 15 рублей и 20 за два ордена, все же чего-то набегало, проезд оплачивали. Упразднить!

Поступило и негласное указание — хватит щеголять орденами. Ленинград очистили от инвалидов, называли их «самовары», те что без рук, без ног; от «самокатчиков», которые, грохоча, катились на деревянных тележках. Говорили, что усадили их в колонию на остров Валаам. Так солдатам вправили мозги, а то нагладелись по заграницам, затарасились на ихние хутора каменные, холодильники, стиральные машины и прочие идеологические ловушки.

А что прикажете делать, если в стране начинался голод? Сперва вину возложили на председателей колхозов. Около тысячи их репрессировали. Не помогло. Колхозники получали по сто, полтораста граммов хлеба. Пухли с голода, спасались бегством в города. Жена рассказывала мне, в Воронеже, где она жила, у них в подъезде умерли двое детей, беженцы из деревни. Это Центральная черноземная область! То же самое творилось в Молдавии, на Украине, на Северном Кавказе. Дали старт кампании антисемитизма, палочка-выручалочка. На партсобраниях выставляли участников сионистских заговоров.

Заработала машина доносов, подслушки. Репрессировали более 70 генералов. Есть такая цифра: в

1945 году в лагерях сидело 600 тысяч человек, а в 1947-м — 1 108 000. То есть за два послевоенных года почти вдвое возросло число сидельцев. В честь Победы! Одновременно накачивали славу Сталину — гению всех времен и народов, личность богоподобная, гигант.

Одна кампания следовала за другой: борьба с космополитами, с преклонением перед Западом, с формализмом в музыке, с дрозofiлами, врачами-убийцами!

Так же, как на фронте, где гибли наиболее смелые, те, кто не увиливал от боя, так и теперь в этих кампаниях карали самых ярких, талантливых. Весь этот шабаш чередовался с разумными делами, ибо не может страна жить в постоянных бедствиях. Отменяют блокаду Западного Берлина, объявляют план «преобразования природы», снижают цены на продукты. Одни миллионы подыхали в концлагерях, другие миллионы с энтузиазмом восстанавливали разрушенные города. Прошли успешные испытания атомной бомбы. Ложь, страхи, пытки, голодуха мешались с верой в светлое будущее и в мудрость великого кормчего. С невиданной пышностью отметили семидесятилетие вождя. Приветствия ему печатали в газетах полгода подряд. Понять, как совмещались для одного гражданина эти чувства — невозможно.

Когда на XX съезде партии Хрущев разоблачал культ личности Сталина, он не касался самой личности. Осталась непонятой природа сталинской жестокости, откуда в нем такая жажда власти, подозрительность. Личность его стала загадкой. Под со-

мнение попал и его полководческий гений, казалось неоправданным его душегубство. Материалы, оглашенные Хрущевым, были настолько чудовищны, что не укладывались ни в какой характер. Зачем Сталин так зверствовал? Во имя чего? Факты множились, цифры уничтоженных достигали сотен и сотен тысяч, процессы над врагами народов оказались фальсифицированными. Шла реабилитация, и мы вообще остались без врагов народа, что было непривычно, это как-то сразу опустошило нашу историю, мы никогда не жили без врагов.

Партия, страна начали освобождаться от очарования Сталина. Вместо Отца Народов проступали черты Дракона, нечто дьявольское. Бесчеловечные поступки его зачастую не находили смысла. Появилось много работ, исследований, где излагали свои версии, создавали новые и новые образы Сталина. Что двигало им? Гениальный злодей или торжество посредственности? А может, его создала Система? Было ли для него что-либо святое? Кто он — Демон? Антихрист? Как мог он так одурачить народы, заставить поверить в свое величие, чем он мог привлекать к себе, внушать уважение самым разным людям, от Фейхтвангера до Черчилля?

Ему приписали Победу в Великой Отечественной, разгром Гитлера. Даже если так, то все равно, когда один дьявол побеждает другого, он не становится ангелом.

Каждый человек тайна. Тайна Сталина связана с тридцатилетней историей великой страны, которая так много значила для всего мира, так что можно считать, что это часть мировой истории.

Литература о Сталине разрастается. К сожалению, в ней мало фактов о его внутренней жизни, вход туда он закрыл для всех, известна его замкнутость. Друзей у него с годами не осталось — одни умерли, других он сам уничтожил — слишком много знали, так что со временем мир его был опустошен. Одиночество, судя по всему, не тяготило его, ничего не поделаешь, великому руководителю одиночество положено. После гибели Надежды Аллилуевой считается, что его не посетила серьезная любовь, не было и необходимой обыкновенным людям семейной привязанности к детям, внукам, того, что так смягчает душу.

Я не историк, тема Сталина для меня появилась неожиданно, когда я попытался разобраться с причинами «Ленинградского дела».

Книга Б. С. Илизарова попала случайно. Она поразила меня. Автор, профессионал-историк, много лет изучал материалы о Сталине. Вжился в своего героя с истовостью ученого. Открытием был тот ход, по которому он мог проникнуть во внутренний мир Сталина, так тщательно укрытый от всех. И это было самое примечательное. Не догадки, не домыслы, он проник в хранилище сокровенных чувств, переживаний, раздумий Сталина. Выражались они через пометы и замечания Сталина-читателя на книгах его библиотеки. Пометы делались цветными карандашами — то синим, то красным, иногда на полях появлялась словесная запись, сделанная в сердцах: «так его!», «ха-ха», «это ужасно!», а были и целые фразы — его спор, его раздумья, были знаки сомнения, были — согласия. Годы потратил Илизаров, чтобы расшифровать, изучить

различия в пометах, сопоставить с текстом. Ценность этого материала была в его достоверности. Читательская реакция непосредственна. Помните, как Татьяна видит в книгах Онегина:

*На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.*

Старинная привычка, книга единственный вид искусства, где возможен интимный, никому неизвестный диалог с авторами любого ранга, любой эпохи.

Круг чтения Сталина, естественно, включал политику, историю, Кропоткин, Каутский, Бисмарк, Людендорф, Тарле, Бернштейн, Гитлер «Майн кампф», хотя, признаюсь, уже такую начитанность я не ожидал, и уж совсем неожиданным был перечень читаемой им художественной литературы.

Известно, что он внимательно следил за литературными журналами. Почти все романы, повести, стихи в сталинские времена и позже печатались в журналах и лишь потом издавались книгами. Александр Фадеев и Алексей Сурков рассказывали, что, когда у Сталина обсуждали списки на Сталинские премии, Сталин мог огоршить их, выдвигая произведения, которых не было среди кандидатов, порой еще не читанные ими. Так он назвал роман «Спутники» Веры Пановой, однажды упомянул книгу Некрасова «В окопах

Сталинграда», по поводу нее у руководителей Союза писателей были сомнения.

Советская текущая литература читалась как бы по должности, главный идеолог страны мог находить здесь скрытые выпады в свой адрес, покушения на устои, тонкую двусмысленность, то, что проморгала цензура. Самым любопытным для меня было чтение им классиков. То, как он читал Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Анатоля Франса. Их тексты высекали искры, освещая на миг скрытые уголки его души. Вот эти миги Борис Илизаров ловит и предъявляет нам. Пойманное неопровержимо: «...душа себя невольно выражает».

Так Сталин выделяет мнение героя «Воскресения» князя Нехлюдова об одном из революционеров и пишет на полях свою формулу оценки человека:

Ум

Самомнение

Он не просто читает Достоевского, он вчитывается, комментирует.

«Братья Карамазовы» его затрагивают представлениями автора о загробном мире — ад, рай, да вообще религия, и размышлениями о любви. А вот никак, что тоже примечательно, не задевает — «Легенда о Великом Инквизиторе». Казалось бы, ан нет.

Из остатков разворванной сталинской библиотеки Б. Илизарову удалось извлечь немало помет. Истолковать их лучше автора, помимо автора, я не берусь. Остановлюсь на сочинении Анатоля Франса «О Боге». Писателя ныне подзабытого, а между

тем умнейшего, парадоксального, вольнодумного и для нашего времени. Его мысли не давали покоя бывшему семинаристу: «Единый Бог, если он заблуждается, составляет несчастье верящих в него народов... — пишет А. Франс. — Боги Греции разнообразием своих характеров лучше подходили к разнообразию человеческих умов. Эти боги, не соглашаясь между собою ни в чем, жили, однако, во взаимной гармонии. В Троянскую войну одни стояли за греков, другие за троянцев. Этим они научили греков мыслить широко и терпимо».

Сталин пишет на полях: «Греки хорошо устроились!»

(Что мешало советским так же устроиться? Ничего. Кроме сталинской политики.)

Прочитанное никак не влияло на его деятельность. Его замечания, его согласие с автором, несогласие, его сомнения, подчеркивания откладывались в сторону, когда он входил в свой кремлевский кабинет. Он превращался в того известного всем Сталина. Никто не подозревал, что только что существовал другой Сталин.

«Религия не имеет влияния на мораль» — это спорное утверждение он нашел у Франса и обрадованно четырежды (!) отчеркивает его на полях.

«Верить в Бога и не верить — разница невелика. Ибо те, которые верят в Бога, не постигают Его. Они говорят, что Бог — все. Быть всем — все равно, что быть ничем».

Книга Франса, судя по пометам, доставила большое удовлетворение. Интересно было бы знать, как он разыскал ее.

Он делает приписку насчет Бога: «Следов не знают, не видят». Значит ли это — что все же он боится? Илизаров замечает: «Может быть, Бог есть, но Он просто невидим и непостижим».

Есть Божий суд или нет его? Как бы ни решать этот вопрос, все время остается пугающая вероятность:

*...есть Божий суд, наперсники разврата,
Есть грозный Судия: Он ждет...*

Литература выставила своих гениальных художников против «князя тьмы». Оба романа — «Воскресение» и «Братья Карамазовы» о совести, с которой не разминуться, которая «без зубов, а грызет».

До последнего дня своей жизни он читал и про Ивана Грозного, дважды перечитал «Воскресение», раздумывал. И что? А ничего. Без колебаний ставил и ставил к стенке сотнями, тысячами, запускать новые судебные процессы, подписывал смертные приговоры друзьям и близким. Никакой жалости не проникало в его душу. Существовала непроницаемая перегородка между его восприятием прочитанного и тем, что он совершал. Ничто не могло пробить ее. Впервые передо мной предстало такое бессилие литературы. Она пробуждала мысль, выдавала страхи, сомнения, он читал о сострадании, о любви, о борьбе добра и зла, размышления старца Зосимы, примеривал к себе угрызения совести Нехлюдова, возможно, сочувствовал раскаянию. Лицедейство было ему свойственно. Страх Божий если и посещал его на дому, то никак не проникал к кремлевскому властелину. Туда входа не было. Свя-

зи между ними тоже не было, они не общались друг с другом, две разных особи, одно словно не ведало о существовании другого.

Как вырастала его неуязвимость, эта душевная иммунность, можно только догадываться. Безданность, обожествление, самообоожествление, неумение и нежелание критически отнестись к своей личности — всякое тут было.

Самая выдающаяся, но все же посредственность — определил Троцкий, а он хорошо знал Сталина. Сочинения Сталина — лучшее доказательство его посредственности. Духовная бедность, невыразительный язык. От его работ не осталось оригинальных идей, ни политических, ни социальных. Он не был творческим человеком, его выступления по языкознанию, русской истории, экономике воспринимались ныне как нечто курьезное. Пушкин бесконечно прав — гений и злодейство несовместимы. Если что и было в юности, то тщеславие, борьба за власть выжгли его способности.

У гения свои отношения с Творцом, там нет места дьяволу, гений в нем не нуждается, ему диктуют сверху. Как могли россияне, люди, выросшие на Пушкине, Гоголе, Толстом, Чехове, поддаться текстам «Краткого курса» или «Биографии Сталина», принять их как великие произведения. Неужели эта слава — результат страха от чудовищных репрессий. Конечно, у страха глаза велики, но чтобы за тридцать лет грамотный, талантливый народ, где было столько умных людей, не мог распознать нелепости, вранья в биографии вождя всех народов, то, что он сам себе напридумал. Наваждение.

Подобное, впрочем, произошло и в гитлеровской Германии.

В советские годы я был не лучше других, мечтал, как вот-вот наступит развитой, за ним зрелый социализм, а дальше, чем черт не шутит — объявят коммунистический режим. Все рухнуло в один прекрасный мартовский день — когда умер Сталин. Никто всерьез не допускал, что он способен вот так просто, как обыкновенные граждане, умереть. Я пришел на Дворцовую площадь. Там собрались тысячи ленинградцев. Чего пришли? А куда идти? Стояли и плакали. Не выступали, ничего не произносили. Произошла катастрофа. Что теперь будет — неизвестно. Как нам дальше жить, какой бы он ни был, эта оговорочка у меня уже присутствовала, заменить его невозможно. Было такое ощущение, что течение времени оборвалось. Не у меня одного. Что дальше будет со страной, я не представлял. Несчастье казалось непоправимым. Через четыре года я встретил женщину, которая там была вместе со мной, я вспомнил, как мы возвращались по Невскому, она по-детски сморкалась и всхлипывала. Теперь она не хотела об этом вспоминать. Еще через несколько лет она рассказывала, что смерть Сталина она приняла как освобождение.

* * *

Когда-то Герцен начал мартиролог нашей литературы:

«Рылеев повешен Николаем

Грибоедов предательски убит в Тегеране

(Пушкин убит на дуэли)

Лермонтов — тоже

Венедиктов убит обществом 22-х лет

Белинский убит голодом и нищетой

Полежаев умер в военном госпитале

Баратынский умер после 12-летней ссылки

Бестужев погиб на Кавказе»

XX век в России продолжал еще энергичнее этот список:

А. Блок

Н. Гумилев

С. Есенин

В. Маяковский

О. Мандельштам

Б. Корнилов

П. Васильев

Н. Клюев

М. Цветаева

Цвет русской поэзии уничтожался и самоуничтожался. Сюда можно добавить писателей республик. Грузия — Палашвили, Табидзе; Украину, Армению. Россия неотделима в этом смысле от СССР, а он от Новой России. Участь писателя в России неизменна.

* * *

Самая распространенная неблагодарность — это неблагодарность детей к родителям.

Дети всегда недодают, всегда видят себя умнее, больше понимают. Хотя потом оказывается, родители-то были правы.

* * *

Удачу надо жрать, не откладывая.

* * *

С возрастом воспоминания приобретают аромат. Вспоминаешь осенний запах палых листьев. Запахи каши, маминого передника.

* * *

— Вы меня учили честности, требовали порядочности. И что? Теперь я вижу, как трудно приходится все больше врать. Чтобы защитить свою сотрудицу, я угодничаю перед своим начальником, жлоб он и хам, ходит с расстегнутой ширинкой. Чтобы удобнее идти на...

* * *

Приказано было разведать, что там в деревне, есть ли немцы, есть ли народ. Отправили трех бойцов с взводным. Вернулись, докладывают комбату. Лежат, говорят, несколько фрицев у сарая на сене, двое спят. Видать, выпившие, а больше вроде никого. Ну, и что вы их там оставили? Взводный пояснил, что стрелять не стали, чтобы тревоги не поднимать. Тут накинулся на них из штаба полка офицер. Могли ведь штыками заколоть? Могли, конечно, да как-то несподручно спящих. Проговорился он, и так неловко, что чуть под трибунал не угодил. Хорошо, комбат вступился. Необученные они штыковому бою, не строевые, штык у них консервы открывать, сколько их ни учили, все без толку. Поорал, поматерил и прогнал, тем и спас, а то бы приговорили ребят. Потом нам взводный признался, хотел он порешить немцев, да руки не поднялись. Молоденькие, спят, сладко похрапывают, обозники какие-то, видать.

— Мне нужен работник утчивый, воспитанный, терпеливый с посетителями, чтобы встречал приветливо, улыбался. Любые деньги готов платить. Не могу найти. Никак. Представляешь себе, в таком культурном, казалось бы, центре, как Петербург. Привели какую-то старушку, так она плохо слышит, плохо видит, а так вполне бы годилась. И что ты думаешь — ничего подходящего. Большею частью хамки, заносчивые тупицы, ленивое трепло и, как правило, безграмотные, самое простое письмо сочинить не могут. Представляешь, министру начинает справку словами — «Мой дорогой господин министр...»

* * *

Когда-то, рассказывая о борьбе наших генетиков с лысенковщиной, я писал про Иосифа Абрамовича Раппопорта. Мы были знакомы. Оба фронтовики, это сразу сближает. Его военная биография восхищала меня. И научная тоже. Он защищал генетику с мужеством офицера, совершая поступки, неслыханные для того страшного времени 50—60-х годов XX века. Я видел в нем дважды героя, и на фронте, и в противостоянии Лысенко, которому покровительствовал Сталин.

Все это воспоминания, мемуары, «былое и думы». И вдруг ныне, спустя полвека, читаю в газете сообщение о том, что в посольстве США родственникам Раппопорта вручили документы на американский военный орден. Будучи еще майором, он был одним из тех, кто в 1945 году участвовал в знаменитой встрече на Эльбе. Бог ты мой, спустя 60 с

лишним лет там вспомнили. А у нас до сих пор не сочли, а ведь его представляли к званию Героя Советского Союза. Когда-то меня упрекнули за то, что я назвал его дважды Героем — «литературное преувеличение».

Хоть с той стороны, из-за океана, восстановили справедливость. Живы еще современники Раппопорта, есть кому порадоваться за него. Горьковаты эти посмертные награды. Конечно, спасибо американцам (интересно, кто им подсказал?). Получается, что у них память о той войне лучше нашей!

За годы Великой Отечественной было несколько однополчан моих, кто не получил Героя. Представляли, и заслуженно, а высшее начальство не сочло. За то, что дивизия не отличилась или операция провалилась, посему отдельные подвиги обесценились. Так выходит. Особенно обидно вспоминать 1941 год, год отступлений, когда мы «драпали», год отчаяния, бесчисленных жертв, неумения воевать. Тем дороже были примеры невероятного мужества. В нашем полку Иван Бескончин совершил несколько разведопераций, захватил трех «языков», все это выглядело в те дни чудом. И действовало на нас, как чудо.

Его представили к Герою. Да где там... А ведь как нас это воодушевило.

* * *

Как бы ни было нам неприятно, но история все чаще сравнивает сталинизм и гитлеризм. Устанавливает не разницу, а сходство. Нацисты уничтожали евреев, сталинисты депортировали целые народы: калмыков, балкарцев, чеченцев, ингушей, немцев Поволжья.

Разница же в том, что Германия проделала огромную очистительную работу. Было много судебных процессов. В школах изучают преступления национал-социализма. Концлагеря сохраняют как музеи. Покаяние перед еврейским народом стало не актом, а процессом.

«СИМПАТИЯ»

Гуляя по Тбилиси, мы с Риммой набрали самостоятельно, без всяких подсказок, на погребок под названием «Симпатия». Помещался он, если память мне не изменяет, на площади Ереванской (или имени Берия). Главная прелесть этого заведения состояла в настенной живописи. Галерея овальных портретов украшала все простенки между окон. Набор состоял из великих ученых, писателей, полководцев — Шекспир, Эйнштейн, Лев Толстой, Галилей, Пушкин, Наполеон, один за другим изображались те, кого хозяин считал достойными. Сам подбор великолепен — Руставели соседствовал с Архимедом, Коперник циркулем измерял расстояние от Земли до Солнца. Главное же очарование всех портретов составлял их грузинский облик, почти у всех усики, бравая воинственность, все брюнеты и то, что при этом художник умудрялся делать их узнаваемыми. Грузинские черты сохранял Ньютон, а грузинский вариант Толстого оставался Толстым, грузином был Эйнштейн. Выглядело трогательно, смешно, ничего карикатурного, такими их увидел художник.

Не знаю, сохранился ли этот кабачок.

«И я дал мальчишке пятак, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных».

Так заканчивает Пушкин свою повесть «Станционный смотритель». До рассказа про то, что случилось на кладбище, я еще жалел Дуню, а тут узнал про то, как плакала на могиле отца, уже не жалел, а рад был за то, что вспомнила об отце. И за то, что счастлива. У него, рассказчика, ведь было к ней особое чувство: «Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания».

Дивное ощущение всякий раз оставляла у меня эта повесть — ее конец, все трое в итоге хороши — и рассказчик, и Дуня, и бедный Самсон Вырин.

* * *

«Министерство торговли предупреждает, что чтение книг отнимает часть жизни, ничем не помогая Вашему организму и не способствуя бизнесу».

* * *

Он разглядывал меня задумчиво, словно шахматную доску, готовя свой ход.

* * *

Та страна, где я жил, ушла в легенду, соединилась с шумерами, инками. Следы ее исчезают, их выскребывают, чтобы ничто не мешало мифу. Мы почти потеряли связь с ней.

Мой друг музыковед рассказывал мне про Моцарта. Не существует никаких черновиков его сочинений. Он писал сразу начисто. Непонятно, как это могло быть. Писал много. В один год мог выдать оперу, симфонию плюс концерт для скрипки с оркестром. Даже Пушкин зачеркивал, переписывал, искал слово, рифму, правил и правил свои творения. Его гений перемежался с ремесленной работой. Моцарт не писал, а записывал. Рассказы о том, что ему диктовалось свыше, похожи на правду. Других объяснений нет. Но так не бывает. Тем не менее историки музыки, наиболее серьезные, разводят руками. Вот оно, сверхъестественное. Факт, как бы подтвержденный всей его жизнью, многократно. Бесспорный гений Пушкина тем не менее, хоть и чудо, но понятней. Моцарт же феномен-загадка. Тайна. Гений всегда Тайна, но его Тайна волшебная, божественная. Ничего подобного даже среди величайших композиторов прошлого не помнится. Был гений Россини, гений глухого Бетховена, неисчерпаемый гений Баха, и еще, и еще, но Моцарт — это другая стезя.

* * *

Судя по дневникам и письмам Ольги Берггольц, уже в 1942 году, живя в блокадном Ленинграде, она стала понимать, что и после войны ничего не изменится. Победа не принесет послаблений.

* * *

Социализм у нас был незрелый, перешли в капитализм, он получился дикий, тоже незрелый. Все время потребляем незрелое, вот и маемся.

Если ученого не цитируют, значит, его работами не пользуются. Значит, они не нужны, наука обходится без них. Академик Глазьев часто выступает по телевидению, громит нашу экономику, яростный критик правительства, что же он сам как ученый дал мировой науке? Судя по его коэффициенту цитирования — ничего, ибо этот коэффициент у него равен — 11. Самый низкий даже среди его коллег академиков-экономистов. Западные экономисты — Л. Клейн — 119 000, Д. Стиглиц — 20 000, Фридман — 32 800.

А вот еще один активист, выступатель — ректор МГУ академик Садовничий — 667.

* * *

«Все, что создано, мне ясно
Темно то, что рождено».

Эту цитату из Полонского приводит Гаспаров. Замечательно сказано и замечательно найдено!

* * *

Терпение мышеловки.

* * *

Интересно: что труднее всего было изготовить Богу на Земле?

* * *

Наверное, все же главное в характере Петра Первого было — любопытство.

Я стою на берегу Невы под стенами Петропавловской крепости. Начало весны. Нева уже очистилась от льда. Гранитные бастионы нагреты солнцем. Недавно песчаную отмель замостили багровой плиткой, стало удобно гулять, сидеть на скамейках, любоваться левым берегом. Отсюда открывается великолепный вид — Биржа, Ростральные колонны, Зимний... Окоем, благодаря ширине реки, обнимает все пространство между мостами. Троицким и Дворцовым, и дальше. Здесь одно из моих любимых мест. Город здесь, как на параде, выстроились его дворцы, особняки, Летний сад, церковные купола, шпили, Адмиралтейство.

Линия воды, а над ней безупречная линия зданий. Ни одно не возвышается над Зимним, не нарушает гармонии, это не было замыслом архитектуры, это было сутью монархии, выражением почитания правителя, можно считать, что соблюдалось установленное правило, но важно, что его всегда соблюдали и великие князья, и промышленники, и министры, никто не позволял себе нарушить высотный предел. Впервые на это осмелились после революции. Кто? Чекисты. Они соорудили себе контору такую, чтобы возвышалась над всеми дворцами. Чтобы видели, кому закон не писан, «кто на свете всех страшнее». И вот торчит эта гранитная глыба «Большого Дома» над парадным строем дворцовых набережных.

Кроме архитектурных шедевров есть красота всего ансамбля, красота трудно достижимая, сохранять ее еще труднее. «Проклятое самодержавие» сумело удержать весь этот невский строй в целостности. Каж-

дое царствие осторожно продолжало благоустраивать набережные с их изящными спусками, бульварами. Ничем не испортив, донесло до XX века. После революции решетку Зимнего дворца перенесли в рабочий район, в сад «9 января». Украсили. Нет чтобы свое, пролетарское создать, искусство тех 20-х годов имело немало превосходных мастеров. Товарищи начальники предпочитали готовое, к тому же хотелось как-то отомстить царизму. Показать свою власть.

* * *

Куда-то она опоздала, и парень, утешая ее, сказал:

— Ладно тебе, поздняк метаться.

Честно скажу, мне понравилось это выражение. Молодежный сленг зачастую выразителен, энергичен, бывают, конечно, уродства, словечки пакостные. Каждое поколение хочет пользоваться своим лексиконом. Обновляет, освежает язык отцов. Я помню словечки моих школьных лет, довоенных — «железно», «буза», «шпана», «сбацать», «стырить», «гамуз», «шамать». Наверное, существуют словари поколений. Многие словечки исчезают, кое-что удерживается, некоторые слова еще употребляются. Таких совсем немного. Язык разборчив, капризен и, я бы сказал, имеет весьма рафинированный вкус. Управлять им невозможно (к счастью!), он своеволен, законы его гостеприимства неизвестны (тоже к счастью). На моей памяти сменилось несколько поколений сленга. Были: «круто», «ништяк», «отпад», «рюхать», «в кайф».

Писатели, как правило, весьма осторожно пользуются сленгом. Они предпочитают свою стилистику.

Чистота русского языка воспитывается, как известно, чтением хорошей художественной литературы, прежде всего русской литературы. Она доставляет наслаждение лексикой, метафорами, красотой фразы, удовольствием, сравнимое с музыкой.

* * *

...А мне возражают — ни одна страна не выдержала бы такого разорения своего народа. С 1917 года уничтожалось по миллиону людей в год (А. Н. Яковлев). Это были дворяне, помещики, чиновники, специалисты, то есть самая образованная часть. Затем промышленники, кулаки — самая деятельная, предприимчивая часть. Цвет нации, ее трудяги. Тридцать миллионов в Отечественную, молодежь. Репрессировали самых думающих, активных. Минимум семьдесят миллионов истребила наша власть — самоубийственная, нелепая. Добавим сюда Афганскую войну, Чеченскую... Как это мы еще держимся?

— Думаешь, мы выдержали? Ох, не знаю. Кто мы, кем стали?... Пока что мы существуем за счет нефти, газа, леса, а не за счет своего труда. Чтобы выздороветь, надо работать. Работать отучились, не хотим. Тунеядцы. Сосем свою мать-землицу. Соки из отчизны последние выжимаем. Норвежцы, когда в море нефть нашли, приняли богатство спокойно. Половину доходов стали отчислять будущим своим гражданам — правнукам. Наследникам. Нефть ведь потомкам тоже принадле-

жит. А вот мы одурели. Ни себе, ни наследникам. Копим. Подымают наши люди в бедности, грязи, болезнях, но им ничего не дают. Дорог не строим. Заводы свои не строим. Едим чужое, носим чужое. Никогда Россия не имела еще столько золота, валюты. Богаты, захлебываемся от денег. И что? Живем по-прежнему: улицы не мощеные, на помойках роются бомжи, дома стоят аварийные, в подъездах темно, вонь, перила сломаны. Зато миллиардеров прибывает. Советская Россия была понятней. Нынешняя — страна абсурда. Не мудрено, если она развалится.

* * *

Когда Бердников был аспирантом, он прославлял своих учителей, наставников — Гуковского, Жирмунского. Потом началась кампания борьбы с космополитами, он первым донес на них, стал выступать на собраниях, разоблачал их, обличал. Обоих учителей его посадили. Гуковский умер в тюрьме, Жирмунского еле спасли. Потом Жирмунского выбрали в академики. Это Бердников принялся восхвалять его. Как ни в чем не бывало. За принципиальность его взяли в ЦК партии, инструктором, затем подняли выше. Все помалкивали, ни гу-гу.

У него на сей счет своя теория — остались нетронутыми трусы, сломленные молчаливики, они кое-как выжили и теперь не пикнут. Бердников презирал их, они ему не страшны. Он благоденствовал, наглед.

Михаил Леонидович Слонимский на похоронах Максима Горького стоял в почетном карауле.

В изголовии у гроба. Все это происходило в Колонном зале Дома Союзов. Траурная музыка, горы цветов, поток людей, на улице очередь, длиннущая, по всей улице Пушкина. Вдруг какое-то волнение, поток задерживается, замедляется. В зал входят Сталин, Молотов, Ворошилов и все остальные вожди. Сталин подходит к гробу. «И тут... — рассказывал мне Михаил Леонидович, — мы, все, кто был рядом, и мы, стоящие в карауле, зааплодировали. Скорее всего, от ужаса. Стоим и хлопаем. Стыдно, а хлопаем».

Хоронили Бориса Михайловича Эйхенбаума. Появился Бердников. Он, кажется, был уже инструктором ЦК КПСС, хотел встать в почетный караул, но тут Владимир Николаевич Орлов остановил его: — Я думаю, Борису Михайловичу это будет неприятно.

Бердников растерялся, отошел.

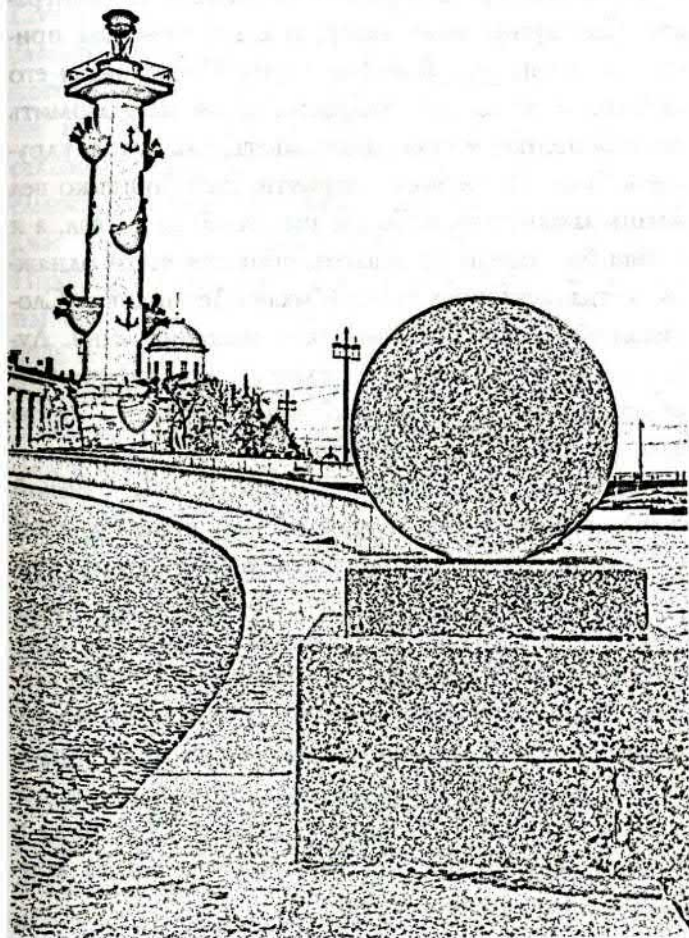
В юбилей В. М. Жирмунского этот же Бердников послал ему поздравительную открытку с видом актового зала Университета. Двадцать лет назад здесь прорабатывали Жирмунского. Решающее слово тогда произнес Бердников. Он сказал: «Говорят, у профессора Жирмунского двести печатных работ. Но есть ли хоть одна, которая принесла пользу советскому народу. Назовите, профессор Жирмунский, какая из ваших работ принесла пользу нашему народу?»

Открытка эта напоминала Виктору Максимо- вичу ту историю, после которой его выгнали из университета. На эту открытку он написал ответ

Бердникову: «Благодарю за неизменное внимание к моим работам». Бердников разразился в ответ длинным оправданием, его, мол, не понимают, его травят и т. п.

Он и не думал покаяться, попросить прощения. Я не знаю случая, когда кто-либо из тех проработчиков, клеветников принес бы извинения. Ни разу не слышал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



На «Ленфильме» снимали картину «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Сценарий писал автор, и вскоре он сам приехал в Ленинград. Я любил книгу Некрасова и его самого, и когда он попросил меня познакомить его с Зощенко, я стал раздумывать, как лучше удружить Вике. После всех неприятностей Зощенко вел жизнь замкнутую, в Союзе писателей не бывал, а я с ним был почти не знаком, общался всего однажды, когда меня представил Михаил Леонидович Слонимский, и вряд ли Зощенко запомнил меня. Думал я думал и надумал устроить его творческий вечер, потому что открытый вечер с афишей никто нам не разрешит. Единственная возможность — провести его отчет на секции прозы. Мы с Викой судили-рядили и так, и этак, потому что если отчет на секции прозы, то наберется много народу, станет всем известно, что будет Зощенко, это будет сенсация, а надо как-то ограничить количество присутствующих, а ограничить — это сделать бюро секции, бюро не требует никаких объявлений, посторонних не будет, обычное бюро, там всякие вопросы и в том числе отчет Михаила Михайловича Зощенко. Нельзя было медлить, я хотел, пока Вика в городе, его пригласить в порядке «творческих контактов с писателями Украины».

Я был тогда одним из секретарей Союза, членом секретариата была Вера Федоровна Панова, она охотно включилась в нашу затею. Обойти надо было руководителя нашего Союза Александра Прокофьева, он благоволил к Зощенко, но тайно, и если бы проведал о его выступлении, вынужден был бы запретить, поскольку был верный солдат партии. Секретарем секции прозы была Жанна Гаузнер, она аккуратно оповестила членов бюро в самый последний день. Все-таки, это мы узнали потом, кое-что дошло до Прокофьева, но уточнять он не стал и как бы отвернулся. Председателем секции прозы был Павел Далецкий, автор неподъемных романов. На бюро присутствовали Геннадий Гор, Сергей Антонов, Борис Никольский, Николай Сладков, всего человек двенадцать, все члены бюро. Для Зощенко это аудитория большая, с 1946 года у него никаких творческих встреч не было. Держался он с нами суховато, настороженно. Здороваясь, я запомнил жар его твердой руки, мне она показалась ломкой, и весь он был ломкий, как засушенное растение.

Никаких торжественных предисловий, приветствий, началось обычное заседание: сперва план ближайших мероприятий, какие-то еще дополнения, кто «за», кто «против», и вот, наконец: «Сегодня заслушаем творческий отчет Михаила Михайловича».

Далецкий предложил ему начать с того, над чем он сейчас работает. Михаила Михайловича эта скучноватая процедура несколько успокоила вроде, я волновался даже больше него. Начал говорить он спокойно, признался, с некоторой печалью, что ра-

бота у него двигается трудно. Задумал он цикл маленьких рассказов, который назвал «Сто самых замечательных историй моей жизни». Не то чтобы буквально, а замечательные из того, что он сам пережил, узнал, вспомнил и что показалось ему совершенно удивительным. Одну историю он нам прочел, про какого-то начальника в бане. Читал он грустно, что никак не соответствовало забавному содержанию. Не знаю, может, у него был такой прием, во всяком случае, от этого получался странный эффект, смешно было еще и оттого, что автор вроде как не понимал, какая глупость творится в жизни. Возможно, эту историю он успел напечатать, или же она есть в его литературном наследстве, не знаю, во всяком случае, я не стану пересказывать ее своими словами, потому как у Зощенко фраза всегда непредвиденная, и слова в ней неожиданные, ее надо читать своими глазами. Устная же история, которую он нам рассказал, меня поразила, и я ее запомнил. Произошла она в разгар Великой Отечественной войны на фронте. По лесной дороге двигалась группа наших разведчиков. За крутым поворотом они лицом к лицу столкнулись с немцами, по-видимому, тоже разведгруппой. И те, и другие двигались бесшумно и наткнулись друг на друга лоб в лоб. От неожиданности кинулись в кювет, наши по одну сторону дороги, немцы по другую. Один же молоденький немчик растерялся и, не разобравшись, прыгнул вместе с нашими солдатами. Когда он увидел себя среди советских солдат, то в ужасе завопил, завертелся и выскочил, и совершил прыжок невероятный, через всю дорогу, к своим, летел, продолжая кричать. Сол-

даты, немцы и наши, не могли удержаться, захохотали, в обоих кюветах покатывались со смеху. После этого смущенно поползли в разные стороны и стрелять не стали, не могли, так и разошлись, не сделав ни одного выстрела. История эта показала, что может смех, он способен на куда большее, чем нам кажется. Мы с Викой Некрасовым, провоевав на фронте, не сговариваясь, подтвердили Михаилу Михайловичу точность этого солдатского состояния.

Из других историй мне больше ничего не помнится, боюсь, что цикл этот был не завершен, может, толком и не был начат. Вскоре Михаил Михайлович умер. Мне казалось, что он не хотел жить. Так же умер в двадцать первом году и Александр Блок.

Был июль 1958 года, стояла жара, Зощенко лежал в гробу, маленький, строгий, в том же темно-сером костюмчике, что был на нем тогда на секции прозы, лицо смуглое, узкое, глаза прикрыты, будто не хотелось ему смотреть на нас, на толпу любопытных, которая теснилась и шла мимо гроба. Народу собралось великое множество, вокруг Дома писателей стояла толпа, и было много милиции, внутри Дома сновали молодые решительные незнакомцы, они требовали прекратить доступ людей к гробу, пропускать только членов Союза писателей, обстановка становилась все более нервной, несколько женщин рыдали в голос, внизу, у входа в Дом, шумели не попавшие. Ко мне подошла инструктор обкома партии, тонкие губы ее выражали одновременно и возмущение, и торжество.

— Все-таки устроили вы столпотворение, а вас предупреждали, это же что получается, демонстрация?

Она всегда выискивала в Союзе писателей крамолу, можно сказать, в этом состояла ее работа. Сокрушенно покачала головой.

— Обязательно вам надо раздуть новое политическое дело.

— Послушайте, — сказал я, — умер великий писатель, и народ это понимает.

— Великий? Ну вы даете, какой же он великий, вы что, не понимаете, что за публика набежала?

— Михаил Михайлович самый читаемый писатель в стране.

Она явно обрадовалась:

— Да, с такими убеждениями, конечно.

Гражданскую панихиду вел Александр Прокофьев, так что эта партдама вцепилась в меня, благо я попался ей на глаза. Не знаю, до чего бы мы с ней доспорили, но в это время из гостиной, где шла панихида, донесся какой-то шум, в плотной толпе, она заполняла проходы и лестницу, началось движение. Оказалось, что после Михаила Леонидовича Слонимского к центру прорвался писатель Леонид Борисов. Надрывный, высокий голос его нарушил благочинность процедуры: «Миша, дорогой, — кричал он, — прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты! Виноваты мы перед тобой, не защитили тебя, смирились».

Волнение побежало по людям, покатилося вниз по лестнице, выплеснулось на улицу, где стояли те, кто не мог протиснуться в Дом. «Что там?», «Кто говорит?», «Что говорит?» Леонида Борисова знали по его новой книге об Александре Грине «Волшеб-

ник из Гель-Гью». Он был седой, тощий, с орлиной головой на длинной морщинистой шее, выступление его было никак не предусмотрено, но был он один из старых друзей Михаила Михайловича, и никто не ожидал от него подвоха.

Прервать выступающего Прокофьев не решался. Истерическое состояние Борисова могло вызвать скандал, и без того его речь прерывалась всхлипами, он обращался к покойному, уже не обращая внимания ни на кого: «Миша, погубили тебя, погубили». Наступило потрясенное молчание. Оно продолжалось длинную-длинную секунду, и, конечно, если бы не похороны, Борисову бы аплодировали. Александр Прокофьев вышел вперед, он весь раздулся багровой налитой тяжелой кровью. «Я протестую, — прохрипел он. — Это недопустимо, устраивать тут митинг». Его было жаль, он вынужден был как-то загладить сказанное, дать отпор, оберечь Союз писателей от попреков и не знал, как это сделать потактичнее. Рядом со мной стоял Алексей Иванович Пантелеев. «Да, — сказал он. — Нехорошо, прокукарекал Лёня, а там хоть не рассветай». Я смотрел на Борисова, он действительно походил на задиристого петушка. А может, так и надо, думал я, прокукарекать свое, наступит ли от этого рассвет, неважно, его дело петушиное, он не мог иначе.

Говорили, что потом Борисов оробел, как-то оправдывался, — не знаю.

Что бы Прокофьев ни говорил, слова над гробом Зощенко, слова, которых так опасалось начальство, были произнесены, и зал гудел, одни поддерживали Борисова, другие сочувствовали Прокофу, были на его стороне, но слово было сказано.

Кое-как панихиду прикончили. Гроб повезли в Сестрорецк, в городе хоронить Зощенко не разрешили, тем более на Литературных мостках Волкова кладбища, как будто эти мостки предназначались для каких-то более достойных.

Вечер проходил в том же зале, где когда-то прорабатывали Зощенко. Большой зал Союза писателей, украшенный лепниной с амурчиками над круглыми окнами с видом на Неву. Как и тогда, ныне, когда мы устраивали вечер памяти Зощенко, зал был полон, сидели в основном те же люди, многие чувствовали себя виноватыми и возмещали свое чувство громкими аплодисментами. В президиуме сидели приехавшие москвичи: Валентин Катаев, Сергей Антонов, который переехал в Москву, наш Израиль Меттер, все друзья Зощенко. После заседания мы, как положено, перешли вниз в ресторан помянуть Михаила Михайловича. Рядом со мной сел Валентин Катаев, расспрашивал подробности истории с елочкой. Разговор с ним мне не запомнился бы, но позднее, читая повесть «Алмазный мой венец», я обнаружил место, где автор гуляет с Зощенко по Ленинграду, и Михаил Михайлович ведет его к Суворовской церкви и показывает свою елочку в мозаике, выложенной когда-то отцом. Любопытным мне показалось не то, что он взял себе эту историю, присвоил, и бог с ним, претило другое, как подчеркивал он свою дружбу с Зощенко, видите, гулял с ним по городу. Сколько вообще после смерти Михаила Михайловича обнаружилось у Зощенко друзей, никого из них почти не было в годы опалы, никто не хотел подписать

письмо, которое Союз писателей направлял начальству с просьбой о пенсии Зощенко. Только Шостакович осмелился помогать Михаилу Михайловичу.

В «Алмазном венце» Катаева есть и другие похищенные алмазы, есть и фальшивые. В конце концов, каким-то образом оказалось важным, что он, Катаев, первым ухватил, прикрепил и этот алмаз к своему венцу, у него, как он полагал, алмаз заблестает. Может, он и прав, выражение «гений чистой красоты» Пушкин ведь взял у Вяземского, не постеснялся, и был прав.

Для меня Михаил Михайлович Зощенко явление исключительное, его считают сатириком, а он еще умеет просто смешить, с ним весело, он знает, как никто, может, какую доброту вызывает из глубин души смех.

Москвичи расспрашивали еще про похороны. Они были уже давно, но все-таки это все запомнилось.

Вот и Ольгу Берггольц, сколько мы ни просили, не позволили похоронить на Пискаревском кладбище. Вообще поучительной была бы история похорон русских писателей. Тайком увозили гроб Пушкина из заснеженного Петербурга, и люди не могли проводить величайшего сына России. Описать надо было бы и как хоронили Есенина, и Маяковского, и Пастернака, Твардовского, Ахматову. Мы с А. И. Пантелеевым вспомнили вдруг, как возвращались домой после похорон Зощенко. Мы с А. И. жили в одном доме, и он говорил, что все же без этих слов Леонида Борисова над гробом Зощенко нам было бы стыдно. Конечно, потом начальство Леонида Борисова преподнесло как блаженного, шального, чуть ли не городского сумасшед-

шего, мол, чего с него взять. На самом деле это был хороший писатель, не только автор романа о Жюль Верне, а сам, оказывается, никуда не ездил, не путешествовал. Борисов писал книги о Рахманинове, Стивенсоне, Шаляпине, Куприне, Блоке. Был он человек книжный, хотя в молодости участвовал в Гражданской войне, знал лично и Грина, и Блока, и Гумилева, и Горького. Он обожал Грина, и при этом рассказывал мне с возмущением, как однажды в пивной они сидели вокруг Куприна, наслаждаясь его рассказами, а рассказчик Куприн был замечательный, и вдруг потихоньку Грин встал, подошел сзади к Куприну и ударил его бутылкой по голове, «такой бывал злой и завистливый» — определил Борисов. Как-то я встретил его в Комарове с котомкой за плечами, оказалось, он шел сюда пешком из Парголово. «Зачем?» «А так, интересно». В городе он приходил по утрам в «Лавку писателей» поболтать, порыться в книгах. Так по молодости, видать, ходил он в семнадцатом году в Смольный, потом в Гражданскую войну рылся в людях, притянутый талантами, благо тогда их повсюду хватало. Пантелеев сказал: «Выручил он нас с вами, всех нас выручил своей любовью, настоящей любовью к Михаилу Михайловичу, а у нас ведь не любовь, мы только восхищаемся». Потом мы говорили о Прокофьеве, которого все по-разному осуждали, и Прокофьев это понимал, и потом еще долго раздражался на Борисова, приходилось прикрывать его, доказывать, мол, что с него взять.

Такова была сто первая история, одна из удивительных историй из жизни Зощенко, история, о которой он не узнал.

Горбачев мог куда больше получить отступного для страны, когда решался вопрос о Берлине, о ГДР, о единой Германии. Как рассказывал мне Запесоцкий, не 8 миллиардов долларов, а 200 и больше, на все расходы по выводу войск в Россию.

* * *

Попадаешь в Башкирию — становишься чужим, в Татарию — тоже не свой. Нет ощущения — это моя страна.

* * *

Грибов не бывает неспелых, так же как морковки.

* * *

А. А. Фадеев мне сказал, что в «Искателях» моя героиня Марина появляется во второй половине романа, это, мол, не положено.

* * *

Пошлость все уничтожает вокруг себя. Пошляка определяют как «нуль личности» (*Померанец*). Известно — любая величина, умноженная на нуль, превращается также в нуль.

* * *

Когда ходишь по кладбищу Св. Женеьевы в Париже, думаешь, что Франция — это отечество русских эмигрантов.

С первого дня мы невзлюбили друг друга. Володя Карпенко был начальником артиллерии батальона, старший лейтенант, я был просто лейтенант в штабе батальона. Володя не скрывал своих чувств. Возможно, его раздражало мое «высшее инженерное образование», то, что ко мне обращались за всякой консультацией. Не знаю, не вникал, меня занимало другое — за что я его невзлюбил. Без всяких видимых причин. Причем — с первого взгляда. «Видно, душа не принимает», — объяснил мне Медведев. Мы тогда жили с Медведевым в одной землянке. Это объяснение ничего не объясняло. Душа было понятие для меня невнятное, абсолютно ненужное на фронте. На эту тему мы несколько раз спорили с Медведевым, наверное, он меня растревожил. Или заинтересовал. Я вспомнил, как недавно ночью я проснулся в слезах. Проснулся и продолжал плакать. Такая тоска нахлынула, еще во сне нахлынула и продолжала жечь, я вышел из землянки и там, у засранного ровика, разрыдался, не сдерживая себя, не знаю, о чем я плакал, может, то и была душа, измученная страхами, голодом, ожиданиями смерти, разлукой, бог ее знает.

Все это наутро забылось, да не совсем, время от времени я стал замечать, как появляется во мне то отвращение к самому себе, к своей покорности судьбе, немытому телу, вшам, фурункулам.

«Мы атеисты, мы материалисты». «Душа — это мистика». Живем уверенно, с этим убеждением все просто, удобно. И никаких опровержений. Так-то

так, а вдруг? Вдруг? Не так просто отделаться от этого вопроса.

* * *

Рассказ этот я слышал от Георгия Ивановича Попова. Мы сидели у него на даче, в Репино, курортном местечке на берегу Финского залива. Попов во время Хрущева и позже был первым секретарем Ленинградского горкома партии, по сути, хозяин города. Человек он был грубый, вспыльчивый, ругатель, интеллигенцию, особенно творческую, не любил. И притом не злой, не мстительный, не угодничал перед начальством. У меня было с ним несколько столкновений, ругались и мирились. В семидесятых годах он был уже на пенсии. Встретив меня случайно на взморье, затащил к себе, не поминая старых ссор. Даже обрадовался: есть кому отвести душу.

Бывшие мне всегда интересны. Прежде, на своих должностях вынужденные помалкивать, говорить, что положено, они, выйдя в отставку, ощущают желание выговориться. Когда-то каждое их слово ловили, теперь они вроде никому не интересны. А знали они много. Стоит начать вытаскивать из сундуков памяти залежалые секреты — чего там только нет! Зачастую, конечно, их сносит на обиды, со многими обходились несправедливо, снимают и перечеркивают все прежние заслуги, добром не поминают, больше с руганью. Прежние их соратники сторонятся их, к себе не допускают.

Разговор зашел о Хрущеве. Георгий Иванович спросил, знаем ли мы, как снимали его. Вместе со мной был известный историк и писатель Д. Н. Аль,

Все было не совсем так

который относился к истории как к точной науке и каждый факт любил проверять и так и этак.

Конечно, кое-что о снятии Хрущева было известно. Слухи из кремлевских покоев просачивались. Знали о участии КГБ, о том, как Хрущева вывозили из Пицунды в Москву на пленум ЦК, слыхали, что творилось на пленуме. Но все это было, оказывается, уже результатом, а началось куда раньше. Вот про это и стал рассказывать Попов.

С самого начала он тоже не знал. Летом 1964 года его включили в состав партийно-правительственной делегации, кажется, в Италию. Включили в самый последний момент, вместо кого-то, поспешно. Обычно спрашивают: хочешь не хочешь, а тут почти в приказном порядке. Поездка была заурядная, без происшествий. На обратном пути приглашают Попова в салон к главе делегации Брежневу. Леонид Ильич, который был тогда председателем Верховного Совета, сажает его за столик напротив себя, расспрашивает про ленинградские дела, Попов чувствует, что это так, для разбега. Незаметно разговор перешел на Хрущева, имя его не поминалось, речь шла о политике, которая все более умаляет значение партии и партийного руководства. Если дело пойдет так дальше, ЦК лишат роли руководящего органа. Подобные опасения существовали у самого Попова. Исподволь прощупав его настрой, Брежнев дал понять, что необходимо изменить политику, для этого есть единственная возможность: собрать пленум ЦК партии и «убрать, удалить по состоянию здоровья»... Принципиально вопрос был решен — так понял Попов, — оставлять дальше у руководства Хрущева нельзя. Разделение

обкомов на промышленные и сельские ослабило партию, возникла угроза как бы двухпартийной системы. Это никуда не годится.

Сейчас, во времена Горбачева, Попов старательно обходил свою реакцию, очевидно, он поддерживал слова Брежнева, и поддерживал энергично, так что они заговорили в открытую, не стесняясь. На пленуме важно, как поведут себя такие делегации, как московская и ленинградская. От них многое зависит. Надо, чтобы Попов подготовил ленинградцев, надо прощупать настроение в заводских коллективах, у рабочих города и чтобы были выступающие.

Условившись, что Брежнев спустя какое-то время позвонит Попову в Ленинград и тот доложит, как обстоят дела, кто готов выступить на пленуме, разговор будет зашифрованный, договорились, как обозначит Хрущева пленум.

Так Попов был включен в заговор.

Его рассказ был как бы нейтрален; профессиональная привычка партийных работников избегать личных оценок, излагая факты, имеющие интерес для партии.

Он, Попов, выполнил указание согласно договоренности и в итоге остался ни при чем. Снятие Хрущева разыграли как по нотам. Пленум был хорошо подготовлен, подогрет. Выступления шли одно за другим, и все в одну точку. Ленинградцы не подкачали. Попов выполнил указание согласно договоренности. После пленума, когда принялись делить пирог, назначать, переставлять, любимейшее дело, он, Попов, остался за бортом. Предлагали кое-что, как он выразился, не сталкивались, то ли

буйный его характер повредил, то ли запрос был велик. Впрочем, и других соучастников отправили на «ща». Попов поработал несколько лет уполномоченным МИД по Ленинграду и вышел на пенсию. Так что нынешняя откровенность его была не беспричинной.

Никаких других фамилий, кроме Брежнева, Попов не упоминал, как он понял, разработано все было самим Брежневым, все нити он держал в своих руках. За несколько лет до Брежнева подобную же попытку свергнуть Хрущева предпринял Ф. Р. Козлов, тогда второй секретарь ЦК, его постигла неудача. Урок был учтен.

Я спросил у Попова, правда ли, что Хрущев, когда его везли на самолете в Москву, попытался изменить маршрут? Попов подтвердил, что слышал об этом. Подробностей он не знал. Подробности, которые мне рассказали, состояли в следующем: посреди полета Хрущев смекнул, что к чему, встал, прошел в салон, заглянул к летчикам и обратился к командиру корабля, предлагая ему повернуть на Киев. В это время на Украине готовилось какое-то торжество. Летчик отказался. Хрущев настаивал: «Ты знаешь, кто я? Генеральный секретарь партии, если я приказываю, ты обязан подчиниться». Думаю, что некоторый смущающий летчика момент мог возникнуть. Все же Хрущев, человек всесильный, мало ли что...

Дрогнул бы летчик, посадил бы машину в Киеве, где Хрущев был свой, где он мог рассчитывать на поддержку — и события могли бы повернуться по-другому. Заговорщики трусили бы, разбежались, кто-то помчался бы в Киев, виниться.

Весы истории закачались, достаточно малой ничтожной причины, чтобы склонить чашу. Миг равновесия пришелся на безвестного летчика, страх перед КГБ и страх перед генсеком столкнулись, от непредсказуемого выбора зависели судьбы миллионов. Все-таки он бывает, момент недоумения, когда все оказывается во власти одного человека. Закономерности истории, причины и следствия, логика развития куда-то отступают. Роль личности вдруг становится решающей. И какой личности — совсем не исторической, никому не известной, случайной.

Заговор Брежнева удался. Впервые члены ЦК сняли с поста генерального секретаря. Они почувствовали свою силу. Но Брежнев-то, этот рубаха-парень, миляга, любитель жизни со всеми ее утехами, открытый, доброжелательный — таков был его образ в первые годы его правления. В таком виде он пришел к власти и пребывал в ней первые годы. Для меня было открытием, что за этим образом скрывался умелый заговорщик, который, кстати говоря, обезопасил свое правление целой системой предупредительных мер.

* * *

У ученого, которого посетило озарение, возникает необходимость немедленно сообщить об этом. Поделиться. Растолковать, написать. Ему надо, чтобы его признали, процитировали. Открытая истина жгет его, не дает покоя.

* * *

Компьютерное образование приучает к системе мышления: «да—нет», «правильно—неправильно».

В жизни эта полярность бывает редко; события располагаются где-то между *да* и *нет*. «Мне с ней хорошо, но не совсем», «Работа меня устраивает, да надоела» и т. д.

То же и в науке. Самая точная есть область неопределенности.

* * *

Национальные конфликты имеют биологические причины: популяции охраняют свою территорию.

* * *

Только спустя полвека после войны я почувствовал ее последний удар: кругом меня стало пусто. Никого. Мы все же были — пришедшие, недобитые, уцелевшие. Фронтовики. Сейчас, в XXI веке, все свои остатки стала добирать война. Сергей Орлов, Миша Луконин, Булат, Дудин, Самойлов, Астафьев, Б. Слуцкий.

А время продолжает свою работу, не только убивает, оно еще и убирает когда-то известные, любимые стихи, повести, сокращает и сокращает списки той военной нашей литературы, что приросла, казалось, навсегда и к нам, и к памяти о той Великой, Отечественной. Уцелело в песнях.

* * *

Во время блокады люди исчезали не только умирая от голода и снарядов, исчезали в Большом доме, террор не утихал.

Почему у нас дети и внуки не задают неприятных вопросов? В Германии они задавали. Озадачивали. Смущали. Сделали немало для покаяния, очистки мозгов. Всего лишь вопросы. Теперь уже не остается тех, кто ответит. Кто сможет рассказать, как было на самом деле.

Спрашивать интересно родного, близкого человека — участника, потому что его ответ — честный, лукавый, злой — все равно приоткрывает семейную историю, чем-то прикрытую для детей. Им преподавали «прошрое без отцов». Или «отцов без прошлого». Дети жестоки, но они имеют право знать, они наследуют фамилию, фамильную историю. Не только подвиги, заслуги, но и преступления. Им хотят передать лишь оправдания — «такое было время», «нас заставляли», «выбора не было». Оправдания без самих преступлений.

Любищев считал величайшими учеными Эйнштейна и Галуа. За их нравственную жизнь. Интересен список его любимцев. Там Алексей Константинович Толстой, Некрасов, Фейхтвангер, Верфель... Любил, то есть пользовался, цитировал. Обязательно цитировал, находил в них поддержку своим мыслям. То же самое было у него с Платоном. Да еще и Есенин. Образование, эрудиция забавно соединялись у Любищева с наивностью. Так он рассылал письма по редакциям, журналам — насчет Лысенко, о том, зачем поставили памятник Юрию Долгорукому на месте обелиска Свободе. Ни одно из его писем не было напечатано, однако его нигде не считали «чай-

ником», «психом», письма были аргументированы, написаны с блеском. «Комсомолка», Радиокомитет, «Известия» — отовсюду вежливый отказ. Он вновь писал, возражал на отказы. Казалось бы, старческая назойливость. Ничего подобного, он знал, что письма его переписывают, передают из рук в руки. Иногда у него завязывалась переписка. Например, с Ярославом Головановым, писателем-публицистом.

В организме Любичева был завод, от слова «заводить», заведенная на всю жизнь пружина. Понятие «эрудит» лишено духовности, так что он был не эрудит, а, скорее, нравственная личность, чья этика не регламентирована. Он предпочитал мыслить, а не морализировать.

* * *

Есть в искусстве «эффект попадания». То есть какой-то романс, допустим, заставляет резонировать вашу душу. Вызывает слезы. Или приводит в счастливое состояние. Не обязательно, чтобы шедевр. Именно не шедевр, потому что это не талант действует, а мое воспоминание, отозвалась струна на когда-то пережитое. На мечту, что не сбылась. Стихотворение. У меня — лермонтовское «Выхожу один я на дорогу». Или пастернаковское — «В больнице». А то вдруг расстроит Вивальди «Времена года». Картина, я упоминал уже про нее, это — вечер, платформа, полустанок... У каждого человека свой набор чувствилищ.

* * *

В марте 2008 года у меня состоялся разговор с
388 Президентом страны В. В. Путиным. Примерно

45—50 минут мы вдвоем просидели, никто нас не беспокоил, и я мог свободно высказать некоторые свои соображения о нашей жизни. Нельзя сказать, что я наилучшим образом использовал эту возможность, но кое-что мне удалось высказать. Например, о том, что у нас творится с образованием. Гуманитарным. Последнее время был взят курс на компьютеризацию школ, и тут много сделано: классы обеспечены компьютерами, школьники умеют ими пользоваться, пользоваться Интернетом — это необходимая часть образования. Необходимая, но недостаточная. Компьютер — это железка, это автомобиль, на котором можно ехать куда угодно. Но куда и зачем? Компьютер приучает мыслить в системе «да», «нет», «+», «—». Самое умелое пользование им не делает человека добрее, милосерднее, благороднее, он помогает знать, но не помогает быть человеком. Это вообще нынешней школе не нужно, она стала для знаний, она отказалась от воспитания. Никто уже не говорит детям, даже маленьким, в первых классах, что надо защищать слабых, не учат их говорить «спасибо», «пожалуйста», «до свидания», ни вежливости, ни благодарности, не говорит о любви к природе, ко всему живому, о том, что если кто-то плачет, может быть, надо ему посочувствовать, утешить. Оказывается, компьютеры тоже не занимаются этим, никто этим не занимается, и в семье нынешней этим не занимаются, потому что работают много и мать, и отец, а еще и потому, что и их уже не учили этому. Мы вырастили два или три поколения в обстановке «давай-давай», «милосердие — мелкобуржуазные предрассудки»,

«советский человек не может быть несчастным» и т. п. После войны было не до гуманности, война создала огромное сиротство, неполноценные семьи. Тридцать миллионов погибших, это, в общем, был замечательный генетический фонд России. Восстановить его нелегко, и сделать это с помощью компьютеров невозможно.

Все это, как я мог, наговорил. Мне показалось, что Президент был согласен, во всяком случае, он не возражал. Но я-то понимаю, что существует страшная погонялка или сила практицизма, надо готовить специалистов скорей-скорей, тех, кто знает математику, физику, химию. А стихи, они-то зачем сегодня? Стихи подождут. И «спасибо» подождет, и грамотность подождет, ее берет на себя компьютер. И что же в результате мы можем получить? Еще одно поколение невоспитанных грубых хамов, говорящих на уродливом русском языке, отвыкших писать, да и читать, они могут не знать уже, в каком веке жил Пушкин и что он написал — то ли «Героя нашего времени», то ли «Анну Каренину». И это вполне устраивает владельца фирмы, да и руководителя муниципалитета. Так мы будем жить еще ближайшие годы.

* * *

Одно из любимых моих рубаи О. Хайяма:

*Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежный ветер в вечной книге жизни
Мог и другой страницей шевельнуть.*

Ко мне пришел изобретатель, принес прибор, измеряющий шум аплодисментов.

— Зачем это?

— Ну как же. А успех выступления как узнать? Или спектакль, или певец, как узнать, насколько хорошо он пел?

* * *

Апрель 1945 года. Германия. По дороге тянется процессия военнопленных немцев. Дорога разбита танками, грязища. Сопровождающих наших не видно. Обычно давали хотя бы парочку автоматчиков вместо конвоя. Мы стали выяснять, где у них конвоиры. Выяснилось, что есть наш старшина, где-то он посреди колонны. Нашли. Что же мы увидели — шестеро немцев, взявшись за плащ-палатку, несут старшину. Он разлегся, покуривает. При виде нас неохотно вываливается на землю, одергивает гимнастерку, рапортует. Вышли на обочину, майор ему выговаривает, старшина согласно кивает. Так же согласно, будто подтверждая упреки, объясняет, что так ему удобнее их всех держать «в присмотре». Чего ему шлепать, месить эту грязь, по такой дороге не набегаешься. Отчасти он прав, мы-то в машине, нам легко его отчитывать. Майор отдает распоряжение, хотя не имеет на то прав, танкисты с этими конвойными частями никак не связаны. Мы понимаем, что когда отъедем, он опять уляжется, что ему сапоги пачкать, и пустит нам вдогонку матерка.

* * *

В семье малыши кроме официального имени получают свое, домашнее, для внутреннего пользования. Мою дочь звали «Тюльпанчик», внука «Кузя», у друзей дочь — «Чука», моего приятеля — «Гига». Этим детским именем мы его звали и в институте.

Мать, отец хотят иметь отдельное от других, личное обращение, это потребность любви, ей нужен тайный собственный словарь. С неистощимой изобретательностью создает она свои слова, непохожие на обычные, бессвязные междометия, наполненные смыслом только для своих. Даже обыденные слова выходят из любимых губ обласканные, расцвеченные. Означают они не совсем то, что слышит посторонний. Этот язык для двоих, троих, его никогда не было, он не повторится, его невозможно сохранить, записать. Ни нотами, ни буквами... «Тати-па», «Буся», «Круня». Бессмыслица? Ничего подобного. Тут своя история, свое чувство.

* * *

Если Бога нет, то все дозволено, сказал Достоевский, и это справедливо. Применительно к человеку маловерующему, совсем неверующему можно сказать так: «Если совести нет, то все дозволено». От совести ведь никто не отказывается, никто не хочет признать себя бессовестным. Вот тут совесть выступает как божественное начало.

* * *

Не могу представить себе положение судей на Страшном суде, когда дело дойдет до Н. С. Хрущева. Сочетание преступного, лживого, трусливого, за-

тем смелого — скольких спас. Вернул из лагерей, стал строить людям жилье, из бараков, из коммуналок в отдельные квартиры, и тут же расстрел рабочих в Новочеркасске. Сталина выносит из Мавзолея, полет в космос Юрия Гагарина, появление дворцов бракосочетания, Хрущев доводит отношения с США до Карибского кризиса, до кануна атомной войны...

Ну как они там, на Страшном суде, смогут разобраться в этом хаосе, как определить итог, понять, что же в конце концов получилось — праведник или грешник? Совершил ли он больше добра или преступлений?

* * *

Константин Панков — ненец из мансийского поселка. В 1941 году ушел добровольцем на фронт и, как многие, стал «пропавшим без вести». До войны прославился как художник. После войны слава его работ выросла, у Геннадия Гора было несколько его живописных полотен. Замечательные вещи. Гор написал о нем книгу. Юра Рытхэу говорил о его судьбе: «Из наскальной живописи сразу перешел на холст и в музей. Северный Пиросмани».

* * *

На одной читательской встрече выступил мужик, сказал: «Никто не знает, зачем мы живем. Если бы можно было у кого спросить. Если бы кто ответил — зачем, совсем другая была бы жизнь. Как вы думаете?»

Я почесал затылок и ничего не ответил. Мелькнула мысль, что не может быть общего ответа для всех, у каждого свое. Но ведь вопрос этот ко всем

приходит... Нет, не получается. Да я и не должен пытаться ответить, истина выше человеческого ума, никак мы не смиримся с тем, что есть вопросы, непосильные нам.

* * *

В России важно не что ты знаешь, а кого ты знаешь.

* * *

Директор школы обещает родителям: «Вырастим детей, приспособленных для сегодняшней жизни. С крепкой хваткой, умелых пользователей, способных постоять за себя и физически, и морально, знающих цену деньгам».

* * *

В Ленинграде в районах были дворцы культуры, в каждом кружки вышивки, драматические, хоры, литературные объединения, лектории, библиотеки. Это, по сути, были клубы. У них был принцип: помочь каждому человеку стать творцом. Ныне все это съезжилось, прекратилось. Нет денег. Нет у людей времени.

* * *

Замечательное я прочел письмо М. Гаспарова его французской знакомой М. Х. Ботт. Написано оно было в 1992 году. Привожу из него лишь выдержки.

Она спрашивала Гаспарова — можно ли еще что-нибудь сделать в России или народ развращен уже безнадежно?

Гаспаров отвечает: «Что значит развращен? Продажен? "Продажность" — это не душевное качество, это простое следствие общей нищеты. Люди дают и берут взятки на каждом шагу... но разве до революции Россия не славилась гомерическим взяточничеством?..»

Гаспаров-античник напоминает: повсюду бедность вела к взяткам, в древних Афинах в частности.

«У нас сейчас много пишут, что советская власть отучила людей трудиться, тем, что даже бездельнику давала кусок хлеба. А сто лет назад Ключевский (умнейший из русских историков) точно так же писал, что русские люди отучены трудиться и причина этого, — говорил он, — триста лет крепостного права. Россия не патологически порочная страна, — она только очень отсталая страна».

Гаспаров, один из крупнейших русских филологов, видит свою задачу в том, чтобы заниматься просвещением, это то, что он может делать и делает. Он сознает, что его труды, его античные переводы не дело первостепенной важности, но они нужны. Так Япония быстро догнала Европу, когда после революции 1968 года занялась не только металлургией, но и стала переводить Шекспира и Эпиктета.

Гаспаров упрекает Солженицына за пренебрежительный термин «образованщина»: «Без этой образованщины (а по-старинному говоря просветительства) ни в России, ни в Африке — нигде ничего не получится».

Я вдруг остановился посреди улицы, пытаюсь поймать мысль, которая вот-вот мелькнула и исчезла. Что-то это было важное, очень важное. Никак было не вспомнить. Остался только светящийся след. Весь день меня преследовало ощущение потери. Так со мной бывало. Тут нужно не отступаться, задать себе: «найти!» Мозг должен начать поиски, я уверен, какие-то следы в памяти остаются даже от случайного промелька. И назавтра так и случилось. Опять же на улице: впереди меня шла мать с девочкой. Моросило. Хмурая питерская сырость. А девочка, отпуская мамину руку, подтанцовывала, прыгала, что-то не то щебетала, не то напевала. Чему она веселилась? Да ничему, своему существованию, этому миру, этим маленьким и большим лужам, тому, что мама рядом, тому, что ей семь лет. Это была просто радость жизни, самое естественное, самое главное чувство. Когда-то оно переполняло меня. И тот промельк был именно об этом, что-то оттуда, из моего детства, прорвалось в нынешнюю хмурую душу. Мысль была о том, что пока мы хмуримся на безобразия нашего бытия, сетуем на криминал, коррупцию, инфляцию — жизнь-то проходит. У детей тоже хватает обид, неприятностей. Но они умеют обходить, не застревать в них. Дети мудры, они говорят — «радуйтесь, пока не поздно», говорят, между прочим, нам, взрослым, учат нас, они мудрее, на их стороне птицы, зайцы, рыбы, весь животный мир. Ведь и у меня тоже когда-то было то счастливое чувство принадлежности к этому миру. Вспоминалась та пора

смутно, не события, а счастливая легкость, умение летать, перепрыгивать через дома, реки, лужи. Вдруг я увидел, как вся последующая жизнь потеряла восторг своего существования. Заботы о будущем, учеба, работа, любовь, все уводило во взрослый мир. Там не до прыжков, там все больше претензии к жизни, видишь ее несправедливости, безобразия. Это угрюмый мир, в нем редкие просветы любви, а для восторга нужна причина. Беспричинная радость — с чего бы это?

* * *

— Ты хотела бы меня видеть?

— А то, — но произнесла она это так чудесно, что все мои сомнения сразу кончились.

* * *

Ленинизм был, сталинизм тоже, а вот у Хрущева не получилось, и у Брежнева, и у Горбачева, невозможно было создать из них учений, никак.

* * *

— Что для вас самое непонятное в жизни?

— То, что со мной произойдет после смерти.

* * *

Грузин: Кто девушку кушает, тот ее и танцует!

* * *

За что я люблю историю:

— Скрывали свое дворянство, теперь хвалятся, доказывают, покупают титулы графа и князя.

* * *

Появился лозунг «Стыдно быть бедным».

— Бывшие секретари обкомов ходят в церковь, повесили дома иконы.

— Ищут родственников за границей.

— Покупают поместья, виллы за границей.

История переворачивает жизнь как песочные часы.

* * *

Хорошо умирать, не зная об этом. На войне такую смерть доставляют по воздуху. С большой скоростью.

* * *

— Вы можете только любить, а ненавидеть вы умеете? Нет. В том-то и беда. Вы не знаете этого чувства. Оно бывает сильнее любви. Душа от нее гниет, она, ненависть, все выжигает и не оставляет ничего для любви.

* * *

Понимаю, что живу неправильно: поздно встаю, ленюсь, мало гуляю и т. п. Но существуют ли правила, как надо жить? Если все это исправить, станет ли жизнь правильной?

* * *

Наука отвечает на вопрос «что есть что-то?». Или — «что будет, если то соединить с этим?»

Но никак не на вопрос — «к чему мы должны стремиться?».

У. Джемс заметил: «Сколько бы мы ни изучали расписание поездов, мы не узнаем, куда нам ехать».

Так, информатика, компьютер не подскажет, что нам выбирать. Компьютер дали, Интернет есть, а цели не дают, самому надо находить. Где она, хоть бы подсказали.

* * *

На свете нет некрасивых женщин, есть только женщины, которые не знают, как сделать себя красивыми.

* * *

Получил из архива фотографию Ольги Берггольц. Малоизвестную, может, неопубликованную. Она на всех портретах хороша, она, как говорят, фотогенична. Что это означает, не знаю. Фотоаппарат существо равнодушное, понравиться ему, подкупить невозможно. Портрет черно-белый. Ее коротко стриженные волосы были золотистого цвета. Бывает такая натуральная прелесть. Я застал Ольгу Федоровну в возрасте, ей было 44—45 лет. Позади война, блокада, арест, пытки, «Ленинградское дело». И все это сполна, без пощады. Но представить ее моложе — не мог. Все последующие годы нашего общения, ее развод, одиночество, выпивки — сказывались, но она не старела. Удивительное это свойство. Ни голосом, ни фигурой, ни глазами.

Этот портрет отличался от остальных, и от портрета, что имела моя память, что-то было схвачено. Фотопортрет как выстрел в пролетающую цель. Цель — то сокровенное, что иногда мелькает в глазах, в лице — приоткрылась. Душа? Обычно человека видим, а бывает, что душа выглянет. Настоящий фотограф ее подстерегает. Тогда появля-

ется портрет второго видения. Вспыхнет свет внутри, и можно увидеть того, кто там, внутри, ту личность, что отделяет эту красоту от обычных красавиц...

Смотрел я, смотрел — и вдруг вспомнил, как красота Ольги Федоровны была для меня связана с ее поэзией, со всем ее пребыванием в литературе.

*Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы...*

Странная мысль не давала мне покоя. Образы других известных женщин появлялись — Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, кто-то еще, не мог сразу припомнить. Дело даже не в женщинах, дело в поэзии. Пастернак, Есенин — они ведь тоже были хороши. Они выделялись своей красотой. А Шостакович. Как прекрасны его молодые портреты. Да и в зрелости, когда я его видел, как благородно и нежно выделялся его облик. Затем я вспомнил Ландау, его точеное острое лицо, всю его легкую, летящую фигуру. Моего любимца Тимофеева-Ресовского, его античную мощную красоту. Молодой Михаил Зощенко, Александр Блок. И прежде я любовался портретами Оскара Уайльда, Шиллера, Г. Гейне, молодого Гете, и старого тоже. В них соединялся мощный талант и внешность. Не случайное совпадение, а естественное сочетание.

Мне можно возразить другими примерами. Гениального О. Мандельштама нельзя назвать красавцем. И Вольтер, и Мольер.

Зато как хорош собою был Д. С. Лихачев. Во всех возрастах, вплоть до последнего часа. Благороден, статен, глаз не оторвать. Вспомнилась мне внешность Ивана Бунина. Дворянское происхождение обозначено было отчетливо.

Из наших, советских — Виктор Некрасов, Александр Фадеев. Существует ли в самом деле какое-то соответствие таланта и внешности? Гений, он к тому же и красив — это что, совпадает? Да, недоказуемо, никакой связи не должно быть. Но когда я смотрел на Шостаковича, я думал — как правильно судьба наградила его и внешностью гения, какое счастье подобное соответствие.

* * *

Она опоздала, восход заканчивался. Солнце уже появилось, первый краешек. Она вспомнила, как долго готовится восход. Долго, бесшумно. Синева растворялась, вскипала медь, туда добавлялось золото, какие-то порции сурьмы, из всего этого выплавлялось солнце. Оно выглядывало осторожно, чуть-чуть, убеждалось, что на пляже никого.

Море пробуждалось. Моря было много. Надежда Павловна вспоминала эти минуты, которые она так любила. Она видела море с обрыва, как оно вздыхало, выпукло живое, дышало теплом, солью. От земли пахло дымом, сушью горячего камня.

То, что она помнила, было ярче того, что творилось сейчас. Море выглядело огромным животным, оно терлось о берег, тоже животное, поросшее зеленой шерстью. Шерсть эта поредела, торчали бетонные здания, они, словно кости, высывались повсюду.

Надежда Павловна присела на дощатый лежак, не заметила, как стали появляться люди. Шезлонги, шашки, зонтики, подстилки. Кто-то шумно надувал матрац. пляжный фотограф установил застекленную витрину. Она вспомнила, что тогда на витрине была ее большая цветная фотография. В полосатом купальнике. Она пошла по песку вдоль воды. Дойдя до витрины, задержалась.

— Вы должны заснять ваше лицо, — сказал фотограф.

Она улыбнулась.

— Особенно улыбку, — сказал он.

* * *

«Язык — это шаг в сторону от природы», — сказал кто-то из мировых умников. Я не сразу понял, что вся суть в предлоге «от». Человеческий язык что-то передает, а что-то не в состоянии. Ну не способен. У него ведь только слова, ограниченный набор. Мать, та понимает ребенка без слов. Животные общаются звуками и еще чем-то.

У Толстого Левин и Кити объясняются начальными буквами. Им этого достаточно, слов не надо. Все живое, от козявки до слона, общается друг с другом без слов, у них система сенсорных сигналов.

* * *

Сократ утверждал, что лучше перетерпеть несправедливость, чем самому быть несправедливым.

Как бы не так, а если я могу отсудить себе квартиру, даже комнату в коммуналке? Никакой Сократ меня не остановит. Потому что я ему докажу,

что я прав, что это вполне справедливо — отсудить себе комнату, мне она нужнее.

* * *

Чем дольше я живу, тем обиднее покидать жизнь. Не потому, что привык жить, такой привычки не бывает, виной ее прелесть, с годами лишаясь многого, лучше ценишь ее красоту и чудо. Долго ходить не могу, слышу хуже, путешествия кончились, запреты обступают со всех сторон и оказывается, что этот небольшой клочок позволяет жить вглубь, там свои радость и подарки. Сидеть в саду и любоваться молодой листвой, парочкой на соседней скамейке, воробьями, дроздами, детьми в песочнице, как знакомятся собаки... Из окопа в перископ приходилось часами следить за тем, что творилось напротив у немцев. Возможно, тогда я понял силу пристального наблюдения, как оно расширяет мир. Старая, открываешь для себя новые пласты жизни.

* * *

— Вот я была абсолютно верна мужу, такое воспитание получила. Он знает это, привык, принимает как должное. Иначе и быть не может. Фактически я уникам. Подруги меня за дурочку держат. Мне плевать, но от него хочу почета. Чуть что — я в обиду — как же, не ценит, на руках носить должен, а он... Я думаю, от такой святости характер портится. У безгрешных требовательность непомерная. Будь у меня парочка романов, я бы вела себя мягче. Он мне что-нибудь, а я про себя вспомню и прощу ему, и улыбнусь.

Все было не совсем так

* * *

Будущее непрозрачно, но ведь и прошлое тоже. Произошло убийство С. Кирова. Событие непреложное. Убийца Николаев. Его расстреляли. В связи с убийством начались в Ленинграде репрессии. Высылали, сажали, расстреливали. Спустя почти семьдесят лет публикуют материалы о том, что Николаев не связан с оппозицией, а убил Кирова из-за ревности, застав его со своей женой в самый уличающий момент.

Берия оказался шпионом и предателем. «Ленинградское дело» — туфта, как и прочие процессы, «Катынь» дело рук НКВД, а не гитлеровцев. И тому подобное.

Думается, еще много другого в нашем прошлом искажено, подделано, оболгано, о чем мы знать не знаем.

* * *

Однако: «К чему нам в быстротечной жизни дерзко домогаться столь многого?»

(Горацій)

* * *

Свету нужна энергия, тьме — ничего не нужно.

* * *

«Найти человека в человеке, значит, найти его предназначение», — говорил нам Меерзон.

* * *

Женщины все меньше нуждаются в семейных узах, не шибко жаждут мужей. Прежде всего хоро-

шо устроенные женщины, деловые, преуспевающие. Таких становится все больше. Она обеспечена, независима. У нее есть друг. А если появился ребенок, то вместе с мамой-бабушкой будет иллюзия семьи. Без обременительных добавок.

* * *

В 1982 году я прожил в Копенгагене неделю в семье слависта — профессора университета. Было любопытно познакомиться с бытом датчан как бы изнутри. У профессора было два взрослых сына, жена, все работали. Утром завтракали вместе, вечером сходились на ужин. У каждого своя комната, у меня тоже — гостевая, общая столовая. Квартира большая. Но интересно — скромность существования. Однообразный завтрак: на столе сыры, колбасы, редко яйца, кофе, чай. На ужин — запеканка — мясо с грибами. Суп раз в неделю. Жизнь у них, на наш взгляд, очень экономная, повсюду счетчики: счетчик тепла, счетчик воды... Это не бедность, это стиль жизни местной интеллигенции.

Внизу в подъезде дома объявление: «Дорогие соседи, у нас будет вечером праздник. Извините за шум, который продлится до двух часов ночи». Подпись.

Когда мне надоел этот рацион питания, мне со смехом сказали, что и в королевском доме Копенгагена примерно то же меню.

Да, забыл: пива в доме вволю, а также соков.

Однажды я потребовал внеочередного супа, потому что без супа не могу. На ужин мне сварили, и вся семья жадно накинулась. Просили добавки.

* * *

Вся философия Владимира Михайловича Т. сводилась к восторгу перед жизнью: «Я живу! Я хожу! Я смеюсь!»

Он удивлялся, ликовал:

«Какая голова на мне, там все время рождаются мысли. Чудо! Раз я могу думать, то каждая минута — счастье».

С ним всегда мы попадали на территорию счастья.

* * *

Однажды он признался мне: с детства он сидел рядом с матерью, она вязала, и он тоже научился, стал помогать ей. Баловства ради связал себе жилетку. После института успешно защитил диссертацию, написал книгу о Екатерине Великой, о Павле. А потом в науке стало бедно, у историков совсем бедно. На зарплату не прокормиться. Стал вязать кофты. Пошел продавать их на рынок, там торгуют по две тысячи, он, чтобы не стоять, стыдно, продавал по тысяче. Ему пригрозили, он не послушал, его избили. Тогда он договорился с магазином, сдает им продукцию. Купил вязальную машину, вяжет по вечерам. Теперь жена присоединилась, шерсть ему поставляет один эстонец. Зажили прилично. Накопит денег и вернется в науку.

* * *

Лев Толстой был отчаянный писатель: разгромить «Короля Лиры», да при том аргументированно, привлекая первоисточники! Он не побоялся

написать свое Евангелие, а всех апостолов отстранил так, будто не они, а он лучше всех знал Христа. Ничего путного у него не получилось, и не могло получиться, однако чем-то это симпатично. Когда я встречаю подобные выходки, я завистливо вздыхаю. Вот, к примеру, Стивен Фрай в книге «Как творить историю» выдает такой опус: «...если ты, историк, обнаружишь то, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это *твоей* проблемой? Ты сообщаешь факты».

Эти английские писатели меня всегда воспитывали в почтении к своей королеве, и когда натыкаешься на такое, можно обадеть, чего и добивался этот гребанный Фрай.

* * *

Она презирала Нюрку, слишком грубо та выламывалась перед Серегой. Норовила ткнуться в него грудью, глазами стреляла, хохотала громко, хотя было не смешно, зубы у нее были с желтизной. Серега же был тоненький, начитанный мальчик, он насмешливо поглядывал на Нюрку, потом на нее, на Тонечку, и они друг другу что-то улыбались, как заговорщики. Она еле заметно пожимала плечами, подчеркивая Нюркину вульгарность. А потом, на улице, Серега вдруг пошел провожать Нюрку, а Тонечка осталась одна, снова одна, в который раз одна, шла и плакала от несправедливости.

* * *

«Чудо не против природы, оно против того, что нам известно о природе».

(Блаженный Августин) 407

* * *

Преимущество машины перед человеком то, что гнусной, подлой, несправедливой машина быть не может. Плохая машина уничтожается. Почему же в человеке этот принцип целесообразности не работает?

* * *

Заслуга ученых-атомщиков в том, что они сделали мировые войны невозможными. Все понимают, что никто и ничего не уцелеет. Завоевывать приходится нефтепроводами, газом, математикой.

* * *

Демография автомашин несравнима с нашей, людской. До сих пор у нее не было правил. Количество машин растет неудержимо, они заполнили все дворы, обочины, теснят нас на тротуарах. Давят, калечат. Нас становится все меньше, их все больше. Они все шикарнее, наглее, агрессивней.

* * *

Попробуйте разглядеть песчинку. Крохотную, одну-единственную, как она блестит, какие у нее грани, плоскости. И рядом другую. Оказывается, они разные. Это хорошо видно под лупой. Песок, миллиарды песчинок, возможно, они все индивиды. Различны же снежинки. У каждой своя архитектура, отдельная. Их тоже бесчисленность. Осмыслить эту потребность природы трудно. Зачем она творит подобное разнообразие, к чему этот титанический труд? Но ведь и мы же снежинки, та же гомогенная масса. Если посмотреть на нас издали,

с другой планеты, при большом увеличении — планктон, при меньшем — песок.

О ЧТЕНИИ КНИГ

Работая над повестью «Эта странная жизнь», я знакомился с архивом моего невыдуманного героя, и там, среди многих томов его исследований, его дневников, писем я обратил внимание на тома конспектов прочитанного. Прочитанные книги А. А. Любищев имел привычку конспектировать. Разумеется, далеко не все, но весьма и весьма многие. Которые чем-либо его заинтересовали. Причем сюда относятся и журнальные статьи, а есть даже и заметки по поводу газетных статей. Вначале он дает библиографическую справку о книге, потом идет краткое изложение, допустим, первой главы, первой части. Какие-то места, особо важные, он выписывал полностью. Затем следовали его собственные комментарии. Иногда он начинал спорить с автором, подвергая его критике. Таким образом, это не совсем конспекты прочитанного, не просто нужные выписки и переложение. Это скорее переработка прочитанного. Зачем нужны были ему подобные записи? Может быть, он был из тех людей, кто лучше думает с пером в руке, думает на бумаге. Может, чтобы лучше запомнить — записывал. Но вот, что несомненно — кроме всего прочего, он этими записями активно пользовался. Он пользовался цитатами, он пользовался своей критикой для собственных научных работ, беря уже свои мысли, цитируя как бы себя.

Все было не совсем так

Комментарии к специальной научной литературе по математике, биологии, генетике были мне недоступны, оценить их я не мог. Поэтому я читал главным образом записки о таких прочитанных книгах, как сочинения революционера-шлиссельбуржца Н. Морозова, или же замечания о мемуарах Ллойд-Джорджа, или о воспоминаниях Амундсена. Подобных записей набиралось немало. Любитель конспектировал Шиллера, он делал большие выписки из «Марии Стюарт», из «Орлеанской девы» или из Романа Роллана, из Лескова, из Гоголя. И эти записи служили ему, когда он писал статьи о «Драмах революции» Романа Роллана или статью о Лескове. Некоторые записи он потом цитирует в других работах. Так, я часто встречал в его работах по истории науки ссылки и цитаты из трудов Морозова, Тимирязева, Дарвина, Платона, Канта.

Его записи научных книг обладают интересным свойством — его интересовала в книге мысль, оригинальная свежая идея, то собственное, что принадлежит автору. Иногда этого оказывалось до смешного мало. Из большой книги он набирал одну-две странички.

Так происходило, например, с некоторыми книгами о Галилее, о Копернике, об эволюции... Книги эти оказывались малонужной компиляцией.

Были комментарии, которые разрастались у него в большие научные работы. Так, например, роман Веркора «Люди или животные?» толкнул его к серьезному размышлению об отличиях человека от животного с точки зрения и систематики, и эволюционного учения, и философии. Работа его так и называется «О романе Веркора».

Но это уже особые случаи. Большинство же комментариев так и остались как бы замечаниями на полях. Замечания эти показывают работу мысли, которой сопровождается у него процесс чтения. Это была работа. Он читал придирчиво и полемично. Но в то же время он всегда старался уяснить точку зрения автора, понять ход его мысли. Это, очевидно, возбуждало его собственные размышления.

Годами вырабатывалась у него через такую критичность потребность и способность самостоятельного мышления, независимого от научных авторитетов, от, казалось бы, прочных аксиом.

Процесс чтения был не столько ради того, чтобы прочесть, и даже не чтобы знать, а для того, чтобы думать самому, пища для размышления, материал для работы. Похоже было, что любая талантливая, серьезная книга, будь то художественная литература, поэзия, история, мемуары, путешествия — все, или почти все, давало ему этот материал. Или для отрицания, или для созидания.

Любищев много читал, еще больше он размышлял о прочитанном.

Метод чтения книг Любищевым не рецепт, это, скорее, пример, достойный внимания. Крупный ученый, он сам вырабатывал нужный ему способ пользования книгами. Но способ этот интересен и поучителен. Он давал высокие результаты. А главное, он требовал активного отношения к прочитанному. Книги помогали вырабатывать взгляды, собственные убеждения, миропонимание, причем такое, которое состояло не из набора чужих мы-

лей, мнений, не из надерганных афоризмов, а создавалось как система, как работа ума, обогащенного знанием.

* * *

По данным Лорента, за 1481—1809 годы инквизиция подвергла преследованию 341 000 человек, сожгла на кострах 32 000, in effigie (сожгла портреты) 17 659 человек, заключила в тюрьму 291 450 человек. Это за 320 лет! Через каждый день где-то в Европе пылал костер, жгли и сажали в тюрьмы. Католическая церковь работала не покладая рук. Все же православие было куда свободнее.

* * *

Немецкая цензура имеет историю куда более постыдную, чем русская. Воскликание «О Боже!» приказано было заменить на «О Небо!». В Австрии запретили все книги современных французов и таких авторов, как Байрон, Макиавелли, Гиббон.

* * *

Дьявол живет не в общезжитии, а в отдельном человеке, почти у каждого есть свой дьявол-искуситель, большой или малый.

* * *

В войну люди вновь могли скорбеть и плакать, когда хотели.

(Д. Д. Шостакович)

На собрании, когда прорабатывали Зощенко, выступил, конечно, верный сын партии Лев Плоткин: «Зощенко хотел обелить себя в глазах врага. На самом деле он должен был выступать так, чтобы не понравиться англичанам».

Кочетов (еще один ее сын, но уже *любимый*): «Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей».

Это было кликушество, и меня удивляет, кто аплодировал?.. Это были изворотливые речи. Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло выступление Зощенко перед иностранцами. В этом увидели антипатриотический поступок.

«Зощенко единица, это явление мимолетное».

Друзин (главный редактор «Звезды»): «Они, английские студенты, сфотографировали Зощенко, кроме него ни один из участников встречи не был сфотографирован. Буржуазные сынки приехали с враждебными целями, показали, что не согласны во всем с нами».

Ах, Друзин, милый Друзин, как время посмеялось над вашими словами. Как глупо они выглядят. Конечно, и тогда вы для нас были литературным кастратом, я, например, никак не мог выяснить, что вы написали, с какой стати вас приняли в Союз писателей. Ну почему студенты должны были во всем быть согласны с нами — что Ахматова блудница? Что Зощенко — подонок? Они вообще не привыкли к такой форме критики. Кроме того, они знали Зощенко — он переводился на ан-

глийский, знали Ахматову, а вас они знать не знали, и Кочетова не знали — что есть такой писатель.

Кочетов Всеволод Анисимович считал происходящее мимолетным явлением. Как это можно было, неужели он не понимал, что такое Зощенко в истории литературы и что такое он, писатель, о котором все позабыли, знать не знают, вот кто оказался мимолетным явлением.

Это все были однодневки, насекомые, литературная камарилья.

Сложнее с Константином Симоновым — несомненно поэт и прозаик, и драматург — талантливый, еще и фронтовик, для меня фронтовое братство много значило.

Обо всем этом я написал в очерке «Мимолетное явление». И вот теперь, спустя годы, в старых тетрадях я нашел продолжение.

Когда меня выбрали в секретариат Союза писателей, я попробовал хлопотать о пенсии для М. М. Зощенко. Ничего не получилось. Ходил по всяким столичным кабинетам, всюду отказывали. Как теперь понимаю, можно было добиться, если б действовал решительнее — настаивал, ругался, кричал. Не сумел. Не осмеливался? Наверное. Страх еще оставалось много.

Однажды К. Симонов приехал в Ленинград на премьеру своего спектакля в БДТ. На завтра он пригласил меня пообедать. Обедали в ресторане Дома писателей. Был в этом застолье Юрий Герман, переводчик М. С. Трескунов, какие-то родные К. Симонова и я. С чего это меня пригласил Константин Михайлович, я не сразу понял. Отношения у нас были весьма непрочные. Возможно, его

тяготило чувство вины передо мною: когда-то он, будучи редактором «Нового мира», в 1956 году напечатал мой рассказ «Собственное мнение». Тогда же произошла встреча писателей с Н. С. Хрущевым, где он громил «Новый мир». Выступил Симонов и покаялся за то, что напечатал В. Дудинцева «Не хлебом единым» и меня. Я слушал его, довольно жалко это выглядело, даже по тем временам.

И вот мы сидим вместе, весело, мило, как ни в чем не бывало выпиваем за его пьесу, называлась она, кажется, «Четвертый»; Юрий Павлович Герман как всегда хорош в застолье. Вдруг входит директор Дома А. А. Миллер, говорит тихонько Симонову, что там пришла делегация из университета, просят его. Симонов нахмурился — нет, занят, словом, отказал, категорично. Через четверть часа опять появляется Миллер — «студенты настаивают!»

Симонов, подвыпив, размяк, сказал вельможно — пусть войдут. Вошли три студентки, трепеща стали просить Симонова выступить у них. Симонов замотал головой — ни за что. Они чуть не плачут, умоляют, за них вступился Юрий Павлович и я. Тогда Симонов посерьезнел, сморщился и сказал буквально следующее — я больше не выступаю, не хочу никаких встреч, не хочу врать, а говорить правду не могу, невозможно. И такая горечь, такая тоска звучала в его голосе, что девичьи больше не сказали ни слова, опустья головы удалились, оставив нам молчание. Ни от кого я в те годы не слышал такого признания, хотя это были слова каждого из нас.

Хорошо написал Георгий Иванов:

*Рассказать обо всех мировых дураках,
Что судьбу человечества держат в руках,
Рассказать обо всех мертвецах-подлецах,
Что уходят в историю в светлых венцах...*

* * *

Заканчивая пребывание в Париже, Петр Первый сказал: «Город сей рано или поздно претерпит вред от излишней роскоши и необузданности, а от вони вымрет».

Роскошь двора Людовика XIV поражала Европу, Петра же удивляла, он не понимал, зачем нужно такое количество слуг, такие дворцы, и все это сопровождалось невыносимой вонью. Петр не преувеличивал, даже в сравнении с Москвой Париж поражал грязью. В Версале, резиденции французских королей, вонь убивала дворцовую роскошь. Один из французских историков пишет: «Парки, сады и сам замок (Версаль. — Д. Г.) вызывают отвращение своей мерзостной вонью. Проходы, дворы, строения и коридоры наполнены мочой и фекалиями; возле крыла, где живут министры, колбасник каждое утро забивает и жарит свиней, а вся улица Сен-Клу залита гнилой водой и усеянадохлыми кошками».

Цитату я взял из примечательной книги Андрея Ваганова «Технологическая культура». В дополнение свидетельству француза Ваганов пишет: «Все последующие годы парижская вонь только нарастала». Неудивительно, что Петр Первый предрекал Парижу смерть. Удивительно то, насколько русско-

го царя поражал он своим зловоньем. Ни в Москве, ни в Петербурге подобного не было. В петергофском Монплезире пользовались смывным туалетом. На самом деле ничего особенного в этом не было. Колизей в Древнем Риме имел современную канализацию. В Китае в IX веке имелись так же системы бамбуковых водопроводов и канализации. Лондон, Венеция... Все их архитектурные красоты возводились среди удушающего смрада. И только со второй половины XIX века эти народы начинают заниматься канализацией. Чудны дела твои, госпожа Культура.

В 2002 году Англия отметила полтора столетия со дня открытия первого уличного туалета. А до этого?

Ныне состояние Интернета напоминает эпоху отсутствия канализации. Вонь, все загажено, похабные надписи на стенах — типичный общественный туалет в местности без водопровода.

* * *

Нет у нас школ малословия.

* * *

Солженицын вернулся в Россию, всю дорогу от Владивостока до Москвы выступал на станциях и поучал, как надо жить — «не по лжи», как обустроить страну и т. п. Все правильно говорил, полезно, а раздражал. Жил в Америке, в своем поместье двенадцать лет, и явился нас поучать, как будто мы тут олухи, небо коптили, ничего не соображали.

Лев Толстой тоже проповедовал, только по-другому — делился собственными терзаниями, безответными поисками Бога, страхами, сомнениями. Себя

выставлял на суд. Делился своими откровениями. Пытался жить по-другому. Это привлекало, появились толстовцы. Его ругали, высмеивали, о его идеях спорили, но он продолжал владеть умами.

* * *

«Не прожгла вас ненависть, нет ее у вас, слабы вы для такой войны, — говорил нам командир полка, танкист, который два раза горел в танке. — Такая война миром не может кончиться, либо мы, либо они».

* * *

Совесьть — таинство, она сама себе судья, она тот высший суд, который не может быть опровергнут, он высшая инстанция, апеллировать уже не к кому. Совесьть бессознательна, она не принимает в расчет выгоду, это еще раз подтверждает ее божественное происхождение.

От Абдусалама Гусейнова я слышал любопытное замечание, что краска стыда появляется только на видных частях тела — лицо, шея, уши.

* * *

В 1919 году в Зимнем дворце устроили выставку художников всех направлений, от академиков до футуристов. С тех пор ничего подобного мы себе не позволяли.

* * *

Время от времени попадают мне остатки записей для «Блокадной книги», большей частью это отрывки из рассказов блокадников:

«Сорок градусов мороза. Ослепительное солнце необычно яркое, потому что снег не по-городскому чистый. Сам город оцепенел. Бесшумно движутся люди, в этой белизне они кажутся серыми, грязными, обернутые тряпьем. Еле хватает сил набрать снег для чайника. Объявление: "Вожу покойников на кладбище за хлеб. 300 грамм"».

* * *

Виктор Правдюк рассказывал по телевидению, а затем мне лично, о том, как Г. К. Жуков приказывал без суда расстреливать офицеров, в частности летчиков в 1942—1943 годах. За что? За сдачу позиций, за поражение, да мало ли за что, в войну любая неудача — повод. И обязательно кто-то при этом записывал. В архиве Генштаба есть солидная тетрадь, там записаны его расправы. Сам он в своих воспоминаниях об этом ни слова. Было тринадцать изданий его книги (на 2007 год). И всюду дополнения, поправки. Они вносились и после смерти автора, и помногу. Кем? Редакторами, историками. Поправляли. Приводили в порядок.

«Время-времечко бежит, время катится...» — начал он солдатскую нашу поговорку, дальше там шло фронтовое...

* * *

«Если бы Сталин не поднял руки, останавливая овацию, так бы мы стояли и хлопали до сих пор».

(Лазутин, делегат XVII съезда ВКПб)

* * *

Прелестная женщина — душегрейка.

* * *

Старый питерский певец, лирический тенор, доживал под Мюнхеном свой век, с женой, дочкой. Никто здесь не знал, каким кумиром он был в России. Иногда он тихонько напевал, соседи думали, что это звучит проигрыватель. Когда мы жили в Мюнхене, мы с ним гуляли. Ему нравилось материться. Ругался он мастерски. Про свою жену говорил: «баба с яйцами», дочь называл «волчица», а пел так, что женщины млели от его нежного голоса.

* * *

Наполеон умел терпеливо выслушивать возражения. Но до определенного предела. Одного спорщика он спросил:

— Видите ли вы эту звезду?

— Нет.

— А я ее вижу отчетливо. Так что до свидания. Доверьтесь тем, кто видит дальше, чем вы.

Чем талантливей шахматист, тем дальше он видит ход партии. То же касается и полководца, и политика, и экономиста. Многих касается. Наполеон сумел выразить это великолепно.

* * *

Побывав в английской палате лордов (1697), Петр Великий заметил: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду, вот чему нужно учиться у англичан».

* * *

420 Молчим про Катень, не разрешили в прокат польский фильм «Катень» (Анджей Вайда), мол-

чим про депортацию чеченцев, черкесов, кабардинцев, калмыков, немцев Поволжья и прочих народов в годы Великой Отечественной. Перестали врать. Стали молчать.

* * *

Все лучшее создано любовью, все лучшие создания любовью, я результат любви, и моя дочь дитя любви, и все, кого я любил, чувствовал, они получились из любви.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Однажды нам, молодым писателям, устроили встречу с Валентином Петровичем Катаевым. Мы были заворожены виртуозностью его письма. Как стилист, нам казалось, он не имел равных. Он читал нам отрывок из своего романа «Трава забвения». Кто-то спросил его, не перегружен ли такой стиль сравнениями, метафорами и прочей оснасткой. На что Катаев признался, что он старается укротить себя и не может. Лезут они под перо, не одолеть их — не без кокетства оправдывался он. Мы слушали его, завидуя такому избытку. Он гарцевал перед нами своим талантом, подлинным. Много позже сравнивали его с Буниным, установили для себя, в чем разнятся эти казалось бы схожие дарования.

В своих записках «Окаянные дни» Бунин вспоминает, как в Одессе в 1929 году к нему зашел молодой В. Катаев: «Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: "За сто тысяч

Все было не совсем так

убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки..." (интересный набор. — Д. Г.)»

В романе «Трава забвения» Катаев подробно описывает свои встречи и разговоры с Буниным, одним из немногих для него великих русских писателей, своим литературным учителем, своим любимцем. И ни слова о том, что так поразило Бунина, настолько, что он написал об этом, опубликовал, публикация была известна Катаеву. Не отозвался. Не оправдывался, не пояснял. «Трава забвения» укрывала брезгливый приговор учителя.

В нашем ленинградском Союзе писателей работала одна одесситка — Тая Григорьевна Лишина. Она дружила с И. Ильфом, Е. Петровым, Ю. Олешей, со всей знаменитой одесской группой. Знала хорошо и В. Катаева. «Бандит, — говорила она нам. — Самый настоящий, он уже тогда не стеснялся. Пахан. И в литературе остался бандитом».

В пример она приводила его роман «Алмазный мой венец», где он бесстыдно создавал себе рекламу с помощью классиков — Маяковский, Олеша, Зощенко, Горький, Есенин, всех делал корешами, дружбанами, а то и завистниками.

Наверное, он действительно читал Бунина, преклонялся перед ним, но в той же «Траве», как желчно, с какой пренебрежительной издевкой описывает он вдову Ивана Алексеевича, которую посетил в Париже. Но ведь она была женой Бунина, единственной (!), всю жизнь сопровождала его.

Пишет о Бунине и ни слова о том, с какой ненавистью Бунин проклинал большевизм: «Окаянные дни» самое, может быть, страстное и страш-

ное и непримиримое создание Бунина. Обвинительный акт, приговор всей революции 1917 года, Волошину, всем, кто надеялся, поверил, хоть как-то принял. В этом Бунина можно считать провидцем. Есть несколько писателей русских, которые каждый по-своему разоблачили Октябрь. Они спозаранок увидели, что эта революция не имеет оправдания. Самое великое ее обвинение создано Шолоховым в «Тихом Доне». Бесчеловечны и преступны для Григория и белые, и красные. Революция безвыходна, ненависть и тех, и других губит Россию, губит народ, раздирает его на части. У победителей нет оправданий, они запятнали себя ложью, террором, они изгнали сотни тысяч русских, лишили Родины тех, кто составлял славу, гордость страны. Россию раскололи и надолго.

В романах, повестях, в эссеистике есть подлинность тех чувств, настроений, что переживали современники в годы войны и революции. Все это минует документы, нет этого в газетах. Художественная проза сохраняет именно эту исчезающую эманацию истории. Его драгоценную подлинность. У Бунина звучат разговоры тех лет, язык ораторов.

* * *

Они составили заговор. Зомбировать всю Россию. Чтобы проще управлять. Сделать из нас быдло. Изготовить стадо, скотов, полезную безмолвную, послушную скотину. С помощью TV. Пусть после работы сидят перед экраном и смотрят, как истязают, убивают, ловят, судят. Кругом бандиты. Садисты. Маньяки... Таким образом нагоним страх. Без страха нельзя. Во всяком случае, не дадим ду-

мать. Никакой пищи для размышлений. Мозговую активность прекратить.

* * *

«Скучная эта страна и к тому же любить ее надо».

* * *

Этот Сева действовал просто. Проще нельзя. Высмотрит, познакомится, говорит: «Хочешь иметь от меня ребенка? Будет наверняка. Ты же страдаешь от бездетности? И никаких претензий с обеих сторон. Никто никому не должен. Я получаю удовольствие, ты — дитё. То, что ты понесешь — гарантирую, если физиология, конечно, позволяет. Ну, в крайнем случае, не получится, не такая уж катастрофа. Но обычно самые бездетные от меня несли».

Говорил мягко, улыбочиво, получалось даже душевно, без цинизма. Возмущались женщины робко, смеялись, пожимали плечами, но телефон брали, многие приходили, как он уверял меня — 75 процентов.

* * *

В Комиссии «по рассмотрению изобретений и рацпредложений в метеорологии» (была такая, может, еще и есть) всегда отписывались двумя причинами:

а) Изобретение интересное, но нуждается в доработке.

б) Слишком сложное, нужно упростить.

На сей раз ни то, ни другое не годилось. Дело в том, что предлагалось приделать ручку к ведру для

измерения осадков на метеостанциях, так как персоналу без ручки *носить неудобно*.

Впервые в истории Комиссии обе отговорки негодились. После долгих прений Комиссия готова была сдаться и принять предложение. Но тут встает старейший член комиссии и рассказывает, он вспомнил, что 55 лет назад в эпоху революции поступило похожее предложение. Ручку ввели. И что вы думаете, количество осадков по стране резко уменьшилось. Стали выяснять и установили следующее: когда работник несет ведро без ручки, охватив его обеими руками, прижимая к груди, он несет осторожно, так как не хочет быть облитым. Имея ручку, ему наплевать, он идет, размахивая ведром, не думая, что это осадки, а не вода. Он считает, что несет воду.

С облегчением Комиссия отвергла ручку.

* * *

— Я ненавижу великих людей, тех, кто оставил после себя учения, книги, они замусорили мир, в бумажной пыли воздух, язык засорен цитатами, слова изношены, — сказал и с вызовом посмотрел на меня.

— Интересно, очень интересно, — когда я не знаю, что ответить, я задумчиво повторяю «интересно».

* * *

В этом училище преподавали латынь, учили стихи Овидия, Державина, натирали воском паркет, отмечали юбилеи Ньютона, Чехова, Маяковского, Рахманинова...

В Туркмении во времена секретаря ЦК Гафурова, когда должны были его снимать, послали в Ашхабад члена Политбюро Кириленко, чтобы провести пленум. Приехал. Приняли роскошно. Вино, сауна, девочки. Подарили два ковра, дорогие. На одном портрет Кириленко, на другом он же в горах. Пленум не собрали, Гафуров остался править.

* * *

Мой отец считал, что дерево это чудо. Корни гонят воду по стволу вверх на десятки метров. Есть деревья высоченные, в сто метров, это ж какие нужны насосы. В сосудах ствола влага поднимается к листьям со скоростью 60 метров в час! По своей мощности такая система способна поднять соки в дереве на высоту до трех километров. Бесшумно, непрерывно.

Отец показывал, как хитроумно укрепляет себя сосна на камнях, на песчаных обрывах. Я вспомнил об этом в Норвегии, любуясь инженерным искусством сосен, елей, что устраивались на голых гранитных скалах. Каждому дереву приходилось создавать свою конструкцию.

Орнитологи рассказывали мне про золотистую ржанку, из тундры она летит от нас в аргентинские пампасы, находит свой путь длиной в десять тысяч километров. Есть птицы, чьи птенцы совершают перелеты в первый раз самостоятельно, без взрослых. Ладно птицы, но вот бабочка «монарх» улетает на зиму за три тысячи километров. Она, такая крошка, пролетает в день сто тридцать километров.

Великие ученые Эйнштейн, Роберт Милликен, Тимофеев-Ресовский, Добжанский твердили о том, что материалистическая философия «свидетельство невежества», настоящий ученый смиренно склоняется перед мудростью природы, великолепием ее устройств. Они любят цитировать Библию, например: «Всякий дом устроится кем-либо, а устроивший все есть Бог». Возможности любого живого существа огромны, возможности человека достаточно велики. Мозг наш имеет куда больший потенциал, чем мы используем. Емкость мозга, если наглядно изобразить, составляет *двадцать* миллионов томов! Необъяснимо, сколько уместается в тесном пространстве черепа. Мы, обыкновенные люди, имеем в пользовании ничтожную часть своей библиотеки. Наша голова способна выучить все языки мира, освоить десятки специальностей, проштудировать тысячи книг. Сокровище, которое мы носим на плечах, остается нераспечатанным. Тогда зачем оно придано нам? К чему оно предназначено? Природа ведь ничего не делает напрасно.

В псалмах Давида по сути сказано о том, что во чреве матери записаны свойства зародыша, характер, в каком-то смысле его судьба. Буквальный текст: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои: в Твоей книге записаны все дни...»

* * *

Информатика породила уверенность, что теперь мы все помним, все знаем или можем узнать, когда заглянем в Интернет. Он и в самом деле начи-

нен бесчисленными сведениями. Обо всем на свете. Есть, однако, и другая информация — она о нашем незнании. В Интернете ее почти нет, на самом деле она куда обширнее того, что известно человечеству. Наверное, она беспредельна.

Полезно было бы в школе рассказывать о нераскрытых тайнах природы, мироздания, избавлять учеников от научного самомнения. Тайна всегда привлекает, особенно в детстве, юности, тайны природы порождают восторг перед возможностями предстоящей жизни.

* * *

«Суть первородного греха состояла в том, что люди принялись творить сами себя», — написал в своих эфемеризмах Сардоникус. Элегантный этот парадокс коснулся истины, но не задел существа, оно же в том, что после первородного греха *Господь снял с себя обязанность творить людей* и возложил это на человека. Тем самым возложил и ответственность за качество людей, за их наклонности и грехи. По-видимому, все же Господу свойственно познание, процесс познания, Он не сумма готовых решений, Он мыслит, но на ином уровне, чем человек, видит в ином измерении.

ГРАФОМАН

Некоторое время я служил референтом по прозе в Ленинградском Союзе писателей. Это была чистая синекура. Как-то надо было зарабатывать.

428 Поначалу я являлся на работу к одиннадцати утра

и уходил в шесть—семь вечера, чтобы получался полный рабочий день. Но делать было нечего. Я сам пытался придумать себе дело. Приходили графоманы, несли рукописи. Вскоре я убедился, читать эти огромные папки бумаг, большей частью написанных от руки, бесполезно. Во-первых, никакая это не литература, во-вторых, все мои советы переделывать, улучшить пропадают впустую. Графоман верит только похвалам. Они требовали отдать свой роман кому-то из настоящих писателей, чтобы обработали материал «как положено». Другие допытывались — как переделать. Что надо, чтобы напечатали. Большинство писало «из жизни», из своей единственной-неповторимой. В те годы многие хотели рассказать о войне, о блокаде, о том, что они пережили в эвакуации. Сегодня к их рукописям отнеслись бы внимательнее. В то время этот материал был обесценен. Все воевали. Все были блокадниками...

* * *

По мере того, как война уходит в прошлое, образ ее меняется. Никто из нас не знал, что война эта на четыре года. Сейчас же, когда мы пишем ее, это невольно сказывается. Нам трудно вернуться в 1942 год.

* * *

У Горького есть поступки, которые трудно понять — это его предложение поставить Павлику Морозову памятник на Красной площади. Статую! Он сказал об этом на Первом съезде писателей в 1934 году.

ЕСТЬ ЛИ У НАС МИЛОСЕРДИЕ?

В связи с этим хочу привести строки из письма читательницы. Она не соглашалась с тем, что упадок милосердия, как я писал однажды, начался в стране с 30-х годов, когда поднялась волна репрессий. Еще раньше распевали: «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Жалеть никого нельзя было с первых лет революции. Маяковский о Ленине сказал: «Он к врагу вставал железа тверже». Крестьяне жгли помещичьи усадьбы, убивали помещиков, врагов и мироедов, хотя не все были такими.

Никто не призывал их к милосердию, не осуждал крестьян. Не осуждали тех, кто разрушал церкви.

Милосердие *никогда* не поощрялось советской властью, в этом читательница права. Да и до сих пор милосердие не воспитывается в школах, прежние русские традиции милосердия не восстанавливаются в нашей общественной жизни. Благотворительность — да, появилось немало благотворительных фондов, организаций.

Милосердие не сводится к денежной помощи. Да и благотворительность толстых карманов вызвана больше желанием либо откупиться, либо заявить о себе, о своем банке, фирме.

Милосердие — это прежде всего сердечность, сочувствие, жалостливость и, наконец, готовность делать добро всякому.

Больница — казалось бы, вот где милосердие неизбежно, сочувствие без различия возраста, пола, характера болезни. Между тем вслед за врачами берут с больного медсестры, за ними и санитарки.

Берут за то, чтобы приносить судна, за процедуры, за то, чтобы сменить белье, за стакан воды, берут безжалостно. «На вас сочувствия не напасешься». «Ты дала мне стольник, а нассала уже на пять стольников, не будет тебе утки».

Цифра наших потерь в войну — 35 миллионов — ужасна. Это мы стали понимать. Цифры наших бед нынешних — 750 тысяч беспризорных детей, 4—5 миллионов наркоманов, не менее ужасно количество больных СПИДом, алкоголиков...

Порядочный, совестливый стыдится своих поступков, другому хоть бы что, и совет, и украдет, и обманет.

«Почему так жестоко у вас пьют?» — спрашивал меня Фридрих. Он считал, из-за совести. Заглушить ее, избавиться от проклятых воспоминаний. Грехов накопилось много, и то, что творилось в стране, и то зло, что сами творили, — даром это не проходит.

Не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология, наверное, бывает, но чаще я видел, как невозможность жить честно, по правде, уродует души. У человека бывают обстоятельства, когда его вынуждают, когда требуют взятки, предлагают взятки; когда милиция, суд — все прогнило, надо согнуться, молчать, иначе загубишь свое дело, семья пострадает, да мало ли...

* * *

Покрышкин сбил около 50 немецких самолетов, немецкий ас сбил 300 наших. У немцев были свои герои, в том числе и героические летчики. В Виттенберге в 2007 году я встретил бывшего немецкого летчика. Рудольф Томас живет в Гамбурге.

Он рассказал мне, как в войну воевал на штурмовиках. Чтобы выполнять задания, приходилось снижаться на бреющий полет, порой метров до пятидесяти. Так что он видел, как под огнем его пулеметов падают солдаты, как стреляют в него красноармейцы из своих винтовок.

Господи, я сам стрелял, стрелял в тщетной надежде попасть ему куда-то в незащищенное место.

* * *

Репрессии множились, посадили академика Фока, академика Ландау: оба физики-теоретики — с этим не считались. Посадили математика Лукирского, одного из ведущих ученых страны. Погиб в застенках физик Бронштейн. Список велик. В этой обстановке П. А. Капица не менял своего поведения.

Понадобились ему для работы шарикоподшипники высшего качества. Он обращается в наркомат внешней торговли, чтобы купили ему подшипники в известной ему английской фирме. Стоимость 500 фунтов. Приходит ответ от начальника главка: «Ваш заказ получен. Мы изучим, в какой стране и в какой фирме можно купить лучше, дешевле, и вас известим, каким образом мы будем решать эту задачу».

Ответ, можно считать, даже уважительный для советских чиновников. Капица пишет им кратко: «Делайте, как вам говорят, или идите к такой-то матери». Какой именно, он пишет прямым текстом. Начальник отдела отнес это письмо к Микояну, своему наркому, тот при первом случае показал Сталину: «Смотрите, что позволяют себе у нас академики». Сталин прочел и сказал: «Делайте, как вам говорят, или вы все у меня пойдете туда же».

Был немедленно снаряжен специальный самолет, операция по доставке шарикоподшипников обошлась в 50 тысяч фунтов.

* * *

В Баден-Бадене я увидел небольшой памятник жертвам фашизма — евреям. Надпись гласит, что в городе не нашлось ни одного человека, который протянул бы им руку помощи во времена национал-социализма. Это город поставил себе в напоминание, в вину.

Каким-то образом Германия сумела после войны добраться до нутра немца и выковырять оттуда отравленное семя антисемитизма, а ведь как его культивировали.

ЧТО ОНИ ВЫДЕЛЫВАЛИ

Солженицына выслали из Советского Союза. Подняли шум, и партийная власть старалась погасить этот скандал испытанным способом: письмами, одобряющими эту акцию. Конечно, тут же организовали письма трудящихся, которые горячо приветствовали избавление страны от зловредного писателя.

Откуда и как набирали этих слесарей, доярок, ткачих, представителей народа? Один раз я сам был свидетелем, как это делали. Собкор «Литгазеты» по Ленинграду Галя Силина с милым простодушием обратилась ко мне.

— Мы готовим ответ на вашу статью в защиту рассказа Солженицына. Даниил Александрович, до-

рогой, помогите мне, нужен рабочий, который подпишет ответ. У вас есть знакомые на Путиловском заводе. Подскажите, кого просить. Кировский завод — это звучит хорошо. Путиловца!

Ответ должны были напечатать тут же, на той же полосе, что и моя статья о рассказе «Для пользы дела».

Не помню уж фамилию «ответчика», но с помощью парткома он был выделен, и там сознательный член партии выполнил партпоручение, уверенный, что делает хорошее дело.

* * *

900 дней длилась блокада. 900 дней товарищ Жданов, первый секретарь обкома, член Военного совета фронта руководил городом, его обороной.

До передовой можно было добраться на трамвае. Она окружала город. Тем не менее Жданов ни разу не был на передовой. Сидел в своем бункере в Смольном. Оттуда руководил. Невероятно. Немыслимо, но факт. Ленинградцы объясняют просто — боялся. Трус. Трусом был, так же как его начальник генералиссимус тов. Сталин, который тоже за четыре года войны ни разу не побывал на фронте. Единственный генералиссимус в истории России, который не осмелился добраться до фронта.

Первые годы после войны, выступая, Жданов горячо говорил о героизме блокадников, правда, ни разу, если не ошибаюсь, не поклонился памяти погибших, не выразил соболезнования родным. Миллион погибших — слишком много, чтобы горевать.

Память — штука не застывшая. С годами она меняется. В 50-е годы мы судили о ждановском пове-

дении куда снисходительней. Ныне оно кажется позорным, а сталинское вообще чудовищным. Личная память стала нетерпимой. Она не может избавиться от цифры в 37—40 миллионов погибших в войну.

* * *

В Союзе писателей пригелось немало бездарей. Они-то и задавали тон, орали на собраниях, проталкивали в правление своих, иначе им было не выжить. У них было обеспеченное большинство. Сапаров, Шургин, Верховская, Помозов, Вайсенберг — десятки, с толстыми книгами, позабытых напрочь. Мне скажут: нечто подобное было и до революции. Кто помнит таких: А. Пучков, Г. Никифоров. Этих тоже сотни. Или Дмитрий Четвериков. Он перешел к нам из дореволюции. Тогда уж был автором нескольких книг, а теперь, в пятидесятых годах их стало больше, они выходили книга за книгой. Как же, старый писатель, отказать невозможно.

С прозаиками было труднее, чем с поэтами. Павел Далецкий, у него романы толстенные и сам он солиден. Жанна Гаузнер — та дочь Веры Инбер, тоже отказать невозможно. Оправдывал ли себя Союз писателей? Однозначно ответить не берусь. В условиях тотального режима литературные салоны были запретны. Потребность общения, чисто профессиональная, она есть и у писателей, и у живописцев, у всех художников. Творческие союзы давали эту возможность.

Союз писателей Ленинграда насчитывал 400 с лишним членов. Из них 70—80 поэтов. Представля-

ете себе город, где столько профессиональных (!) поэтов. Это же много на целую страну. В Англии, Франции столько не наберется. Сейчас, по прошествии десятков лет, с удивлением вспоминаешь — Кобраков, Хаустов, Трифонов, Журавлев — но ни одной строчки не вспоминается. Елена Рывина. У всех были книги. Правда, издавались с трудом, Союз писателей должен был добиваться, просить, требовать, обращаться в свое издательство «Советский писатель». Книгу обсуждали на секции поэзии. Конечно, хвалили. Поэты уезжали в Дома творчества на юг, в Прибалтику. Там стучали на машинках, писали, писали.

Вспомнил, от Журавлева осталась эпиграмма:

*Михаил Александрович Шолохов
Для многих читателей труден.
Поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.*

Хлестко и несправедливо. Как раз М. Дудин поэт, который остался и до сих пор читается.

* * *

Все подружки влюблены, ходят на свидания, все время звонки, эсэмэски, она одна неприкаянная. Надо влюбиться. Выбрала парня, строитель, в белой каске, комбинезон, забирается по лесам на высоту. Короче — заморочила его, призналась в любви.

Полгода она тоже, как все. Ходила с ним, звонила, наряжалась. Сшила себе платье, купила кофточку вышитую. И вдруг стал ее клеить один робкий очкарик у них на работе, он витрины оформлял.

Краснел при встречах, заикался. Сделал манекен на витрине в виде ее. Смешной. Но совсем другое чувство, когда на тебя смотрят так, будто видят что-то замечательное. Этого у нее не было. Манекену он соорудил ее прическу с челкой. Получилась красавица. Он утверждал, что такой видит ее. И она себя в зеркале стала видеть иначе. Вдруг она открыла, что у нее хорошая фигура. Тот, первый ее парень, стал ревновать. Произошло объяснение. Он упрекал, зачем она его дурачила, сказала, что любит. Она искренне удивилась: она такое не говорила, не может быть. Испугалась, когда он пригрозил отделать того очкарика так, чтобы отбить у него охоту. Она вполне серьезно сказала, что если он дотронется до него, она за это искалечит, убьет. Так пообещала спокойно, что он понял — не останется.

* * *

Алесь Адамович ко всем начальникам подступался с вопросом:

— Допустим, американцы обрушили на нас атомный удар, да такой, что всю Европу под смертную радиоактивность подставили. Если мы ответим тем же, то четверть человечества погибнет. Вас это оставит? Или вы все же ответите тем же, нажмете кнопку?

Хотел в тупик поставить. Не поставил. Все военные обещали тут же нажать кнопку. Начальники тоже нажимали. Убежденно, и впрямь нажали бы, чтобы американцам неповадно было, а то, что весь мир в тартарары, им без разницы, все равно Победа будет за нами.

* * *

«Мы можем многого добиться, если не будем заниматься реформами».

(В. Черномырдин)

* * *

Бело-розовая, пышная, как зефир.

* * *

Если бы каждый человек узнал, какой талант заключен в нем, сколько он может сотворить доброго, чего достигнуть, какая сила есть в нем, какие в его уме таятся открытия, в руках — мастерство, какую радость может доставлять — представляете, как все разом устроилось.

* * *

Есть земля крестьянская, есть солдатская, есть дачная, геологическая, разные есть земли. Мне досталась солдатская, с ней я натрудился всяко, до кровавых мозолей, когда долбали ее, мороженую, под гнезда пулеметные, мать их так перетак, родимую.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Дорогой Даниил Александрович, Вы слишком озабочены исправлением жизни и человека. А ведь Господь создал человека совершенным. Устройство человека умственное и физическое не меняется тысячелетиями. Посмотрите на статуи древнегреческих богов. Софокл, Аристотель, Пифагор не глупее

нынешнего человека. Человек, изобретенный Господом, не нуждается в усовершенствовании.

Знаете, в чем совершенство человека?

В том, что он способен любить — звучит красиво, но и в самом деле, чего стоит жизнь, если она не была согрета любовью. Нет, согрета не то слово, без любви жизнь лишается единственного смысла, единственного света. Когда-то мне казалось, что творчество может оправдать мое существование. Увы, творчество доставляет удовлетворение, но в нем нет счастья самопожертвования.

"Я люблю тебя, а не твои страхи, твою смелость, твои успехи. Люблю и за это, ты хитер, ты груб — и за это тоже, за все, что свойственно тебе, что составляет твою натуру, я люблю тебя, пока ты остаешься самим собой, какой ты есть в действительности".

Никакой орган, ни селезенка, ни берцовая кость не мешает человеку стать святым. Радостный человек не должен заботиться о ближних, его счастье согревает окружающих, и этим он уже помогает им.

Природа тоже предназначена для счастья, для цветения. Поэтому счастливый человек соответствует природе, это гармония. Для счастья надо прежде всего понять, как много есть за что благодарить жизнь. За то, что мы можем любоваться чудом природы, слышать птиц, видеть небо, вдыхать свежесть, за возможность любить, мыслить, смеяться. Способность радоваться жизни лучший дар. Печаль, конечно, доступнее. Поэзия и искусство заняты печалью, историями разочарований, неудач. Воспевать счастье трудно. Счастливые люди не нуждаются в примерах.

Я, дорогой Даниил Александрович, открыл для себя, что могу перевернуть все свои печали, тоску, несчастья так, чтобы видеть другую сторону — счастливую, удачливую. Подняться над облаками — и откроется солнце, оно всегда есть над любой хмарью.

В радости больше мудрости, чем в унынии... В добре больше удовлетворения, чем в ненависти. Доброта — это излучение, это свет счастья.

Отказаться от доброты — банкротство духа.

Мы боимся прежде всего из-за своего воображения. На самом деле, есть не так много бед, достойных нашего страха перед ними.

Я долго вырывал из себя с корнем разочарование в нашей системе, ненависть к Сталину, к тому строю. Новую идею жизни мне уже не найти. Не успеть исправить то, что я потерял. Но находить радость никогда не поздно. Благоговение к чуду этого волшебного мира. "Вся вода плача пусть превратится в вино веселья", — как писал позабытый ныне Горностаев.

Вот так-то, дорогой мой!»

* * *

Любящее начало есть не у всех людей.

* * *

Наполненная знаниями голова уму не научает. Много знаний теснят ум.

* * *

Душа, по Аристотелю, состоит из растительной, животной, человеческой части. Так что их три.

На нас, студентов, произвел впечатление рассказ профессора, как Шостакович, любимый композитор, в разгар последнего сталинского террора написал кантату «Над родиной нашей». Все знал, понимал, ненавидел этот кровавый режим и написал. Или «Песнь о лесах». И ведь музыка хорошая, чудная там fuga, он плохо писать не мог, но стыдился. Премию дали первой степени, он премии стыдился. «Это все мучители мои», — повторял.

* * *

Когда я был в Михайловском, подошла ко мне старая женщина, сунула в руки сложенную квадратиком бумагу, спросила: «Ты писатель? Возьми, потом прочтешь». И ушла. Я был чем-то занят, положил бумагу в карман и только на следующий день прочел. Хотел отыскать ту женщину, да где там! Толпы экскурсантов как бы затоптали все следы ее. Читал, перечитывал ее послание, и оно трогало меня больше, чем статьи о Пушкине, стихи о Пушкине, написанные с душой, умением, талантом. Два листка, крупный, неумелый почерк редко пишущего человека. Адресовано не мне, невесть кому, хотя нет, озаглавлено: «К поэту, поэтессе или к писателю, кто меня поймет!».

Я и подвернулся.

«В Михайловском.

Вот мы в Михайловском, Пушкин! Ходим по твоим возлюбленным местам, любуясь красотой неповторимой, в которой ты прожил, не долго там. Я поняла твои восторги, твои незабываемые поэмы,

сказки и стихи. Я поняла твои идеи и вдохновение, которое описывал ты. Была на пригорке, на твоей могилке, я погрузила со слезами тут, но как взглянула с холмика вокруг на луг, все забыла и горе и испуг, все куда-то делось, красота, место тебе выбрали достойное, милый друг. Все спешат на могилку к тебе. Где ты жил. И романсы писал, и цветы положить. Перед церковью святой на холме, который навеки избрал. Ты и раньше писал, что не забудут тебя. Верно изрек, правда твоя. Бабушка Лиза.

Извините меня старую малограмотную, но литературу любила с детства, особо "Капитанскую дочку" Пушкина. С нее и любовь пошла к Пушкину. Все».

* * *

Довольно известный заслуженный физик однажды поделился своими наблюдениями.

— Чувство непонимания основ усиливается по мере развития науки. Так, нынешняя физика вакуума разрушает представления о пространстве. Еще более эти представления разрушает астрофизика с ее «исходным большим взрывом».

Растет число утверждений, принимаемых на веру, сближая науку с религией.

Многие крупные биологи высказывают все чаще антидарвинистские мнения. Говорят об «исходном плане эволюции», заложенном в свойствах живого.

Один из крупнейших биологов сказал мне (естественно, наедине):

— Конечно, жизнь придумал и начал Господь Бог, но потом он занялся своими делами и пустил все на самотек.

* * *

*Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.*

Эти слова Пушкина опровергал философ в одной из радиодискуссий. Приводил их в пример того, что предлагают людям астрологи, кришнаиты, оккультные науки и прочая, прочая, что развелось ныне.

А так же или о том говорит Сатин у Горького:

*Честь безумцу, который навевает
Человечеству сон золотой.*

Все это признается вредным, искажающим правду жизни и т. п.

Но так ли это?

Пушкин-то имел в виду *возвышающий* обман. Допустим, нет Бога. Так ведь вера в Него требует праведности, милосердия, жизни во Христе, разве это не возвышает, еще как возвышает.

Более того, и вера в коммунизм возвышала. И те, кто прожили свою жизнь, исполненные веры в мировую революцию, в царство справедливости, в миссию советской страны — они жили великой красивой целью. Что же это — плохо? Извините, может, отнюдь не хуже, чем жить в горечи разочарования и опустошенной души.

* * *

В 2002 году стали готовиться к 300-летию основания Петербурга. Решили поставить в честь юбилея памятник. Объявили конкурс. Я посмотрел вы-

Все было не совсем так

ставку проектов. Ходил, ходил. Убогая фантазия кружилась вокруг ангелов и фигур Петра. Вдруг подумалось, а зачем нужен подобный памятник, что за полезность, нигде в Европе, в городах, куда древнее, не видал я памятника в честь 500-летия, 1000-летия. Чего наше провинциальное фанфаронство пузырится? Нельзя ли чем-то другим отметить? Придумал. Поставить знак в Петропавловской крепости на Государевом бастионе — «Отсюда в 1703 году началось строительство Петербурга». Что-то в этом роде. И что вы думаете — уговорил. Общественный совет согласился. Мэр Яковлев В. А. согласился, а в День города в 2003 году торжественно открыли этот знак на Государевом бастионе. Предложили там сбоку высечь мое имя, но я категорически отказался. Торчать там на ветру, зимой, под снегом! Нет, извините.

* * *

Для ленинградцев победа была не в том, чтобы разгромить немцев, а выстоять. Выстоять означало — не расчеловечиться.

* * *

Судьба подарила мне долголетие. Как я использовал это? В конце жизни, подводя итоги — недоволен. А почему? Наверное, довлеет арифметика — мало написал, главного не написал и т. п. Но ведь кроме письменного стола была еще жизнь, с дружбой, любовями, путешествиями. Конечно, можно было написать и больше и, может, лучше. Но за счет солнца, моря, смеха...

Слово «Любовь» не хочет поддаваться множественному числу.

* * *

Американцы первыми начали борьбу с курением. Государство начало. Во всех штатах. Они стали бороться с пьянством. Стремление к уважительному отношению к женщине сперва приобрело чрезвычайные, крайние меры, даже карикатурные, но в сухом остатке это все же стало давать результаты. Экология все больше становится из политики традицией. Здоровье нации заботит все слои власти.

Но самым значительным достижением страны явилось уничтожение в стране сегрегации. Уничтожена она, может, и не совсем, но путь пройден от убитого Мартина Лютера Кинга в 1968-м до выборов чернокожего Обамы. Достойна удивления работа, совершенная с американским менталитетом за сорок лет. Значит, можно так круто, так успешно повернуть народ к лучшему. Чуть ли не половина голосов за Обаму — это что-то значит?

* * *

Мы так много хотим, а жизнь коротка и непредсказуема. Мой комбат требовал землянку в любом случае строить в три наката. «Неважно, сколько мы тут пробудем. Может завтра уйдем — строите в три наката».

* * *

«Она не русская», — говорила Аня про мать мужа полячку. Не русская — это звучало у нее как обви-

Все было не совсем так

нение. Она презрительно кривила губы — «не русская». В этих словах заключалось столько плохого, как будто от нее из-за этого происхождения всего можно ожидать. Ничего хуже быть не может. Не русский — это несчастье. «По-твоему, русский — это заслуга, дается как орден», — спорил с ней Сергей. Но ее ничем нельзя было переубедить.

* * *

Наконец на даче я разыскал среди архивных завалов письмо Г. Куприянова, первого секретаря ЦК компартии Карелии. Он был осужден по «Ленинградскому делу», просидел с 1950 по 1956 год, большей частью в одиночной камере. Письмо большое. А еще стихи. Плохие. В письме же есть места важные. Куприянов много знал, в Карелии работал с Андроповым, может, поэтому его держали в одиночке, чтобы не болтал.

Большое его письмо состоит из довольно банальных рассуждений. Например, о М. Горьком, какой это был великий писатель. О А. Н. Толстом, как он в 1907 году по поводу казни крестьян Херсонской губернии выступил со статьей «Не могу молчать».

Сетует, что нынешние писатели не следуют примеру Толстого, не выступали против «кровавых деяний Сталина».

Спрашивается, почему бы самому Куприянову теперь, на воле, не написать статью о тюрьме, где сидел, о пытках, методах допросов? Человек образованный, читал Вергилия, Горация, Шелли. Взял бы и вместо стихов по памяти рассказал о том, как его мучили. До революции П. Лавров, Фроленко,

Новорусский, Люботович сами писали о своих злоключениях.

Сколько подобных рекомендаций, более того, требований описать репрессии, выступить в защиту рек, лесов, детских домов и т. п. я получал. Как правило, от людей образованных, способных к нормальной публицистике. Пишите сами, выступайте. В лучшем случае они предлагают себя как источник материалов. И за это спасибо. Хотелось бы, чтобы протестное чувство не переадресовывалось ни к писателям, ни к журналистам. Пытаясь сам писать, человек формирует свое сознание, свою позицию, он уже не «источник», а «гражданин». И это достоверно. Это без туфты.

При нашем свидании Куприянов уже был реабилитирован, жил в Ленинграде и работал директором ломбарда. Должность его не устраивала. И жилье. «Дали квартиру из трех маленьких комнат, вместо пяти больших, что я имел до ареста». Так он говорил, так и пишет в своем письме, не скрывая возмущения. Это в 1961 году, когда город еще восстанавливал свои развалины. Блокадники, фронтовики жили в ужасных условиях.

Нет, все же партийные вельможи неисправимы. После этих претензий, признаюсь, все мое сочувствие к нему рухнуло. Бедственное положение людей его не трогало. Ему дали всего лишь трехкомнатную, ему, тому, кто был секретарем ЦК республики. А что он сам из себя представлял? То, что профессора, академики еще ютились в коммуналках, на это ему наплевать. Нет, что ни говори, партноменклатура развращала человека непоправимо. Ни ГУЛАГ, ни тюрьмы не могли выправить его сознания.

* * *

Витя Конецкий рассказывал мне, как пароходами он доставлял на Север десятки тысяч бутылок бормотухи. В Заполярье бутылки сдавать некуда, курганы их высятся по всей тундре.

Ладно, в тундре, но и под Питером леса замусорены. Бутылки, банки, коробки, пластик, пакеты, мешки. Это не наше жлобство: я хочу быть аккуратным, а куда мне бросить мусор? Контейнеры — редкость. Громадные, тяжелые, как танки. Их привозить, увозить проблема.

* * *

У нас были замечательные директора, строители, министры, парторги, те, кто тащил на себе индустриализацию страны, строили ГЭС, Магнитку, Балхаш. Яркие, смелые, инженерно талантливые. Словский, Завенягин, Гонор, Тевосян, Козьмин. Им во многом обязаны мы ракетами, атомным оружием, химией, энергетикой, металлургией. Но нет им места в нашей памяти — ни мемориалов, ни названных улиц, городов, ни памятников им. Нехорошо. Безхозяйство в своей истории. Не знаем уже, кто создавал нынешнюю Россию. Царскую знаем, хотя бы Путилова, Штиглица, Нобеля...

Имя Орджоникидзе убрали отовсюду.

* * *

«Никто не должен преступать меры. Мудрость жизни — во всем знать меру».

(Гиппократ, V век до н. э.)

Дмитрий Хренков был в шестидесятых годах директором театра Пушкина (б. Александринка). Академический, бывший Императорский, один из столпов русского искусства. Дело он (театр) имел прямо с министром культуры. «Выходил» на министра культуры. А была тогда этим министром Екатерина Фурцева. Из всех министров культуры, пожалуй, лучшая. Культура, как теперь выяснилось, имела у нас *остаточный* бюджет, и посылали на нее *остаточные* кадры. Я помню таких министров: Михайлов — бывший комсомольский вождь; Демичев — кандидат химических наук, кандидат в члены Политбюро; Захаров — кажется, доцент-политэконом, наш ленинградский партийный секретарь не то третий, не то еще какой-то. Все они не любили культуру, искусство, ничего в них не понимали, поэтому их и ставили. Чтобы держать в строгости и запрещать все, что можно запретить.

Будучи в Москве по делам театра, Д. Хренков записался на прием к Фурцевой и был вызван на такой-то день и час. Прибыл, явился в министерство, в приемную. Уселся. Помощник министра сообщает, что министра еще нет, надо подождать. Дело привычное, министра всегда надо ждать, вовремя принимающий министр, это не министр. Проходит час. Вдруг в приемной появляются два молодца, отводят в сторону помощника, что-то ему сообщают, потом отворяют дверь кабинета министра, вынимают из карманов отвертки и начинают вывинчивать замок.

Ожидающие приема с небольшим интересом смотрят, наблюдают за этим хозяйственным делом, не придавая значения их неумелым действиям. Единственное, что впоследствии как-то задним умом отметил Д. Хренков, тяжелый вид помощника министра, который, по мере того как они работали, снижал и как бы сокращался в своих размерах. Сняв замок, молодцы сунули его в торбу и удалились. А еще через час явилась Е. Фурцева, прошла через приемную бледная, заплаканная, ни на кого не глядя. Потом из кабинета донеслись рыдания. Забежали референты — воды, капли, появился врач, помощник объявил, что приема сегодня не будет.

Этажом ниже чиновный люд уже все знал, и Д. Хренкову сообщили, что было заседание Политбюро, на котором Е. А. Фурцеву вывели из состава этого органа. По прошествии лет событие это не производит большого впечатления и влияние его на развитие нашей культуры обнаружить трудно. Куда интереснее кажется ныне изъятие замка, который, как сообщили Дмитрию Хренкову, являлся специальным замком для дверей членов Политбюро. Поражает скорость, с которой он был изъят, буквально в считанные минуты после решения Политбюро, еще до возвращения министра с этого заседания. Так что, оперативность наших властей в некоторых случаях заслуживает восхищения.

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ

Один гэбэшник, подвыпив, стал мне выдавать
450 тайны своей профессии.

— Говнецо у каждого свое имеется. Нет человека без всякого дерьма. Поэтому нас боятся, думают, оно нам известно. Значит, он у нас на крючке. Народишко наш пуганый, по телефону боятся слово лишнее сказать. Собираются, так подушкой его закрывают. На кухню уходят. Подслушка. Да разве подслушек на всех хватит. Если записывать, так потом не разобрать, при нашем-то бардаке. На самом деле, ни хрена мы толком не знаем. Что донесут, то и берем. Интеллигенция наша сама производит зеков, будь здоров. Испоганились. Если опубликовать, что пишут вождам. Как лижут. Стыдоба. Трусливые твари твои профессора-академики.

Когда варили «Ленинградское дело», требовали не только политического материала, нужен был бытовой. Чтобы осужденный получился мерзопакостным, со всех сторон. Добывать надо было подробности частной жизни, чтобы были извращения, любовницы, болезни венерические. Куприянову следователь прямо говорил: «Мы вас говнецом обложим с ног до головы, чтобы от вас родные дети отвернулись».

* * *

Отсутствие своего мнения весьма помогает душевному покою.

* * *

«Эти мужики проволоку зубами перекусывают».

Воспоминания о нем у меня выветрились, что-то исчезло, забылось, что-то выпятилось. Облик его упростился, похорошел. На меня, конечно, подействовало общее мнение — гений! Если бы я этого и не знал, было бы впечатление — необычности. Он был изящен, весел, легок легкостью нездешней. Подует ветер и унесет. Он мог больно зашибить своим умом. Не замечал этого. Сам гений злодейству недоступен, оно ему не нужно. У гения нет конкурентов. Ему нельзя помешать — увидеть раньше него что-то новое, угадать, понять. Талант можно догнать, гений находится в другом измерении, птицу догоняй не догоняй — она в небе.

Мы с ним часто гуляли в Дубултах. Не знаю, почему он уделял мне столько времени, может, потому, что я слушал его с удовольствием.

Мне жаловался на него один физик. Работал, работал, никак не получалось задуманное. Рассказал об этом Ландау. Тот сразу обнаружил ошибку, да еще глупейшую. Физик почувствовал себя дураком.

Перенять что-либо у гения невозможно. У него не метод, а озарение. Посредственность хотела бы оскотить его, а то и уничтожить, чтобы как-то не чувствовать свою дурость. Нечто подобное я ощутил у этого физика: было восхищение, но еще больше — злость.

* * *

*В сироварне варят сыр,
В сыре пропасть разных дыр,*

*Чтоб не видно было дыр,
Красной краской красят сыр.*

* * *

Мавзолей на Красной площади — лучшее создание советской архитектуры. С худшим содержанием.

* * *

— Ну хорошо: Отчизна, Отчизна... и что дальше, что прикажете с ней делать? Любить? Я вот приехал в Германию, поселился там, можно сказать, иммигрировал. С женой, детьми. Нам дали жилье. Квартину. Социальную. Но отдельную, с удобствами. В Ганновере. Пенсию приличную. Дети устроились. Мы, конечно, благодарны. Ведь никаких заслуг перед Германией у нас не было. Это чувство благодарности перешло в симпатию, отчасти в признательность, почти в любовь.

* * *

Четырнадцать лет Миша Г., давний мой приятель, прожил в США. Известный генетик, работал он в университетах, сделал много интересных исследований, печатался в лучших научных изданиях. Однажды совершенно спонтанно он разразился энергичной речью по расовой проблеме. Он заявил мне, что ни при каких обстоятельствах в США он не станет обращаться к врачу-негру. Тем более к чернокожей сестре. У него накопился печальный опыт. Они не умеют делать элементарные подсчеты. Его дважды чуть не отправили на тот свет. Делали уколы, всадили десятикратную дозу! Врач поставил неправильный диагноз. Миша убедился, что

и в университете негры плохо понимают суть работы. Вообще повсюду один белый заменяет двух негров. Они вдвое хуже работают, вдвое.

Мише надо было зуб удалить. Врач сделал местный наркоз. Миша чуть не умер. Задышавшись, выбежал, грохнулся на землю. Неправильную дозу дал этот врач-негр.

Американцы страдают от того, что дети попадают в школы, где много негритят. Те хуже понимают, плохо учатся. Поэтому учителям приходится много раз объяснять. Белые дети от этого много теряют.

Чуть что — расизм! Нельзя уволить негра. Было много сделано, чтобы искоренить расизм. Без перехлестов не обошлось. Наверное, иначе не получается.

* * *

Смерть жены после многолетнего брака — это потрясение. Считаются все устои, все привычки. Прежде всего обнаруживается пустота. Пустое место за ужином. Кресло, где она сидела — пустое. Ни в одной комнате ее нет. По привычке торопился домой, она там одна-одинешенька, ждет. Вошел, понимание, что никто не ждет. Несу домой новость, не терпится рассказать, никого нет. Каждый раз забываю, что ее нет.

Платяной шкаф. Там всегда было тесно от ее кофточек, блузок, юбок. Мы их раздали. Покачиваются пустые плечики. Мне надо узнать, когда к нам приезжал Роберт Фрост, какие стихи он читал. Спросить не у кого, она была единственная, кто помнил. Все больше и больше вещей, которые она знала, а я не знаю, не помню и уже не узнать,

кругом посторонние люди. Набирается целый материк безответного, того, чего мне уже никогда не выяснить. Кругом необитаемый мир.

У Юры Рытхэу умерла жена Галя. Мы вдруг потянулись друг к другу. Он был гуляка, теперь стал примерным... чем? Вдовцом?

Вот когда меня все назойливее донимает вопрос о существовании души. Любой атеист, материалист знает, что у него-то душа имеется. Недоказуемо? Душа обитает за пределами доказательств, как сны, как мечта, за пределами естественных наук. Она недосыгаема для приборов, датчиков.

Владимир Адмони, филолог, переводчик, германист, после смерти жены Тамары Сильман никак не мог воспринять ее отсутствия. Для него нереальным было ее небытие. Он не позволял садиться на ее стул, на ее постели раз в неделю меняли белье. Борис Слуцкий не мог оправиться после смерти жены, можно сказать, что это свело его в могилу.

Религии считают душу бессмертной. Она неуничтожаема. Доказательств нет ни у одной религии. Дело веры каждого человека — так или иначе решать этот вопрос.

* * *

Да, мы тоже хотели войти в Берлин, отомстить за все поражения, окружения, бегство, голодуху, за пленных, за четыре года, украденных из жизни. Поторжествовать, подняв свой флаг над развалинами Рейхстага. Хотелось. Всю войну мечталось. Но уже тогда росло и другое — добраться домой. Уцелеть. Раз война выиграна, теперь наше дело — не подставляться.

Трофеи? А чего возьмешь в солдатский мешок? Ну отрез-другой втиснуть. Если серебряные ложки, вилки попадутся. Картины, статуэтки, в них мы ничего не понимали. Картину надо брать большую, чтобы рама хорошая, а как ее дотянешь, самоваров у них нет, книги все на немецком.

Один мужик по дороге показал мне: инструменту набрал ихнего, высшего класса, всякие придамбасы — пилки-сверлилки, так он спец.

Другой вез чемодан с патефонными иглами. Несколько тысяч, где-то у немцев спроворил. Растолковали мне — если каждую иглу продавать по пятерке, а они у нас в дефиците, считай, сколько тысяч. Товар не видный, зато верный. Сунул в карман коробку, никому глаза не застит. Всегда спрос есть.

Это он мне в эшелоне свои планы изложил, когда мы на крыше ехали. На иголках он проектировал дом себе новый выстроить. Еще один вез машинку вязальную, носки вязать. Какой-то фриц пленный ему присоветовал, растолковал, как ее запускать. Одни мигали, другие смекали. Смекалые попадались мужики и правильно делали, свою контрибуцию брали.

ЕДА

Еда как одежда. Меняется. Есть модная еда, есть патриотическая. Своя еда была в начале Великой Отечественной. А чуть позже в блокаду. В первые месяцы войны нас на фронте почему-то усиленно кормили шпротами. Плоские круглые банки. Внутри аккуратно уложены одна к другой золотистые

рыбки в масле. Спустя неделю они нам осточертели. Сытно, вкусно, деликатес, а как быстро приедается.

Нормально кормили концентратом каши — сухая пачка. Черный хлеб, сахар, заварка — пожалуй, это все. В блокаду старшина доставлял на передовую термосы, потом бидоны, в них все было — первое, второе — смешано в «супокашу». Бидоны со временем повредило осколками и пулями. Горячим до передка не довезти. Привозили холодные, а то со льдом.

В блокадную голодуху наловчились с дележкой хлеба. Нарезали буханку, кто-то отворачивался и выкликал, кому этот ломоть. То же было с сахарным песком. Труднее было делить кусковой сахар. Еще хлопотнее было со сгущенкой. Это уже полагалось изредка в офицерский паек. Привозили ее в больших банках. На десять, а то на пятнадцать человек — разливали. В те времена процедура дележки была важнейшей, самой насущной.

В свободные часы любили поговорить о домашней еде: о жареной картошечке, щах, рассольнике, котлетах, разумеется, о пирогах, блинах, настойках, самогонах.

Многое из той нашей еды довоенной забылось, а ведь была русская кухня, и в деревнях, и в Питере, городская — капустная, крупяная, в городе было разнокрупье — пшено, греча, манка, перловка, слушался и рис, и горох. Деревня жила своим огородам. Пекли кокорки, так в Новгородчине называли ржаные лепешки с картошкой или творогом. Пироги были с грибами, морковкой, еще брусничные, клюквенные, начиняли яйцами, курятиной, больше всего капустой. Мед был. Творог.

Еда моего детства вряд ли повторится. Потому что молоко, когда оно от своей коровы, оно особое. И яйца своих кур тоже не магазинные. Молоко топленое томилось в печи. Горшок затягивала коричневая пенка с белым исподом, самая лакомая часть. Деревенская еда имела много лакомств. Принято было сеять горох по обочине дороги для ребятшек. На зиму мать заготавливала высокие поливные горшки варенья, прежде всего брусничного, оно не портилось.

Было блюдо всеобщее — винегрет. Чего было вволю — это репа пареная, огурцы, редька, картошка с подсолнечным маслом.

Самая благодарная память принадлежит домашнему хлебу с простоквашей или молоком. Хлеб был вкуснейшим, не чета нынешнему. Без добавок, круглый, ржаной, ароматный, не черствеющий...

Мне повезло, я еще застал уходящие из кухни деликатесы. Пирог с вязигой. Зайца тушеного. Рябчика. Тогда это были доступные радости охотников, рыбаков.

БЛАТНОЙ

Он был газетный журналист. Чтобы дать образование сыну, приходилось по-всякому зарабатывать. Юлил, подлизывался, писал заказные статейки. Теперь сын процветает. Но вот однажды он явился и выложил перед отцом пачку его статей о директоре института, где отец его восхвалял, защищал. «Это же был подлец. Ученый совет забаллотировал его.

А ты его выручил со своими статья́ми. Мне их сегодня предъявили. Стыдно».

— Да. Написал. Таково было условие. Помнишь, какой был конкурс? Ты бы не прошел. Проходили блатные. И ты был блатной!

* * *

После разных стараний похоронить советскую литературу, вычеркнуть ее из русской культуры, мне захотелось составить примерный список тех, кем мы зачитывались в советской жизни. Книги, которые были событиями — стихи, повести, романы, даже рассказы. Порядка в списке нет, как вспомнилось:

М. Шолохов

А. Толстой

К. Симонов

К. Паустовский

Ю. Казаков

В. Гроссман

М. Зощенко

О. Берггольц

В. Овечкин

П. Нилин

А. Платонов

И. Бабель

В. Некрасов

Л. Добычин

Б. Пастернак

Стругацкие

Ф. Абрамов

В. Катаев

И. Эренбург

Г. Бакланов

Все было не совсем так

Г. Ильф и Е. Петров

Е. Шварц

Ю. Олеша

Ю. Тынянов

М. Пришвин

Э. Казакевич

Ю. Трифонов

Ф. Искандер

В. Каверин

В. Астафьев

А наша поэзия — это вообще праздник:

А. Твардовский

Б. Слуцкий

Б. Ахмадулина

Е. Евтушенко

А. Вознесенский

Д. Самойлов

О. Берггольц

А. Ахматова

Б. Заходер

К. Симонов

В. Маяковский

А. Межиров

Р. Гамзатов

К. Кулиев

Б. Пастернак

О. Окуджава

И. Эренбург

К. Чуковский

С. Маршак

С. Есенин

Список чисто вкусовой, у каждого он вкусовой. Но каждый из названных дарил радость.

* * *

Привезли мне подарок: горшочек масла из Вологды. Там его трудно раздобыть, деликатес. Масло как масло, казалось бы. А ведь никакого сравнения с обычным. Даже с тем «Вологодским», что продается в питерских магазинах. Попробовал еще раз, намазал и то, и другое. Два кусочка хлеба. Боже ты мой, как вспомнилось, тот хлеб из печи, и то масло, настоящее, то детское удовольствие от этой простейшей еды, и сытность была другая.

* * *

В нашей популярной революционной песне пелось: «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!», а врагом мог оказаться самый близкий человек. Он должен был пасть, и его не следовало жалеть. Это о Ленине Маяковский сказал: «Он к врагу вставал железа твёрже». Никакого милосердия, кто бы он ни был. А всегда ли правильно определяли этих «врагов»?

(Из письма читателя)

АСУАН

Друг моих школьных лет умирал. Я навестил его в больнице. Рак — болезнь ужасная еще и тем, как она меняет весь облик человека. Так исказит, еле узнаешь среди изглоданных останков знакомое. При виде меня череп Вити шевельнулся в улыбке.

Мы вместе проучились в институте. Витя проработал до конца, не выходя на пенсию в КБ. Делал расчеты шлюзов, щитов. Дослужился до старшего инженера. Дальше не получилось. Был тих, застенчив. Не «пробивной!». Женился на такой же робкой тихоне. Жили они с ребенком в узеньком «пенале», выкроенном из дворницкой. Единственное окно выходило в подворотню, где всегда было темно. Пытался поменять, да кто поедет в такую дыру.

Витя понимал, что мы прощаемся и старался веселить меня. Да и себя, наверное. Оставить на память свой храбрый смешок. Он посмеялся над собой, но чуть-чуть, ощущал, какой он страшила. Не перебирал. Вдруг, так же слабо улыбаясь, вспомнил про главную мечту своей жизни — светлую, двухкомнатную квартиру. На троих. Работали, работали оба с женой, так и не заработали. Помолчал. И неожиданно из глубины черепа подмигнул мне — все ушло на Асуанскую плотину. Еле хватило. При чем тут Асуан?

На обратном пути я вспомнил, что у них в КБ что-то проектировали для нее. Потом я подсчитал, сколько же он проработал в своем КБ, получалось не меньше 40 лет, да жена 30 лет, итого 70 лет. На квартиру не тянет, зато Асуанскую плотину выстроили.

* * *

А. Любищев был выше своего ума. Он был его господином, а не роботом, как часто случается у умных людей; он пользовался умом как своим оружием, не более того. Он делал отверстия во взглядах людей, иногда в их судьбах, оттуда открывался

вид на другую сторону жизни, существовало, оказывается, то, что не должно было существовать — идеализм, витилизм, другая наука, другое понимание мироздания, другой способ мышления.

* * *

В Китае мы встречались с писателями в Союзе писателей Шанхая. Собралось человек двенадцать, руководство Союза. У нас делегацию возглавлял Егор Исаев, московский поэт, обласканный Горбачевым. Китайские писатели устроили торжественный обед. Прошло несколько лет после «культурной революции». Большинство китайских коллег были в свое время в Советском Союзе, учились в школах, где преподавали русский язык, поэтому могли кое-как объясняться без переводчика. Беседа шла по нарастающей, живо, весело. На нас большое впечатление произвел Шанхай, горожане, да и деревня. Я был в Китае второй раз, за десять с лишним лет произошли разительные перемены.

Во главе стола сидел пожилой китайский писатель, как я понял, председатель Союза. Он мило улыбался, кивал, свободно понимая нашу речь. Не вмешивался, никак не участвовал в разговоре. Егор Исаев произнес тост, приветствуя хозяев, чокнулся с председателем. Мы ожидали его ответа, но он приветливо кивал и отвечал улыбками. Почему он не хочет говорить, спросил я у своего соседа. Тот вздохнул и рассказал его историю — во время «культурной революции» его выслали в деревню. При этом приговорили к молчанию. Отныне он не имел права произносить ни слова. Ни отвечать, ни просить. Так он провел более

пяти лет. Или привык, или разучился говорить — не знаю. В XVIII веке, еще при Петре, вырезали язык, было такое наказание. «Культурная революция» происходила в Китае при Мао, в XX веке, за несколько лет до нашего приезда. Длилась она почти десять лет.

* * *

Если у тебя «трагическое мировоззрение», иди вешаться, что ты сидишь, пьешь коньяк и ешь пироги?

* * *

Выборы в АН: физики вычислили кого, как и вероятный исход в других отделениях. Филологи — перессорились. Виноградов рекомендовал — охаивая кандидата. Завалили Трапезникова, он был зав. отделом науки ЦК, никто против не выступал, а «за» подняло руки меньшинство. Тогда Келдыш заявил, что это неэтично — потребовал переголосования — опять, еще меньшее меньшинство. Взбунтовались! А президент вел себя жалко... Крик из-за денег, в сущности.

* * *

Благ не хватит на все человечество, даже если делить их малыми долями, а вот бедствий, лишений, болезней, голода, войн — каждого можно наделить вдоволь.

* * *

В 2005 году у нас был опубликован материал о том, что получили наши физики в марте 1948 года

от Клауса Фукса, сотрудника американского атомного проекта. В нем было подробное описание конструкции водородной бомбы. Фукс также рассказывал о процессах, происходящих при взрыве.

В 1950 году американцы «обнаружили» Фукса. Состоялся судебный процесс. Суд проходил в Англии и Фукса приговорили к заключению за передачу секретов. Просидев семь лет тюрьмы — его обменяли. Там я и познакомился с ним. Жил он в отдельном коттедже. Жена у него была русская, «получил» он ее прямо по прибытии из Англии в аэропорту. История К. Фукса уже тогда, в шестидесятые годы, поразила меня.

Я долго хлопотал. Добился разрешения встретиться с ним. Приехал в Дрезден и мы провели вместе целый день. Клаус достаточно прилично говорил по-русски, так что мы могли остаться вдвоем. Мы поехали с ним в окрестности Дрездена. Он был за рулем. В машине я записывать не мог, да и сам Клаус нарочно или по привычке то и дело отвлекался на дорогу.

— Что меня тогда занимало? Он дружил с Оппенгеймером, руководителем атомного проекта США. Благодаря этому Фукс устроился на работу в Лос-Анджелесе — центре атомных разработок в самом секретном в те времена объекте. Использовал дружбу? По сути дела, в каком-то смысле подставил Роберта Оппенгеймера? Не очень красиво.

Клаус к таким вопросам был готов. Вся история с атомной, а затем и с термоядерной бомбами ему виделась достаточно аморальной. США и Россия были союзниками во Второй мировой войне. От Англии американцы не скрывали своих работ, а от

России скрывали. Почему? Может, они хотели иметь преимущество? Зачем? Готовились к послевоенному диктату?

У него возникли вопросы уже тогда естественные. Его отец был выдающийся немецкий теолог. Моральная сторона его поступков, несомненно, всегда присутствовала. Он ведь и решался покинуть гитлеровскую Германию из соображений чисто этических, ясен процесс оскорбленного гражданского чувства.

Его решение снабжать Россию сведениями о бомбе пришло, как я понял, отнюдь не просто. Безбожное правление большевиков, сталинские расправы над оппозицией — слишком многое отвращало, но Россия единственная, кто по-настоящему на смерть схватился с фашизмом.

Для него не возникал вопрос о деньгах, о какой-либо оплате за его помощь. Кому он помогал? Он сказал мне, что согласился на встречу потому, что я был фронтовик.

Когда мы ехали, он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида. «Привычка, — объяснял он, — привык смотреть, нет ли хвоста».

Были вопросы, на которые он не хотел отвечать. Например — встречался ли он с Курчатовым, Зельдовичем и прочими нашими атомщиками?

Были вопросы, которые я не решался задавать. К чему свелось участие наших физиков, могли ли они обойтись без его материалов? Мне было обидно за них, потому что это были великолепные головы, и они скумекали бы сами без шпаргалок. Им не разрешали. Никакой самостоятельности. Ни шага в сторону.

Обидно было и за Фукса. Его подвиг заслуживал куда большего признания. Наши физики при страхах, нагоняемых Берией и его сподвижниками, сделали невозможное, догнали США и сделали одноступенчатую, а затем и двухступенчатую термоядерную в 1955 году.

Как сам Клаус Фукс оценивал свою роль, понимал ли он что получилось в итоге — стратегическое ядерное равновесие с США. Слава, почести вряд ли волновали его. Но существует понятие исторической справедливости. По всем ее правилам ему полагался еще при жизни почет не меньший, чем нашим ученым. Фуксу со скрипом, посмертно пожаловали орден «Дружбы народов». А хотелось бы памятник. И чтобы о его подвиге было рассказано, допустим, в учебниках физики. Или в книге о подвигах. Хотелось бы иметь такую книгу про бескорыстные, благородные поступки. Допустим, рассказ о взаимоотношениях Чарльза Дарвина и Уэллса. Или о том, что сделал в Африке А. Швейцер. Или про А. Д. Сахарова. Про Марию Терезу. Про В. Г. Короленко.

Их не очень много.

* * *

Прелестно, по-разному кто как заканчивали в России свои частные письма:

«Честь имею быть Вашим покорным слугой».

«Примите уверения в моей совершенной преданности».

«Мое почтение и поклоны вашей супруге...»

У каждого было свое.

Крохотны строки нынешней цивилизации. Огонь начали использовать 300 тысяч лет назад, варить пищу — 35 тысяч, земледелие — 6 тысяч лет назад, письменность — 5 тысяч лет назад.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В 4 часа утра приехали на последнюю советскую станцию Чоп. Маленький городок, непонятный в темноте. Не рассветает. Оттого, что рядом граница, все кажется таинственным. Где-то оформляются документы. До 8 часов утра три с лишним сотни туристов слоняются по вокзалу, перрон — вокзал, ведут разговоры, бесподобные по идиотизму — сколько в Чехословакии может стоять стакан воды, правда ли, что у чехов все уборные платные?

Главный руководитель через каждые полтора часа собирает совещание. Повестка дня:

1 — Можно ли чистить ботинки ковром.

Во всяком случае, в гостинице чистить портьерами нельзя.

2 — Запрещается выходить на перроны в пижамах.

3 — О ношении калош за границей.

Он величествен, как император. Боится улыбнуться. Голова трехмесячного ребенка.

«Вы должны быть шибко юридированы и обслуживать нас информацией во все стороны».

«Ваш вопрос про оборотную сторону Луны не является, мне и эта сторона ни к чему, зачем мне

та, так что не надо вам заботиться, что чехословаки будут думать. Об этом мы позаботимся».

Все это происходило в 1956 году, последняя моя туристическая поездка. Больше я этого себе не позволял. Все внимание уходило на абсурды наших туристов, начальства, на разговоры и высказывания, которые поражают больше, чем собор Святого Вита.

Впрочем, глупости и всякие казусы можно услышать и от европейских интеллектуалов. Специально приводить не хочется, не для этого ведь ехал. Мы себе цену знали.

В маленьком чешском городке Т., в музее, увидел я бюст местного профессора, который за несколько лет до Д. Менделеева создал периодическую систему элементов. Никто об том знать не знал, выяснилось это после публикации Менделеева, но город Т. гордился своим профессором, установил ему мемориальную доску.

Фридрих Великий ввел картофель в Пруссии... Почему-то его заслуги гид начинает с этого. Потом он перечислил следующие: был гением, написал концерт для флейты с оркестром, поднял роль учителя, говорил по-французски, создал чиновный аппарат.

* * *

Сталин приказал убрать из учебников репродукцию репинской картины «Иван Грозный убивает своего сына».

* * *

Услышал от одного публициста, живущего в США, парадоксальное, но симпатичное:

— Хочу не знать! — вопль человечества в океане информации. И дезинформации иже с ней. Господи, помоги мне познать все, что мне надо, защити от знаний, которые мне не нужны.

А и в самом деле, порой информация плюс реклама, плюс искусство, смешанное с рекламой — захлестывает. Лишает меня личной внутренней жизни. Я уж не говорю о тех горестях, какие каждый день сообщают, они удручают, обессиливают, теряешь надежду исправить нашу жизнь.

* * *

Профессия писателя научила меня признавать противоречия поведения человека, не доискиваться логики, она может привести к схематизму, хуже всего, когда мы стремимся объяснять каждый поступок, находить мотивы. Нельзя все сделать понятным.

* * *

Пока что Сталин остается главным душегубом в истории человечества. Конкурентов вроде не видно.

* * *

Австралийский писатель Френк Харди приехал ко мне в гости. Мы с ним много гуляли по Ленинграду, то и дело он озадачивал меня вопросами, которые никогда не приходили мне в голову. Например, повсюду висели лозунги «Слава КПСС!»

— Кто это пишет? — допытывался Френк. По его разумению, славить нашу партию могли иностранцы, инопланетяне и прочие пришельцы, восхищенные нашими порядками.

Еще я помню свои безуспешные попытки объяснить ему, что значит «Ударник коммунистического труда». Если труд коммунистический, зачем еще «ударник», у них, если работаешь плохо, тебя уволят, остальные работают, как положено.

* * *

Древнегреческий поэт Пиндар писал: «Будь таким, каким ты себя познал».

Спустя две тысячи лет Гете отточил эту фразу до совершенства: «Стань тем, что ты есть».

* * *

Всегда интересен тот, кто молчит.

НАГИЕ

Март, 2008 год.

Каменный остров. Кое-где еще лежат талые снежные пятна. Пустынно. Прохладно. Аллеи раскисли. Весна, наверное, близка, но ее еще не высмотреть. На ветвях проклюнулись крохотные почки. Но вот что бросается в глаза, так это фигуры деревьев. Они вдруг резко обозначились на фоне голубоватого неба. Без листвы, черные, чистая графика, у каждого проявился свой нрав. Раскинулись привольно, без тесноты, и выламываются, как хотят. Показывают себя. Выкручиваются. Гнутся, почти стелются по земле, и опять плавно, по-змеиному, поднимаются. Угловатые, вздорные. А эти вдруг расщепились на три ствола, а это росло, росло и во взрослости пустило под прямым углом толстенную

ветвь. Вот компания штук пять, чего они только не выделывают, схлестываются, растопыриваются, кривятся и так и этак, какой-то танец изображают.

Еще неделя-другая, зеленая дымка окутает их, преобразит. С первой листвой ничего этого не видно, летом они плотно укрыты зеленью. Зимой заснежены. Наверное, только в такую пору они открываются в наготу. Показывают себя, свой характер, кто они такие. Это липа, дуб, вяз, ольха, впрочем, порода тут даже не главное, тут личность проявляет себя. Как хочу, так и расту. Это вам не поза, это мое естество, рисунок моей жизни... Свобода! Пляски — неважно, что они неподвижны, их поза полна чувств, экспрессии.

Есть ли в природе художественный замысел? Вряд ли. Эстетически она безгранична. Художник наполняет пейзаж своим собственным замыслом. Графика этих деревьев не ответственна за то, что увидел в них я. Но среди своих ликов они имели и мой. Этот парк состоит из многих картин, там будут те же деревья, но разное видение.

* * *

Было у меня несколько увольнений и командировок в блокадный Ленинград. Чего-то я тогда записал карандашом:

12 сентября 1941 года

На Невском Малый зал Филармонии — все витрины защиты досками. То же в Доме книги и следующих домах. Прохожие с чемоданами, колясками — это те, кто ушел из Детского Села, из Александровки. Идут с окраин Кировского района. Меш-

ки за плечами. Идут по всем улицам. По проспекту Стачек идут, по Средней Рогатке, Московскому проспекту... Идут в Ленинград беженцы из пригородов. Куда идут, к кому идут — знать не знают, но бегут от немцев.

Трамваи едут переполненные.

Непрерывные воздушные тревоги, бомбежка, пожары. Разрушена канализация, водопровод, огромные лужи на мостовых.

Опубликованы фотографии. Впервые я вижу их. Ополченцы, части Красной Армии. Я ищу на этих фотографиях знакомых... ищу себя... — нет.

Танк на Невском проспекте, тридцатьчетверка. Откуда?

На Литейном дом Шереметьевский. Витрины доверху заложены аккуратно мешками с песком.

10 октября 1941 года — первый мороз.

Декабрь. Несмотря на мороз, на Невском всегда люди.

Малый зал Филармонии. Дом разбит, зияет на все 3 этажа брешь от бомбы. Дом рассечен как бы надвое, по левую и по правую стороны живут и продолжают работать.

12 января 1942 года — 33 градуса. На улицах людей много. Все идут с саночками, везут, кто-то везет швейную машину, наверное, на черный рынок. Укутаны кто во что горазд. Толкучка у Кузнечного рынка. На хлеб меняют мыло, спички, свечи, дрова маленькими связками. Спички 10 рублей за коробку. Масла почти нет.

Трупы везут на санках. Санки по двое связаны так, чтобы труп лежал во весь рост.

На саниях везут по несколько бидонов воды для столовой.

На Невском всегда много людей, даже в морозы, даже утром, вечером. Тащат санки, с дровами. Продают связки дров. Санки за плечами, как мешки.

Пришла машина за трупами. Выносят их из жилого дома, собирают по квартирам.

На Финляндском вокзале полно ожидающих эвакуации.

Пожар жилого дома. Успели вынести стулья, столы, картины, кровати.

Снимок. Общегородское собрание управхозов. Вот у них у всех физиономии круглые, что-то не видно дистрофиков.

Апрель 1942 года

Объявление — «Желающие эвакуироваться должны явиться по адресу такому-то. Последние эшелоны уходят 6, 7, 8 апреля». Эвакуация идет из всех сил, потому что Дорога жизни тает.

Около Волкова кладбища весной сотни трупов, не доведенных, не похороненных.

Стирают белье на Фонтанке.

Вокруг Финляндского вокзала на своих узлах, с чайниками, кастрюлями сидят в ожидании эшелонов.

Трупы везут на листах фанеры. Трупы узенькие, сухонькие, как подростки.

Группа детей из детского сада на прогулке.

Все улицы в центре — это барахолка. Мебель, посуда, книги... — все, что можно держать на руках.

По Загородному идет трамвай, который тащит паровоз.

У Летнего сада на набережной стоят военные корабли.

Что за товары?.. Не поймешь... Коньки?.. Санки! Продают санки детские. Санки, конечно, всем нужны.

По некоторым лицам (вот в столовой) видно — кто жилец, кто нежилец.

Американское продовольствие на складе в р-не Осиновца. «BACON». Огромные ящики, целые коридоры.

Забор перегораживает улицу «ОПАСНО! Неразорвавшаяся бомба».

Несут раненую на носилках бойцы МПВО.

1943 год, май

Моряки-балтийцы разбирают разрушенное здание. Убирают трупы убитых возле Елисеевского магазина. Несла свеклу, редиску, убили, лежит, обхватив руками эту свеклу.

8 августа 1943 года

Сильный артобстрел. Всюду трупы. Пожарные смывают кровь с мостовой.

Снаряд попал в больницу — все перековеркал, всех, лежавших на койках.

Плакаты:

«Уничтожить немецкое чудовище!»

«Выше знамя Ленина—Сталина!»

Жуков и Эйзенхауэр едут в машине по Ленинграду.

Жук-медляк при опасности становится на голую.

* * *

Александр Александрович Любищев рассказывал: — Я виталист, то есть идеалист. Нас было пять идеалистов — Гурвич, Берг, Беклемишев, я и кто-то еще. Все мы достигли степеней известных. Попали в Большую энциклопедию. Все мои друзья умерли естественной смертью, не репрессированные. Наши критики-материалисты, которые нас травили, клеили нам ярлыки, почти все погибли в лагерях. Поэтому я утверждаю, что у нас предпочитают идеалистов.

* * *

*Продуман и весом
Свершений наших стиль:
Пустыни из лесов,
Болота из пустынь.
У нас такая цель,
Такой императив:
Склепать из речек цепь
Каналов и плотин,
И, Землю оголив,
Устроить счастье масс:
Сварганить из Земли
В сплошных каналах Марс.*

За этот стишок вызвали в деканат студента Ващенко. Ему было 32 года. Считали его стариком. Он пришел в институт из армии, дослужился до
476 майора, не захотел оставаться военным. В специ-

альности гидростроителя тоже разочаровался. А когда поступал, мечтал строить для деревень маленькие гидростанции. Вместо этого учили строить гиганты, стройки коммунизма.

Я пошел в деканат вместе с ним. Ващенко уверял, что стишок списал с какого-то журнала. Декан не верил. Не могла цензура пропустить такое. Я сказал декану: «По сути, он прав. Нет смысла раздувать эту историю. Отпустите его по-хорошему...» Для убедительности я добавил: «Я к вам обращаюсь от имени фронтовиков факультета».

На том договорились. Кажется, Ващенко уехал к себе в деревню.

* * *

Поэт всегда пишет о себе, прозаик о других. Нарушения не в счет. Когда прозаик хочет написать о себе, он продолжает сочинять. Лев Толстой был прав, написав свое «Детство» в начале литературного пути. Написать о себе всю правду невозможно. Не могу представить писателя, который осмелился бы вывернуть наружу свою душу со всеми ее мерзостями. При исповеди, на ухо священнику говорится только часть греховного.

С жадностью изголодавшегося накидываюсь я на собственную жизнь. И с тоской — знал, что предстоит вспоминать и открывать слишком много плохого. Сладость автобиографии состоит не в исповеди, кому она нужна, кому дело до моих ошибок, сладость в том, что можно вспомнить хороших людей, прелесть прошлого, заполнить живой жизнью пространство между моим отцом и моим внуком, течение жизни не должно преры-

ваться. Мы страшно пострадали от того, что прошлое, то, что было жизнью, светом, любовью для моих родителей, до революции оборвалось, они старались не вспоминать о своих родителях, о своем детстве, свет был выключен, там стояла тьма, где неясно бродили тени наших родственников, оказавшихся за границей — в Польше, или еще где.

ФРИДРИХ II (ВЕЛИКИЙ)

Фридрих Великий обожал Францию, выше всего ставил французскую литературу, французским владел лучше, чем немецким. Павел обожал немецкое, и Фридриха Великого. Так что страсть Петра к Голландии не исключение.

У того же Фридриха три тома переписки с Вольтером. Фридрих невысоко ценил религию.

Вся его деятельность была прежде всего военной — увеличил армию, «Армия со страной в придачу» — так называли Пруссию.

«Солдат должен бояться своего офицера больше, чем неприятеля».

«Если вам нравится чужая провинция, занимайте ее немедленно... Вы всегда найдете потом юристов, которые докажут, что вы имели все права на занятую территорию».

Если Фридрих был философ на троне, который на самом деле воевал, то Павел был ученый на троне, который тоже воевал.

Фридрих строил каменный дворец под Берлином, безумно дорогой, навязал архитектору свой вкус, вмешивался.

* * *

Врагов всегда хватает, их даже больше чем нужно.

ДЕТИ

- Маме надо на работу.
- Зачем?
- Копеечку зарабатывать.
- Ну скоро это кончится, у меня уши заболели, когда она заработает эту копейку?

* * *

«Зарукавь» (вместо засучи), а когда засучил — «отсучи».

* * *

- Убери ноги.
- Убёр.

* * *

- Желудок расстроен у тебя.
- А когда он повеселеет?

* * *

Знаменитый Шартрский собор. Тринадцатый век. Или двенадцатый. Чудо архитектуры. Кто его соорудил? Чей проект? Чьи витражи? Чьи фигуры апостолов? Неизвестно. Нет авторов, нет подписей. Собор Св. Вита, Нотр Дам де Пари. Тоже имен мало.

Великие храмы анонимны. Они строились десятками лет. Из поколения в поколение переходят

Все было не совсем так

ла стройка. Замысел не искажался, он развивался. Искусство приобретало независимость от моды. Личная слава не беспокоила авторов. Им надо было возвести храм во славу Господа, возвысить человека, его веру.

Подпись появляется много позже. Авторы претендуют на индивидуальность, индивидуальность — на славу. Она влечет непохожесть. Оригинальность во что бы то ни стало. Личность художника расцветает, но что происходит с божественным началом?

В Германии на могилах неизвестных солдат написано «Имя его известно Богу». Средневековый художник знал, что имя его известно Богу. С Богом были особые, личные отношения. Они давно утрачены, стали малопонятны.

* * *

Блеклые остатки воспоминаний, клочья, занесенные следы — это все, что можно предъявить.

* * *

На выставке (первой послевоенной) советских художников меня попросили написать свое впечатление в книгу отзывов. Я сел к столику и прежде, чем написать, стал читать чужие записи. Читал, смеялся и, вместо того чтобы писать свое, стал отсюда делать выписки.

Недавно они мне попались на глаза:

— Мы посетили выставку, остались довольны, благодарим организаторов. Туристы из Брянска.

— Вместо спасибо Петрову-Водкину мы плачем от благодарности комиссиям, начальникам. «Некто».

— Маникены более живые, чем эти картины. С. Г.

— Научись правильно писать — маникен!

— Петров-Водкин нам дорог, но и Серов наша гордость!

— Вряд ли стоит оспаривать в наш век, век высочайшей образованности, тот факт, что искусство должно быть доступно большинству народа, доступно в смысле способности правильно воспринять, правильно осмыслить, правильно понять художественное полотно и замысел живописца.

Произведения Петрова-Водкина слишком примитивны для этого. Гордиться здесь советскому искусству нечем. Доцент ЛЖТ Косицын.

— Жлоб! А еще ты с философским образованием. Горе, если ты будешь работать в Управлении культуры.

— Перестань безобразничать, книга отзывов не место для склоки. Лучше бы писали, что понравилось, иначе нам трудно разобраться. Хорошо бы, чтобы книгу давали только искусствоведам, а простой народ мог бы читать их высказывания, поскольку каталогов нет. Хорьковы.

— Откройте запасники!

— Хороши только те портреты, что имеют нормальный вид. Васин.

Приписано: член партии с 1910 года, имею медаль «За отвагу».

— Филонова давай!

— И Шагала!

— Обидно, что выставка советского художника несравненно хуже выставки русской эмигрантки Е. Серебряковой. Невольно задаешься мыслью: почему так? Дирекция музея, по-моему, должна учитывать. Старшая пионервожатая Семенова.

— Ух и дура!

— Если старшая такова, а?!

— Почему не продают мороженого?

— Ну что, мсье дилетанты Серовы, Пластовы, Герасимовы, вы поняли, что такое живопись? Учиться никогда не поздно, так быстрее за работу. Может быть, успеете опомниться.

— Впечатлений никаких, даже заболела голова, и захотелось в уборную. О. Т.

— Мог бы отсюда не выходить!

— Пора показывать работы Кандинского, Филонова, Шагала и других, нужно открыть людям пору

расцвета советской живописи, чтобы они увидели, какими упадническими картинами им забивают голову. Старый художник.

— Эта выставка нам очень понравилась. Просим оставить ее до октября, когда мы вернемся с дачи. Коля и Оля Руневы.

— Ира, я здесь ждал с 2-х часов до 3-х. Саша.

— Скоро уже Пасха, а каталога все нет.

— Безобразный получился портрет нашего любимого поэта А. С. Пушкина. Художнику следовало бы поучиться у таких реалистов, как Крамской и другие наши передвижники. Левин.

— Хоть и Левин, а дурак!

* * *

Из работ 10-го класса по литературе.

«Базаров, молодой человек, а захудился лицом, показал, что у каждого человека есть струна, которая может лопнуть».

«В аристократическом обществе мужчина смотрит на женщину как на вещество, без которого нельзя обойтись».

«Вронский сошелся с Анной совершенно неприемлемым для нашего общества способом».

* * *

Меня как-то вызвал один из секретарей обкома партии и предложил написать роман о строителях

Ленинградского метро. Тема, уверял он, актуальная, драматическая, стал рассказывать о неожиданном поведении грунтов, какие трудности преодолевали строители. Уговаривал. Обещал чуть ли не Государственную премию.

Слушал я с интересом, но потом объяснил, что сейчас я пишу другой роман, отвлечься не могу, никак не могу.

Не получив от меня согласия, он вздохнул и признался:

— Понимаешь, будь у меня свободное время, я бы не стал тебя просить, сам бы написал. Хотя бы месяц. Такой материал!

БЛОКАДА

Приказ фюрера выглядел для немцев абсурдным. С такими потерями, напрягая все силы, проведя ряд удачных операций, добраться до цели, до питерских окраин, и остановиться. Отказаться от всяких попыток войти в город. Почему? Никто не понимал.

Блокада, план удушения голодом — это никак не отвечало настроению командования вермахта.

Тем не менее они подчинились приказу фюрера от 16 сентября 1941 года. Началась блокада Ленинграда, позорная операция вермахта. Она навсегда запятнала воинскую честь немецкой армии. Уничтожить голодом, бомбежкой мирное население, почти миллион горожан! Это была не операция. 900 дней вермахт по всем правилам вел войну на уничтожение не противника, а мирного на-

селения. Чем это отличается от газовых камер? Да лишь тем, что смерть от голода растянута на недели, мучительнее, унижительней, лишает человеческого достоинства.

«В блокаду погибло почти в два раза больше ленинградцев, чем все гражданские потери Германии от бомбежек». (Йорк Ганценмюллер. «Второстепенный театр военных действий»)

Немецкие школьные учебники восхваляют наступательные действия вермахта, и ничего там нет о голодном изморе Ленинграда. Он упомянут лишь как направление.

Манштейн попрекает Гитлера за безумный приказ: «Немедленно остановиться и не занимать Ленинград».

Потерянная победа. «Утраченную минуту не может вернуть даже сама вечность!» — заключает генерал-фельдмаршал Манштейн в своих воспоминаниях.

Историки после войны представляют блокаду как обычную осаду. Эти защищались, эти осаждали, как всегда. На самом деле, трагедия Ленинграда происходила на глазах у немецкого солдата и офицера. Они знали про ужасы голода, про людоедство. На самом деле, военные сознательно следовали политике национал-социалистов об уничтожении советского народа.

Бедный немецкий солдат у немецких историков выглядит жертвой. Он жертва, а не блокадник.

* * *

Советская жизнь богата событиями необычайными, увлекательными, но бедна мемуарами. А если

отбирать мемуары хотя бы пристойные, без нагло-го вранья, то и вовсе мало останется.

* * *

Можно жить преспокойно, если считать горизонт пределом мира.

* * *

Вода благоразумно принимает форму сосуда.

В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ

Женщины и несколько подростков вытаскивали из-под развалин станок. Женщины были в ватных брюках, а мальчишки закутаны в платки. Они поставили станок на полозья и пытались сдвинуть его. Какая-то женщина тихо кричала: «А ну, взяли! Еще раз, еще разик!» Совсем тихо кричала. Ничего у них не получалось. Они мгновенно уставали и отдыхали, привалясь к станку, а женщина продолжала тихо кричать: «Еще разик». Снег так скрипел под ногами, что заглушал ее голос.

Снег блестел, сверкал, искрился. Было очень красиво и непонятно, для чего мог пригодиться этот снег. Он был совершенно бесполезен. Его нельзя было есть. Он лежал повсюду — на крышах, на карнизах, совершенно ненужный, такой красивый, свежий.

Пленные и мы вдвоем впряглись вместе с женщинами. Полозья отодрались, закрипели, станок сдвинулся, пополз.

Что, собственно, заставило меня бросить надежную и успешную карьеру научного работника? Сделанную диссертацию, погрузиться в литературную жизнь, тем более, не имея никакого филологического образования, не имея в семье никого из гуманитариев? Да еще во время разгрома ленинградских писателей, постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»? (1946 год). Что? Я не мог ничего ответить ни родным, ни друзьям. Уклонялся отвечать самому себе.

Почему-то стал писать про Ярослава Домбровского, генерала Парижской Коммуны. Ничего про Коммуну я не знал, Парижа не знал. Хотел уйти в другое время, другой мир.

У меня никогда не было проблемы пополнять запасы жизненных впечатлений, ехать в творческие командировки, быть «ближе к жизни». Запас пережитого, виденного и на войне, и после войны на работе в «Ленэнерго», в НИИ казался неисчерпаемым.

Ненасытно было любопытство к людям, расспрашивал, коллекционировал. Люди любят рассказывать о себе, никто обычно не отказывается. Рассказывая о себе, люди творят, рисуют свою жизнь, причем не обязательно выгодно, не всегда приукрашивают, кое-что утаивают, кое-что оправдывают. Бывает и самоуничижение, и это тоже не случайно. Вообще, кроме содержания, интересен еще и язык автопортрета, голос, интонация, мимика.

Магия появления героя состоит в том, что человек появляется из ничего. Анна Каренина суще-

ствуем, обладает всеми качествами живого человека. Ее представляют себе внешне, историю ее все знают, о ней вспоминают в разговорах, на нее ссылаются. Все признаки существующего человека, знакомого, просто ее здесь нет. Так же хорошо мы знаем Кармен и Дон Кихота. Трех мушкетеров и солдата Швейка. Когда-то, кем-то сочиненные, они смешались с нашими знакомыми, приятелями, составляют нашу среду.

Первые годы сочинительства были самыми счастливыми. Меня не заботила форма, язык еще меньше, не терпелось выговориться, выложить не просто пережитое, историю героя, нет, у меня появилась идея, ее я жаждал выдать, поднимал ее, как знамя.

Идея состояла в том, что творчество обогащает человека. Человек создан для творчества, именно оно его божественное назначение. Бог это Творец. Человек творящий в этом смысле следует по стопам Всевышнего. Творчество дает смысл жизни, оправдывает ее.

Тогда, в пятидесятых годах, после XX съезда ожили надежды, люди хотели что-то делать, мало было избаваться от культа Сталина, мечтали создать другую страну. Возвращались реабилитированные из лагерей, приподнялся железный занавес, и чуть засквозило. Ну и что из этого следовало, делать-то что? Надо было как-то участвовать, помочь, поспособствовать...

Я хотел показать счастье творческого труда. Создавать новое, выдумывать, изобретать, научное творчество как пример нового отношения к жизни, труд, облагороженный творчеством; творить мож-

но всюду — мать, воспитывая ребенка, тоже творит человека. Я был уверен, что открывал ворота в сияющую терра-инкогнита, куда еще не ступала нога писателя. Кто писал про красоту научного творчества? Кто? Л. Леонов «Скутаревский»? Я прочел этот роман. Нет, не то. Кронин «Цитадель»? Не то. Единственное что меня тронуло всерьез, это «Эрроусмит» Синклера Льюиса. Пожалуй, он первый сумел описать внутренний мир ученого, его душевные метания. По крайней мере, так я прочел тогда его роман. Давно не перечитывал. Книжные герои, как люди, с ними рискованно встречаться спустя десятилетия. Они могут тоже постареть, поглупеть.

Попалась еще одна книга. «В маленькой лаборатории» Нейджина Белчина, английского писателя, мало известного в самой Англии. Небольшой этот роман пленил меня юмором, усмешкой, с какой герой относится к своей научной работе, к своей лаборатории, хотя происходит это в войну, для военных объектов.

Две эти вещи отчасти поддержали меня, все же что-то было протоптано. Конечно, чувствовал себя новатором. Дивное ощущение. Добавьте сюда еще молодое самомнение — я знаменосец, я глашатай! Я призываю, поднимаю завесу над миром, в котором нет корысти, мелочности, суеты, я показываю позицию высших страстей, драму идей. Люди, работающие в лабораториях, в институтах, в конструкторских бюро, они проживают в будущем. Только уходя со своей работы, они возвращаются в настоящее, словно в прошлое... И далее все в таком роде, все взалхлеб, с убежденностью, ни на что не оглядываясь.

Творчество для меня было актом непослушания. Творец начинает думать не как все, он покидает населенную территорию и переходит в одиночество.

То было время торжества советской науки. На нее после водородной бомбы, атомных электростанций возложили надежды. Наука и впрямь заявляла о себе все громче. Она осмелела, упряталась под свое крыло опальную генетику. Она позволила себе произносить слова в защиту буржуазной лженауки — кибернетики, устроить в Новосибирском Академгородке выставку картин Павла Филонова, напроць запрещенного. За эту выставку организаторам попало, но она была, первая выставка удивительного художника.

Из Академгородка вышла на страну дискуссия о физиках и лириках. Тоже, кстати, типичная для того времени. Зачинщик ее, Полетаев, научный сотрудник одного из институтов Академгородка, заявил, что кончилось время гуманитариев, отныне все в нашей жизни решают точные науки, и в первую очередь физика и физики. Заявил, как он мне сказал, «подначки ради», не ожидая, какие заполыхают по стране споры... Он был занятный человек, умница, между прочим, знаток литературы и живописи, автор занимательной книги по кибернетике. Он пригласил меня к себе, когда я гостил в Академгородке. К нему набилось много его учеников, друзей. Разговор шел о абстракционистах, на которых тогда ополчилась партийная печать и которых интеллигенция не очень-то защищала, потому что абстрактное искусство было непонятно. Бытовало

мнение, что это, мол, шарлатанство, мазня, ослиным хвостом можно ляпать подобные картины. В тот вечер Полетаев раздал присутствующим бумагу, краски и предложил каждому написать абстрактную картину. Все со смехом взялись за кисточки, готовые посрамить абстракционизм. Не прошло получаса и появились первые сконфуженные. Сдавались один за другим, признавая свое поражение. Никто, сколько их было, человек двадцать, ни один не нарисовал чего-нибудь стоящего. Мазня действительно получалась, мазня, да не та. Они начали понимать, вернее, чувствовать, что абстрактное искусство — это искусство со своими законами, своим языком.

В те годы я имел удовольствие познакомиться со многими учеными, в том числе с Сергеем Львовичем Соболевым, одним из самых молодых академиков, математиком — наука, где талант расцветает рано. Изящный, остроумный, живой, он воплощал новый тип ученого. Его образу не мешала большая семья, потомство, которое он плодил и плодил, уверяя меня, что необходимо размножать интеллигенцию половым путем. Правда, у него была еще частная задача, у него все время получались дочери, а ему хотелось иметь сына.

Математик А. Д. Александров, физики Ландау, Ансельм, Гольданский, Лаврентьев, Именитов, биологи Беляев, Голубовский, ученые маститые, молодые, это была моя среда, мои любимцы, мои герои. Я любовался ими, видел в них силу, способную преобразить общество не насилием, а логикой, разумом. Они, прежде всего они, способны найти наилучшие решения, в том числе и социальные.

Мои школьные друзья стали уже кандидатами наук, а то и докторами. Физики, биологи, кругом кипели научные страсти, шла борьба с лысенковщиной, которую зачем-то возродил и поддержал Хрущев, прокладывая себе путь кибернетика. Среди моих кумиров был А. Ф. Иоффе, один из легендарных строителей советской физики. Его учеником был Л. Стильбанс — мой школьный друг. Тоже примечательная личность. Он был несомненный гений. Еще в школе мы произвели его в таковые. Хотя сам он все делал, чтобы избавиться от этого звания. В войну, когда достоинства человека ежедневно проверялись, его из необученных солдат сделали лейтенантом, а кончил войну он начальником связи корпуса. Стал выпивохой, мастерски матерился, никого из военного начальства не боялся и точно предсказывал, когда начнется обстрел, когда кончится. Перейдя же на гражданку, он жил, следуя морали непослушания.

Гении творят свое дело бессознательно, то, что они создают — не плод, созревающий от размышлений, это озарение, дар небес, метеорит. Но кроме озарения они еще умеют пилить и строгать, считать и чувствовать.

БРЕМЯ ЕВРОПЫ

Известно, что за все надо платить. Петербург не исключение. За свою столичность он всегда платил по самым высоким ставкам. «Город трех революций»: оказалось, его революционность после 1917 года перестала устраивать вождей, то есть

они перевели столицу в Москву, от греха подальше, от революционного пролетариата, матросни и европейского сквозняка.

Рожденный как столица, Питер стал пасынком, незаконным сыном Империи, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца, каким и был Петр Первый, тоже явление, русской истории не присущее.

Город королевских кровей, дите петровского вызова плохо прирастал к российскому брюху. И тем более к советской жизни. То и дело ему доставалось.

Его способности, его дворянско-независимый нрав раздражал власть.

Триста лет Петербургу впервые отмечались не просто очередной юбилейной датой, праздник этот обрел особый вызывающий характер. Впервые с дореволюционных лет город ощутил свою столичность, свое возвращение к статусу великого и любимого города России.

27 мая 2003 года был днем официального трехсотлетия. Я бродил с утра и до поздней ночи по улицам и площадям. Открытие памятного знака в Петропавловке, карнавал, вечернее гуляние. Никогда еще, даже в день Победы 1945 года, я не видел столько людей на улице. Густые толпы заполнили Невский проспект, Литейный, Владимирский, площади перед Исаакием, набережные, Дворцовую, Каменноостровский. Весь город вышел на улицы. Протискиваясь сквозь эти плотные массы, я ни разу не слышал ругательств. Не было пьяных. Толпа была непривычно добродушной, терпеливой, а главное — веселой. Исчезла обычная питерская замкнутость, хмурая сдержанность. Эта

белая ночь, этот долгожданный юбилей вдруг открыл, как еще никогда на моей памяти, красоту Невы с ее каналами, притоками, белесый блеск воды, гранит набережных, как будто протерли запыленную картину, и город заблестал. Эффект белых ночей заключен в неведомо откуда идущем свете, когда нет теней, и волшебное это освещение придает обыкновенным улицам призрачность.

На Дворцовой площади происходило нечто новое: ворота в Зимний дворец были открыты. Знаменитые по фильму Эйзенштейна ворота, которые штурмовали красноармейцы, ворота, которые на моей памяти всегда были закрыты, и посетители Эрмитажа шли в музей через набережную. Ныне я впервые увидел, что главный вход распахнут. Народ шел через эту распахнутость по двору и входил во дворец царским путем.

Была еще одна необычность — наступала полночь, а Эрмитаж был открыт, и поток посетителей не иссякал. Я пришел вместе со всеми. Никогда еще я не был в Эрмитаже ночью. Потом меня пригласили наверх, на крышу. Мы вскарабкались. Оттуда открывался во все стороны вид на Петропавловку, на Неву. Начинался водный праздник. Парад старинных судов, фейерверк. Когда я спустился вниз, было уже два часа ночи. По залам Эрмитажа еще ходили люди, кое-кто, устав, прилег тут же, на полу среди скульптур, картин. Зрелище было невиданное. Эрмитаж был доверчиво предоставлен горожанам. Дирекция рискнула. И не просчиталась. Спустя день я спросил директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского — были ли какие-нибудь потери, неприятности? Нет, оказы-

вается, все прошло на диво благополучно, ничего не пострадало. Не милиция, не администрация сохранили порядок, это сделали сами питерцы. Спорный статус культурной столицы в эту ночь подтвердился. Странная картина — на узорном паркете дворцовых зал спят люди, над ними великие полотна Рубенса, Рембрандта, Брейгеля. Между родителей спит девочка.

На доверие люди ответили доверием.

Я рассказываю эти подробности, потому что они опровергли все понятия о наших праздничных обычаях с пьянством, драками, бранью. Оказывается, в этом городе, городе интеллигенции, сохранились сокровенные чувства достоинства и воспитанности.

Можно было бы напомнить о работах, проведенных по реставрации Михайловского замка, Строгановского дворца, как любовно привели в порядок Таврический сад, Михайловский. Сделано было много. Город после многолетней запущенности словно впервые увидел, как он красив, сколько в нем поэзии, каким он может быть европейским. В самом деле этот Петербург чудом сохранил свой исторический центр со всеми дворцами, особняками, их около пятисот — огромный массив художественных ценностей, созданных лучшими мастерами Европы XVIII—XIX веков.

* * *

— Вы евреи, а поступаете, как черносотенцы, подозреваете, что все евреи, уличаете, доказываете, что на самом деле все выдающиеся люди имеют еврейское происхождение. Все хотите присвоить.

* * *

У истории нет потерянного времени.

(Б. В. Раушенбах)

* * *

Вспоминая детство:

Сейчас как режиком заножу!

За нечаянно бьют очаянно.

Моряк с печки бряк.

Воображуля.

Плакса-вакса.

Миришь-миришь и больше не дерись.

* * *

Мы уверены, что наш мир в его научной сущности безличен. Его законы, открытые личностями, часто носят имена, допустим, Ома, Ньютона, Кирхгофа. На самом деле они никак не связаны со своими открывателями. Научная роль личности нулевая. Так ли это? Недоступное нам ведь на самом деле существует, хоть бы в виде красоты, гармонии, мы воспринимаем их частично, в самом упрощенном виде, а может, они личностны?

* * *

Кто-то из писателей заметил: «Труднее всего увидеть то, что у тебя всегда перед глазами».

* * *

В молодости — скорей, скорей добраться до секса, а любовь откладываешь — самое прекрасное, высокое, поэтичное.

* * *

Патриотизм требует называть вещи своими именами. Независимого суда у нас нет. Оппозиции нет. Честных выборов нет. Партий, имеющих свою программу, у нас нет.

* * *

Оппозиция нанятая, по утвержденному списку.

* * *

Каждый новый президент был по-своему хорош. Хрущев нас, писателей, ошеломил. Но и обрадовал. Он с нами стал говорить. Часто, много. Откровенничал. Орал, самодурничал, ругался, грозил и ведь не сажал, а освобождал. Брежнев пришел на смену, когда Хрущев уже надоед своим сумасбродством. Во второй части своего правления Брежнев принялся размещать на пиджаке ордена и звезды, собирать коллекцию автомобилей, стал Героем Великой Отечественной войны, спас Малую землю, да и Большую. Оказалось, что он выдающийся писатель. К этому времени расцвела коррупция, взятки, казнокрадство.

* * *

«Никто не может начать изучать то, что, по его мнению, он уже знает».

(Кто-то из древних греков)

* * *

Куда больше людей умных, чем готовых ценить чужой ум.

Все было не совсем так

Мне нравилось его вечнозеленое удивление.

НОВОСИБИРСК. АКАДЕМГОРОДОК

Под вечер к Полетаеву сходилась молодежь. Приходили с женами, приносили водку. Тесно. Сидели на полу. Спорили — Рублев или Боттичелли?

Ницше не уважал науку!

Абстракционизм — это отсутствие информации, обращение к эмоциям?

Для чего нужна литература — для отвлечения или для привлечения?

Можем ли мы через дельфинов изучать других рыб? А океан?

Полетаев объяснял им Баха, что у Баха общего с Шостаковичем.

Ну, объясним поведение мезонов, дальше что? Улучшим ли человека от этого?

Там обсуждали, зачем столько тратить на спорт, чтобы улучшить результат на десятую секунду, чтобы обогнать Запад? Посмотрите на женщин-атлетов — гермофродиты! Уродство.

А в науке примерно то же, мчатся сломя голову, лишь бы первому добраться до какой-нибудь частицы.

Когда-то Вите С. помешали покончить с собой. Нынче мы выпивали, и он вдруг признался, что мечтает о той воле, какая у него тогда была. Сейчас бы он рад покончить с собой, да нет былой решимости. Обречен жить до конца. А как было бы

хорошо, давно хорошо ему, если бы его уже не было, не видеть, во что превратился его сын-наркоман, сколько он сам с тех пор натворил глупостей, до чего довел жену...

* * *

У нас слишком много людей, которым все понятно. Ничем они не терзаются, всегда знают, что делать, как жить. Шагают и шагают в ногу со всеми. Куда? Наверное, «в нужном направлении».

* * *

Пушкин велик, в частности, потому, что писал странные вещи: «Медный всадник», «Дон-Жуан», «Пиковая дама», «Станционный смотритель» — в них все странно, просто и странно.

* * *

С утра мы отправились на службу в храм, старинный немецкий храм, где алтарь был расписан Лукой Кранахом. Играл орган, пел хор, читали отрывки из Библии. Потом Фридрих Шорлема произнес свою проповедь, наполненную гневом в адрес американской агрессии в Ираке, в Афганистане. Протестанты — они не могут без политики. Странно было слушать под многовековыми сводами в пятнистом свете средневековых витражей с кафедры про убийство Политковской, про нашу партийную суету. В заключение Фридрих предложил сообща помолиться о братстве народов. Чтобы Господь даровал мир, даровал работу, обеспеченную старость, примерно то, что обычно произносят перед избирателями, набор обещаний жела-

ющих стать президентами, губернаторами, только здесь это шло уже не к ним, а наверх, к Господу, к наивысшей инстанции.

— Послушай, — сказал я Лео, — почему мы всегда обращаемся к Всевышнему только с просьбами уладить наши дела, помочь, избавить, защитить?

— Потому, что на земные власти надежды нет.

— Со всех амвонов звучат только просьбы. К нему все надежды, он должен удержать, обезопасить, наказать, форменный департамент земных забот.

— Раз он создал этот мир, он как бы несет ответственность.

Впервые я отсидел до конца службы в протестантской церкви.

Протестанты были любопытны Петру Первому, особенно Лютер, его смелость, его вызов могуществу Римской Церкви. Нравилась страстная натура Лютера-реформатора. Петр Великий приехал в Виттенберг специально посмотреть, где жил Лютер, где проповедовал, посмотрел храм, на дверях которого Лютер прибил свои тезисы против индульгенции, против папской власти.

Для Лютера человек может спасти свою душу только своей собственной верой, она позволяет непосредственно общаться с Богом, не нуждаясь в священниках.

Звуки органа заполняли все пространство храма. Пел хор, пел вдохновенно. Женщины рядом со мной подпевали высокими голосами.

Посреди алтаря висела картина «Тайная вечеря». Я перевидал множество картин на этот сю-

жет, великих картин и не великих. Здесь апостолы нравились мне своей мужицкостью. Вокруг Христа сидели плотники, рыбаки. Натруженные руки, широкие плечи. У каждого художника была своя «Вечеря», своя «Мадонна», свой Христос. Сюжеты из Священного Писания самые распространенные в средневековой живописи, да и в последующей, пожалуй, тоже. Жизнь Христа, распятие, воскрешение — тысячи, десятки тысяч не просто картин, скульптур, а каждый раз свое понимание, свое толкование событий. Из-за этого своего, выношенного, нет повторения. В меру таланта — всегда открытие. Поэтому всегда интересны, казалось бы, повтор за повтором, полотна с Мадоннами и Младенцем, Христос, идущий на казнь, крестный путь его, который должен был что-то открыть людям. Открыл ли он мне? Наверное. Что-то хорошее удалось, стал задумываться, зачем я появился на земле. Красота этого мира ведь создана для меня, в такие минуты я ощущал себя в раю, в том первоизданном потерянном библейском раю. На самом деле, рай продолжал существовать на земле — в полях, в лесах, человек, попадая туда, мог вновь обрести этот Божий дар.

Не здесь смысл нашего существования, но Фридрих мотал головой, только Господь знает, зачем ты жил, нам никогда не будет дано знать, для чего мы жили, все наши домыслы, догадки бесполезны. Он приводил в пример Иова. Сколько претерпел Иов, сколько ни взывал к Господу, но так и не дано было ему узнать о том, чего ради подвергли его, праведника, страданиям. Господь явился к нему не для того, чтобы поведать о своем споре с Сатаной.

Иов не услышал от него о причине своих страданий. Господь лишь дал понять, как ничтожен человек перед могуществом Создателя. Или Рока. Как непостижимо его могущество.

Замысел Божий всегда остается нам неведом. Но нет жизни бессмысленной — в этом Фридрих был уверен.

Я не соглашался. Если Господь знает, а я нет, то в чем мое утешение?

Спор наш ни к чему привести не мог, спор между верой и сомнением безнадежен.

Я не был неверующим. Я был в дороге. У меня росла вера в Творца этого мира, устроенного так гармонично, так красиво. Кто-то должен был подгонять по размеру все детали, все скорости, размеры, малейшая неточность, миллионная доля в какой-нибудь формуле — и этому миру каюк. Он хрупок, как все совершенное.

А Иову так и не открылись причины его бед, и он смирился в своем ничтожестве, раскаялся «в прахе и пепле». В непознаваемости Бога и состоит, по словам Фридриха, победа веры Иова над Сатаной.

Смысл истории Иова, может, в том, что человек часто не знает, за что его наказывает судьба. От Вити Блюкова ушла жена, почему — так он и не узнал. У Вени Козлова погиб сын, потом второй — чем он прогневал небеса?

* * *

Чтобы освободить современного человека от страха перед самим собой, перед силами этого мира, нужно, чтобы человек имел в душе страх Божий.

Быть самим собою, к чему бы это ни привело, — в этом смысле человек богоподобен...

О ФИЛОНОВЕ

Евдокия Николаевна рассказывала мне о смерти своего брата Павла Николаевича Филонова в декабре 1941 года. Может, позже она что-то опубликовала, но, может этот рассказ полнее.

«Лежал он на койке наискосок в своей мастерской на Карповке. Одна рука в белой варежке голая, вторая поперек, как крест, он не был религиозным.

Мы с сестрой ждали врача. Брат был без сознания.

Умирал потихоньку.

Пришел писатель Тощанов. Павел Николаевич был худющий, Тощанов легко поднял покойного на руки, положил на стол, чтобы раздеть.

Достали большие сани, на них положили Филонова, на маленькие села Екатерина Александровна, жена Филонова, она была доходяга, повезли обоих. Провожали на кладбище обе сестры, невестка. Повезли на Серафимовское кладбище, там похоронен первый муж Екатерины Александровны. Гроб достал Союз художников, тогда еще гробы были. Могильщикам, которые копали могилу, Екатерина Александровна сказала:

— Если б вы знали, для кого вы трудитесь!

— А кто он?

— Художник. Великий.

Назад не пошли к вдове на поминки, надо было вернуть санки. Позже неудобно было спрашивать вдову насчет картин — куда? Что?

Блокадная голодуха между тем нарастала.

Большие картины Филонова были накатаны на вал, общим счетом двадцать одна штука. Ну, что с ними делать, куда девать? Евдокия Николаевна пришла в мастерскую, переметила вообще все работы красным карандашом. Был конец марта. Сестры хотели эвакуироваться из блокадного города, но оставить картины брата не могли, а довести их до Русского музея, с которым договаривались сдать на хранение, сил не было. Они еле передвигались.

Евдокия Николаевна плохо помнит обстоятельства, как картины очутились в Русском музее. С кем-то сестры привезли их (притащили) — в августе 1942 года — 18 картин и 18 сентября — 12 картин. Даты и количество она видит в актах, один акт № 359, второй я не записал. Потом, много позже, она стала рассказывать подробности. То ли вспомнила, то ли как-то довообразила.

Павлу Филонову повезло, что у него оказались такие преданные сестры. Я познакомился с Евдокией Николаевной, когда она осталась уже одна, вторая сестра и вдова Павла Николаевича умерли.

Она была хороша, еще сохранилась ее бывшая красота, та, что пленяла на портрете, написанном Филоновым, превосходный портрет в реалистической манере, без его стилистики, бесспорное доказательство, что мог и так, владел кистью на уровне классиков.

После войны Екатерина Николаевна жила с картинами брата, привыкла к ним, стала в своих двух комнатах на Невском показывать любителям, постепен-

но у нее образовался как бы частный музей — выставка П. Филонова. Посетители зачастили. Завела она тетрадку с отзывами.

Кто такой Филонов не знали, слышали, но не знали. А жизнь его, судя по ее рассказам, была странной, и до сих пор много в ней непонятного. По сути, он как бы всю жизнь старался остаться неизвестным. За границу свои картины продавать отказывался. Выставок не имел. Одну организовали ему, и сразу же ее прикрыли, с тех пор он больше не стремился выставляться.

Ученики у него все же были, не могли не быть, уж больно он был непохожим на всех. А не похож потому, что имел идею, которую иногда проповедовал ученикам своим:

«Упорно и точно думайте над каждым атомом делаемой вещи».

«Так же, как пространство вокруг нас состоит из атомов, и то, что мы считаем пустотой, оно тоже заполнено частицами, волнами».

«Позвольте вещи развиваться на частностях, до последней степени развития, и вы увидите подлинно общее, которого и не ожидали».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Девятого мая с Марсова поля мы спешили на площадь Стачек поспеть застать своих из народного ополчения. До позднего вечера ходили по пивным, буфетам пьяными компаниями. Объятые родственной нежностью к саперам, медикам, морякам, к тем, кто нас спасал, к тем, кого мы спасали.

Гуляй, братва уцелевшая! Ах, ишо, ишо, ишо, чтобы стало хорошо! Незаконченные, недобитые, контуженные, уже ненужные!

Инвалидов не хватало на тех праздниках, самоваров-самокатов, на деревянных тележечках, культы вместо ног, вместо рук — обруб, от них город очистили, отправили всех подальше, куда-нибудь на Валаам. Кого встречали — обнимали, угощали.

Победа должна быть красавицей. Но мы почему-то про геройские свои дела не хвалились, травили окопную залепуху. Чего только не наслушался я. Опять, дурья моя голова — не записывал.

Ходить любили втроем: Лева Игнатов, Дон Булыжкин и я. Старшим по званию был Булыжкин, инженер-полковник, кадровик, всю войну связью дивизионной, армейской занимался — радио, линейной, прополз вдоль проводов до самой Германии. Играл на гитаре, пел самоделку фронтовую, блатную песню, был душою в любой компании. Под стать ему был и Игнатов, подполковник, орденов поменьше, зато голосом зычнее. Он до сих пор служил, преподавал железнодорожным войскам. С этими заводилами быстро обрастали компанией. В один из дней Победы ввалились толпой к Литвинову, моему комбату, где шло свое застолье.

Литвинов кончал войну полковником. Для кадровика, да при его способностях, достижение не большое. Слишком берег солдат в ущерб своей карьере. Все ему не хватало артприкрытий, без конца проверял, как саперы расчищали проходы. Кичился тем, что потерь у него меньше, чему у других.

Может поэтому после войны не захотел он оставаться в армии. Построил себе домик на берегу Чудского озера, завел огород, рыбачил. Места хорошие, а главное, в войну облазил он тут каждый овражек, взламывая немецкую оборону. Местные власти, однако, никаких льгот освободителю не предоставили. Замучили его, требуя справки, бумажки. Беда его была в том, как пояснил мне местный начальник, — «непьющий он, усидеть бы с нужными людьми две-три банки, а то заносится, победитель, тюха недогребанная!» В конце концов, пробил себе полдомика, на целый денег не хватило. Доживал, положив на все регалии-привилегии.

* * *

Паустовского они звали «Паус». Звали его так в их компании, а компания была такая — Гайдар, Фраерман, был там Марьямов, был там и Бабель. Паус (Паустовский) был замечательный рассказчик, что я сам подтверждаю (я, Гранин), так вот, Паустовский, Паус, уводил от них своими рассказами самых красивых женщин.

* * *

Моцарт и Паганини работали с трех лет, художник Валентин Серов — с четырех.

* * *

У меня было много обидных неудач. Задумал я построить в Санкт-Петербурге Триумфальные ворота в честь Победы в Великой Отечественной войне. Оказывается, в 1945 году такие ворота были сооружены. Трое ворот. Через них в город возвра-

щались войска победителей. Сделали их наспех, но красиво, по проектам архитекторов Никольского, Гегелло. Сделаны были из фанеры, временные, их вскоре разобрали. В архиве я нашел фотографии ворот. Видно, как через них возвращаются в город солдаты.

Я обратился к мэру города Валентине Матвиенко: «Давайте восстановим ворота. Наиболее удачный из них вариант. Тем более что у нас нет ни одного памятника Победе в ВОВ 1945 года».

* * *

Толстой обрушился на «Короля Лира» как титан, а если бы Шекспир напал на «Анну Каренину»? Битва титанов — это было бы будь здоров!

* * *

Милосердие выше справедливости? Так ли это?

* * *

Попробуйте растолковать школьнику, что за штука — «красный уголок». Легче он поймет — «лобное место». Между тем «красные уголки» имелись почти на каждом заводе, фабрике. Там висели портреты вождей, лежали подшивки газет, были графики выполнения плана, брошюры, фотографии ударников. Кто такой ударник? А врач, а бракодел?

* * *

Эшелон наш был переполнен. Июль 1941 года. Был ли он обеспечен защитой от авиации, прикрытием, хотя бы маскировкой — не знаю. Мы ехали на фронт. Кировский полк 1ДНО (Дивизия

народного ополчения). Пели песни, играли в карты. Выпивали, многие захватили с собою. Были бутерброды домашние, курицы жареные, огурцы. Словно на пикник собрались, как-то не думалось, что едем воевать без оружия. У меня была бутылка с зажигательной смесью. Потом их почему-то называли «коктейль Молотова». Было в роте несколько учебных винтовок. И все. Оказалось, настоящих винтовок для ополчения нет. Гранат нет. Дали на полк пулеметы, станковые и ручные, а сколько — не знаю.

Винтовки и патроны появились по ходу боев. Подвозили их, что ли? С первых же бомбежек пыл наш сменился злостью. Мы шли воевать, но воевать было нечем. «Грудью отстоим Ленинград!» Так и получилось — грудью. Александр Матросов совершил подвиг. Закрыв собою пулемет. Вероятно, так и было. А чего оставалось, когда они строчат из пулеметов, а наши сорокапятки не могут заткнуть их, не могут выбить их, не могут остановить их танки. В героиствах тех дней было отчаяние, от безысходности, хоть бы гранаты противотанковые, хоть бы иметь бронебойные пули, хоть бы ружья противотанковые. Все это появилось позже, позже, а весь июль мы то драпали, то отступали, «отходили на запасные позиции», оставляя горы трупов.

Среди хаоса, позора поражений 1941 года выделяется трагедия Дивизии народного ополчения. С первых дней войны тысячи ленинградских рабочих, учителей, инженеров, студентов пошли в ополчение. Их ничему не успели обучить. Безоружные, они врукопашную противостояли мотопехоте, бросались под танки. На всем пути нашего отступле-

ния была и паника, и бегство, но все же ополчение сумело задержать наступление танковых колонн Манштейна к Ленинграду. Ценой чудовищных потерь планы немецкого командования были сорваны. Не противотанковые рвы, не доты укрепрайонов останавливали противника, а ярость, отчаяние, безвыходность.

Первые недели войны пропахли дымом пожаров, вонью тола. Разбитые деревни, бегущее пламя горящих полей. Я не могу осуждать тех, кто прятался в лесах, спасался самострелами, даже тех, кто сдавался в плен. За что их осуждать, за что — присягу нарушили? Не они присягу нарушили, нарушили те, кто подставили нас под огонь, кто уступил наше небо «юнкерсам», нашу землю немецким танкам. Куда подевались наши танки — КВ, тридцатьчетверки, наши орудия, снаряды?.. Все было и вдруг ничего не стало.

Спустя годы, разглядывая те знойные июль и август 1941 года, я видел, как нас «кинули». Самым подлым образом обманули, подставили:

*Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее!*

Где-то под деревней Самокражей, когда мы побежали, нас стал останавливать Подрезов, начальник политотдела дивизии. Размахивая наганом, он гнал нас обратно в окопы.

Дрогнули мы от криков — «окружают!» — главного страха тех дней, и побежали. Тут-то и появился Подрезов, начальник политотдела дивизии, огромный, плечистый, в накинутой плащ-палатке. Кар-

тину эту я запомнил на всю жизнь, шел дождь, первый настоящий дождь того военного лета. Под-резов матерился, останавливал, загонял нас назад, в окопы, он и меня схватил за гимнастерку, швырнул туда, в сторону покинутых окопов. Кто-то из бегущих налетел на него, попал в его раскинутые руки, этот увернулся, ударил его прикладом в грудь и побежал дальше.

* * *

Смотреть на нее было не скучно, просто смотреть. Все время что-то менялось в ее лице. От нее пахло то снегом, то палым листом, а то молоком, как от ребеночка.

ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАПИСЕЙ

— Понимаешь, я вроде нормальный мужик, без этой интеллигентщины, а вот не люблю ни похабщины, ни матерщины. Откуда это во мне, ума не приложу. А у нас без матюков хана, ничего не пробить. Валюта, конечно, это — спирт. Я держу его на крайний случай для работяг, чтобы они давали нам инструмент.

— Существует больше сотни теорий грозы и сто тридцать теорий атмосферного электричества. У каждой есть статьи и диссертации. Поэтому не херорать на меня. Ты только одной занят, а я уже навидался вашего брата, все кандидаты, у каждого своя заморочка. Один занят туманами, другой градом, третий грозой, четвертый снегопадом, все воз-

действуют, поди докажи, отчего град пошел, отчего кончился, может, мы и ни при чем.

— Живет себе облако, откуда оно взялось — не знаем, чем питается — не знаем, почему кончилось — неизвестно. Ничего не знаем.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Как известно, ленинградская блокада стала символом стойкости в истории не только Отечественной, но и Второй мировой войны. Блокада овеяна ореолом героизма защитников города, врага не пустили и 900 дней блокады показали, что город выдержал невиданную, неслыханную осаду, несмотря на все лишения и голод.

Для меня всегда было непонятно, что на самом деле произошло под Ленинградом.

17 сентября 1941 года, надеюсь, что память мне не изменяет, я с остатками своего полка 1ДНО отступил из Пушкина в Ленинград. Мы вышли на рассвете где-то в 5 часов утра, получив приказ отойти из района расположения дворца. Наш штаб полка находился в Камероновой галерее. К тому времени немецкие автоматчики уже занимали парк, они обстреливали галерею, расположения всех рот. Одна за другой роты покидали свои позиции, отходя к дворцу. С правого и с левого фланга, вероятно, никаких частей наших уже не было. Во всяком случае, получив приказ, мы эвакуировали раненых, и остатки полка организованно отходили по шоссе в направлении Шушар. Дойдя до Пулково, мы под-

верглись налету немецкой авиации. Спустились в низину Шушар, и я увидел, как немецкие эскадрильи одна за другой обстреливали людей, которые шли, бежали к городу. Это были беженцы из пригородов и остатки частей вроде нас.

Колонна подошла к Пулково, и я увидел, как внизу по всему полю к Ленинграду идут такие же колонны, отряды, группы и одиночки. Тысячи и тысячи солдат стекались в город. Было件нятно, что фронт рухнул. По крайней мере, юго-западный участок прорван. Не видно было никакой попытки остановить эти массы отступающих. Куда они стремились, как будто город был убежищем. Показались немецкие самолеты. Десятки, а может, сотни. В поле негде было укрыться. Ни окопов, ни щелей, открытое пространство, на котором отчетливо виден каждый. Свинцовые очереди штурмовиков полосовали почти без промаха. Сбрасывали небольшие бомбы, сыпали их беспорядочно, благо любая настигала. Настигла и меня, взрыв подбросил, я шмякнулся о землю так, что отключился. Когда очнулся, наша колонна разбежалась.

Перебежками, а потом уже просто пешим образом я дошел до Средней Рогатки, до трамвайного кольца, сел на трамвай и поехал к дому. Все было ясно, немцы на наших спинах войдут в город.

Меня поразило, что на всем пути не было никаких заградотрядов, никаких наших воинских частей, никто не останавливал отступающих, впечатление было такое, что город настежь открыт. Через день, придя в штаб народного ополчения, я получил направление в отдельный артпульбат укрепрайона, он занимал позицию перед Пушкином, в Шушарах.

Там я и воевал вплоть до конца зимы 1942 года (292-й артпультбат 2-го укрепрайона).

Но с тех пор меня томит загадка — этот день 17 сентября, когда город был абсолютно не защищен со стороны Шушар, и немцы спокойно могли войти в него. Пустые доты, покинутые баррикады. Почему они не вошли?

Не знаю, как выглядела оборона города на этом участке 15, 16 сентября, и что было 18 сентября. Запечатлелся навсегда день 17 сентября 1941 года, страшный день открытого, беззащитного города.

Только позже, уже пребывая в укрепрайоне, мы увидели, как налаживается оборона, появились подразделения на пути на участке Пулково—Шушары.

После войны, много позже, я пытался выяснить, что же происходило в сентябре месяце, почему немцы не вошли в город. Почему не воспользовались случаем войти в Ленинград, не встречая никакого сопротивления?

18 сентября фон Лееб, командующий 18-й армией, записывает: «Павловск взят нашими войсками. Таким образом, весь район, включая сегодняшней дальний рубеж окружения находится в наших руках». Павловск, значит, и Пушкин. А дальше к городу никакой серьезной обороны нет, и это было, очевидно, ясно командованию 18-й армии.

Что же произошло?

Как ни странно, ответы на этот вопрос стали появляться лишь спустя 60 лет в последние годы в Германии, а затем и в России. В нашей историографии считалось, что сентябрьское противостояние завершилось истощением немецких войск, большими потерями благодаря героизму частей Красной Ар-

мии и частей народного ополчения. Советские историки впервые привлекли неизвестные нам до этого документы Хортвига Польмана (бывший офицер вермахта) — книга «900 дней боев за Ленинград».

У нас что писали? В книге, изданной в 2004 году, «Блокада Ленинграда» — цитирую: «В результате ожесточенных боев и сражений осенне-летней кампании 1941 года гитлеровский план молниеносного захвата Ленинграда был сорван». И в других трудах повторяется: «Немцы были остановлены».

Где? Когда? Кем? Что бы я ни читал, я не могу отделаться от той картины, которая предстала передо мной 17 сентября 1941 года.

Только в самые последние 2—3 года удалось мне узнать, что в дневниках фон Лееба и начальника Генштаба Гальдера говорится и о том, что препятствовал вторжению в город немецких войск прежде всего сам Гитлер. Инициатором был Гальдер, ему, очевидно, удалось уговорить Гитлера и, несмотря на сопротивление фронтовых генералов, приказ о вхождении в город немецких подразделений отдан не был. Потом наступление было запрещено, а затем 4-я Танковая группа была с Ленинградского фронта отправлена под Москву. Лееб не получил команды войти в город, и осаждающие войска вермахта перешли к осаде, к удушению Ленинграда голодом. Очевидно, рассчитывали на то, что город сам должен сдаться. Но даже и в этом случае не знали: что делать с населением? Отпустить? Добить голодом?

В результате дело свелось для немцев к бесчеловечной задаче: удушить население города голодом. Не рассматривался даже вариант капитуляции. Никаких переговоров, не принимать сдачи...

Почему Гитлер принял такое решение?

Какие были у него мотивировки?

Что творилось в Генштабе?

— Неизвестно.

Пока что ни наши, ни немецкие историки не имеют ясного ответа.

* * *

В тот 1941 год война была для нас священной. Мы хотели освободить свою родину от оккупантов. Не знаю, кто придумал лозунг «Смерть немецким оккупантам!», но он стал нашим идейным знаменем. Не изгнать оккупантов, а убить. Война к концу 1941 года повернулась на уничтожение. Когда гитлеровская программа уничтожения славян дошла до нас, война перешла на убийство. Мы тоже будем уничтожать. «Смерть немецким оккупантам!»

Это было тем легче, когда немецкие солдаты стали лишь движущимися мишенями. Мы стреляли в них всю зиму 1941—1942 годов, не видя их лиц, они исчезали за бруствером, неизвестно, убитые или прятавшиеся от пули. Примерно, как фигурки в ярмарочном тире. Зато наши убитые были люди.

* * *

Мы вышли на солнечную проталину. Посреди нее на бледно-зеленом мху лежал труп лейтенанта, голова его была забинтована, в руке пистолет, он застрелился. Желтые прокуренные пальцы разжались. Лицо его было поклевано. Перед тем, как похоронить, двое наших разыграли его яловые сапоги. Я не возражал. Ботинки наши прохудились.

Копать могилу не хватало сил, нечем было рубить сплетенные корни. Закидали труп ветками, поставили колышек.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Мой друг Вадим Пушкарев отправился на войну артиллеристом в июне 41-го. Он был в числе тех тысяч, которые начали пропадать в первые же дни войны. Что значит «пропадать»? «Пропавшие» — это люди, которых постигла судьба, разворачивавшаяся на моих глазах, когда мы отступали (а, грубо говоря, драпали) от эстонских рубежей в глубь Ленинградской области, на Северо-Западный фронт.

Вадим пропал в боях где-то, кажется, под Урицком. Впоследствии многие попытки узнать о его судьбе были безуспешны. Я только знал, что его семье, как семьям всех без вести пропавших, не полагалось ничего — ни пенсий, ни льгот. Их лишали аттестатов так же, как семьи военнопленных. Эти вообще становились второсортными людьми. Один из наших вождей предлагал семьи военнопленных подвергать репрессиям. Между тем в плен попадали в 1941 году целые дивизии, более того — армии. В 41-м попали в плен и пропали без вести почти 2,5 миллиона человек.

Нас косили штурмовики, гнали танки, нас рвали минами, снарядами, мы бежали, оставляя в окопах убитых и умирающих. Когда успевали, мы еще кое-как сваливали трупы во рвы, присыпали землей. Уже после войны я часто видел во сне, как хоронил Вадима, хоронил других своих друзей-

однополчан — Мишу, Володю, скидывал их в общую траншею.

Пропавшие без вести... Да и откуда получить вести, если рядом почти никого не оставалось? А те, кто остались, на следующий день или через неделю уходили туда же — в безвестье. Молодым парням тогда оставалось жизни в среднем по неделе.

Уже после войны нас убеждали, что среди без вести пропавших могли быть перебежчики, уходившие к немцам. Сама возможность такого подозрения уже зачисляла исчезнувших в изменники, предполагала наказание задним числом, даже после войны. Их и наказывали — беспамятством и лишением послежизненных прав. Между тем только на нашем Северо-Западном фронте только за шесть месяцев 1941 года попало в плен и пропало без вести 150 тысяч человек.

Плен по тогдашним советским понятиям становился позором: попал в плен — трус и изменник, по всем понятиям и требованиям того времени ты должен был покончить с собой — только не плен. И никто не считался с тем, что миллионы солдат попадали в окружение не по своей вине. Осенью 41 года окружением под Вязьмой «прославились» 37 дивизий, целые части и подразделения с вооружением, штабами и генералами, многочисленные танковые бригады, лишь половине из которых удалось вырваться из вражеского кольца. В «Брянском котле» попали в плен и пропали без вести 190 тысяч бойцов. Эти цифры — свидетельство не трусости солдат, а просчетов командования. Солдат тут был ни при чем. В любой войне были и будут военнопленные...

Недавно в одной из наших газет я увидел фотографию: родные и близкие встречают вернувшегося из плена солдата. С какой радостью и восторгом бегут они ему навстречу! Бегут навстречу американскому солдату: снимок сделан в Америке.

В США к военнопленным относятся как к людям, которые пострадали, претерпели лишения и невзгоды во вражеском плену. На родине их встречают торжественно, с почетом — все, вплоть до президента. В США бывших военнопленных награждают орденами, есть специальная медаль военнопленным. Есть уважение общества. Общество отдает должное этим солдатам.

И во Франции плен засчитывается как время, «проведенное в условиях войны». Бывшие военнопленные могут выйти на пенсию раньше положенных 65 лет, имеют надбавки к ней, скидки на проезд по железной дороге, усиленное медицинское обслуживание, комфорт в пенсионных домах и тому подобное.

Но что интересно! Нечто подобное было и у нас в России, в царской армии. Цитирую дореволюционное «Положение о военнопленных»: «Воинские чины, взятые в плен, по прибытии из плена получают... жалованье со дня последнего довольствия на службе за все время нахождения в плену... Семейство их получает половину того содержания, какое их главы получали на службе в день взятия в плен, вплоть до возвращения из плена, или назначение пенсии в случае смерти в плену».

У нас же семьи военнопленных становились бесправными. Я уж не говорю о том моральном тер-

ужасна наша неблагодарность по отношению к сотням тысяч безвинно попавших в плен солдат, неблагодарность, которая длится до сих пор. Мы никак не можем отдать должное им, участникам Великой Отечественной войны, даже спустя столько лет отказываем им в праве на это звание...

Да, Великая Отечественная война была действительно Великой. И величие ее измеряется не тем, сколько наших людей погибло в этой войне (а эти потери мы до сих пор ощущаем!). Ее величие в том, что, несмотря на, казалось бы, полное поражение в первые месяцы войны, ужас потери огромных территорий, страна сумела за короткое время восстановить военную промышленность, обрести новую армию, которая остановила немецкие войска, отстояла Москву, Ленинград и перешла в наступление...

Я уцелел после ленинградской мясорубки, успел окончить танковое училище. Так вот, когда мы, его выпускники, получали танки в Челябинске, я видел это чудо возрождения. Это было действительно чудо: подростки, полуголодные рабочие выпускали десятки, сотни танков в неслыханных условиях, в обледеленных цехах.

Наша армия освобождала одну за другой европейские страны. Нас встречали действительно с радостью, как освободителей. Но, может быть, солдатам больше всего хотелось вернуться домой, потому что наступало время Победы: враг был сломлен, и Родину мы отстояли.

Я до сих пор не знаю, нужно ли было нам, например, входить в Польшу. Для меня, как для солдата, беда и боль состояла в том, что, перейдя

границу, по-прежнему продолжали гибнуть мои однопольчане. А ведь главное было сделано — мы зашили Отечество, и война закончилась, Отечественная. Мой кругозор, конечно, ограничен моей ротой, моим полком, моими однопольчанами. Но он не ограничен гибелью моих однопольчан, которые продолжались уже на полях Европы.

Сегодня, спустя шестьдесят с лишним лет, мы многое видим иначе. Где она, благодарность европейских стран, европейских столиц, которые нас встречали, казалось бы, с такой радостью? Да, мы были для них освободителями. Но одно дело — накопившееся у нас за годы войны непосредственное эмоциональное чувство, с которым мы входили в Европу, а другое — дальновидность политиков и полководцев.

Михаил Кутузов хотел закончить Отечественную войну 1812 года изгнанием Наполеона за пределы Отечества. Возможно, в этом была дальновидность великого полководца. Между прочим, преследуя врага, Кутузов дошел до Польши и умер на походной кровати в Болеславце, там и похоронен. Но сердце его все же вернулось на Родину и упокоилось в Казанском соборе Петербурга. Однако какой круг проделала история! В том же Болеславце уже после 9 мая 1945 года появилось большое кладбище советских солдат. Все даты смерти на ухоженных надгробиях — после 9 мая. Война закончилась, а солдаты продолжали гибнуть.

Немец уже был сломен. Почему же мы не дали народам самим решать свою судьбу? Я вижу в этом проявление имперского мышления, причем не только советского, сталинского, но и наших

союзников по антигитлеровской коалиции. В Берлин хотели войти все.

Да, был солдатский порыв добить врага в его логове, отомстить за поругание Родины и родных. Но солдатское мышление прямолинейно, в нем есть своя правда и есть неправда. Если это чисто эмоциональное чувство, жажда мести — это еще не есть высшая мудрость. Им-то и должна противостоять политическая дальновидность военачальников и политиков. Но какая стратегия стояла за 300 тысячами солдатских жизней, беспощадно и неоправданно положенных под Берлином за неделю до его окончательного падения? Наши солдаты погибли накануне Победы. С момента перехода границы все должно было измеряться возможными потерями живой силы. Одно дело, когда мы спасали свою страну, а дальше наши действия решала цена человеческой жизни и только она.

Особая тема для разговора в годовщину Победы — воинские кладбища и памятники. Я вообще в эти праздничные дни невольно размышляю о проблеме благодарности и неблагодарности. Наверное, существует бремя истории. У нас по стране разбросаны многочисленные штампованные памятники и обелиски — в городах и дальних поселках. Раз в году в день Победы к ним несут цветы и венки с трогательными надписями. Но меня удручают эти гипсовые автоматчики и солдаты с отбитыми руками. Никто за ними постоянно не смотрит, и стоят они, как памятники нашей неблагодарности.

Конечно, может возникнуть вопрос: было бы лучше, если бы их вообще не было? Не знаю. Мо-

жет быть, на их месте давно следовало поставить простые мемориальные камни-валуны с поименными надписями. А пока что эти кладбища незаметно исчезают с нашей земли. Так, снесено кладбище нашего батальона под Пулково. И кладбище, которое оставалось где-то в районе Тильзита.

Во Франции я был на воинских кладбищах. Там в идеальном порядке содержатся могилы не только французских, но английских и американских солдат. Хотелось бы, чтобы празднование дня Победы у нас ознаменовалось заботой о подобных мемориальных знаках нашей благодарности погибшим, чтобы они выглядели достойно. Память о Великой Победе на самом деле заслуживает куда большего.

Проблема беспамятства — это нравственная проблема нашей жизни. Я не знаю ни одного массового захоронения русских солдат, погибших в Первую мировую войну. Они есть в Гамбурге, других европейских городах, в России их нет. В каждом нашем малом городке, в каждой деревне были ушедшие на войну и погибшие там солдаты. Теперь уже имена не всех земляков можно восстановить. И все же необходимо поставить даже в небольших населенных пунктах не безымянные мемориалы, а со списками всех, кто не вернулся с фронта. Включая и без вести пропавших. Иначе наши праздники с фейерверками и салютами выглядят ущербно.

Наше беспамятство, а то и сознательная забывчивость давно перешагнули государственные границы. За годы нашей новой жизни мы не признали никаких ошибок. Ни ошибок, связанных с Чечней, ни ошибок, связанных с Чехословакией, Венгрией, Германией.

Мы не находим в себе мужества быть виноватыми. В том числе по отношению к военнопленным и пропавшим без вести.

* * *

Оказалось, что я стою на мосту Понте Веккио. Посреди Флоренции. Мост был точно такой, как в альбоме у Юлии. Средневековый мост, уставленный ювелирными и сувенирными лавками. Под ним текла река Арно. Где-то тут под водой стояли две плотины. Они преграждали путь военным кораблям, чтобы противник не мог подойти на них к Флоренции. Это мне рассказала Юля. В альбомах Флоренция выглядела сказочно. Теперь, спустя годы, я приехал сюда. Во дворце Веккио шел конгресс. После перерыва я не вернулся на заседание. Я пошел гулять, я хотел заблудиться в этом городе. На самом деле Флоренция была еще сказочней, чем на картинках. Был воздух. Было небо. Итальянское. Были две тысячи лет истории... Столица Возрождения.

Я сошел с моста, потом вернулся. На нем мне вспоминался тот день, когда я вернулся от Юли и стал рассказывать Римме про то, что мы можем уехать в Италию. С тех пор прошло много лет. Мы с ней ни разу не вспоминали то, что произошло. Это было табу. У нас было несколько табу, из тех, что есть в каждой семье.

Почему она решила, что нам надо отказаться от Италии? Приснилось ли ей что-то? Бывают ведь вещие сны. До нее иногда доносилась откуда-то смутная подсказка. Что-то в ней было от древнеримской пифии. Такое бывает у женщин, у мужчин нет, не бывает.

Ну, а я-то почему согласился, почему отказался? Вдруг здесь, глядя на бегущие воды Арно, я представил, как Италия вошла бы в нашу жизнь. Говорили бы по-итальянски, объездили бы ее, облазили, дочка обитальянилась. Жизнь свернула бы круто в сторону. Прощай, литература. Преуспевающий чиновник торгпредства.

По-настоящему представить такой вариант я мог, допустим, для какого-то своего героя, но не для себя. Поздно...

Какое-то сожаление о той несостоявшейся жизни звенело в воздухе. Ничего не поделаешь, за все надо платить. Размер платы я увидел, я-то увидел, а вот Римма Италии лишилась. Вряд ли здоровье ныне позволит ей... Она заплатила за свое решение куда дороже меня. Любовь у нас была одна на двоих, а жертвовать ради нее Римме приходилось чаще. Когда-то ее на заводе уговорили вступить в партию. Потом вся фальшь партийных собраний и того, что делалось, опротивела ей раньше, чем мне. Она решила выйти из партии. Тогда это грозило неприятностями. В парткоме ее долго отговаривали, и так и не остановили. Мне ничего не рассказывала.

Мы давно с ней перестали говорить о своих чувствах, это тоже было табу. Мы просто поняли, как мы нужны друг другу.

* * *

Русская эмиграция выдержала испытания тяжелейшие. В истории ничего похожего не знаю. Миллионы необеспеченных, часто безъязыких россиян, не приспособленных ни к европейским законам, ни к порядкам, хлынули из России в Европу, Азию.

Выдержали все это — нищету, скитания — с большим достоинством. Обогатили европейскую культуру. Дали миру ученых, инженеров, философов, музыкантов, художников. Буквально во всех областях проявили себя русские люди. Создали новые разделы наук. Вспомним Питирима Сорокина, Бахметьева, Тимошенко... В эмиграции окреп поэтический и критический талант Г. Адамовича, даже И. Бунин написал там, может быть, лучшую свою книгу «Темные аллеи».

* * *

«Благосклонный друг», «Пользуясь Вашей благосклонностью», «Благосклонный читатель», «Благосклонное внимание» — милые выражения, что почти исчезли ныне, нет им места. Излишне деликатно, что ли? Или засилье деловитости нового поколения? Зачем мы лишаем себя прелести душевного языка?

МАРИНА

Вдруг я обнаружил, что моя дочь куда умнее меня, куда более толкова, дальновидна. Наверное, это уже было давно, не замечал, потому как привык считать ее маленькой. Со школьных лет она стала бороться за свою личность. Ей не нравилось, что ее считали дочерью известного писателя. Учительница (дура) сказала ей: «Что ты себе позволяешь, а еще дочь инженера человеческих душ».

Она выбиралась из моей тени разными способами. Например — не читала моих книг. Никогда не

обсуждала со мной мои статьи, выступления. Это не было отчуждением. Чуть что — она яростно защищала меня, в ее любви я не сомневался, но ей надо было стать Мариной Герман, потом Мариной Чернышевой, иметь свою, отдельную репутацию, свой облик. Всего добивалась своими силами, своим умом. Показывала себе, мне и всем, чего она сама стоит. Моим именем старалась не пользоваться. Узнавали, что она дочь Гранина случайно. Не от нее. Наверное, я не столько помогал ей, сколько мешал, но она никогда не жаловалась. Примерно тот же путь прошел и внук. Мы понятия не имеем, как тяжело нашим детям добывать себя.

* * *

Научное познание не знает, к чему придет, что там, на вершине, куда оно стремится. Вот почему для человечества ныне важнее, чем открытие новых и новых научных истин, стремление познать, как нравственно улучшить человека, поднять его душу.

* * *

Сегодня мы уже не можем просто повторять жизнь своих предков, тем более нашего поколения. Мы, советские люди, были без инициативы. Все решения принимали за нас — от правительства до парткома. Президиум каждого собрания и то нам не доверяли избрать. Преподносили список. Все было расписано. Мы были статисты. Все газеты, все каналы сообщали единое мнение. Политические обозреватели сходились в своих оценках. Везде царило единодушие, единомыслие. Самостоятельно думать не нужно. Оставалось немного — сооб-

разить, где чего достать, или изловчиться так, чтобы мне, моей семье было лучше.

* * *

Тимофеев-Ресовский только перед смертью признался своему сотруднику Шнолю, что открытие, связанное с радиационной генетикой, принадлежит ему, а не Кольцову, хотя всегда приписывал это Кольцову. Так же как Кольцов приписывал открытие матричной репродукции Коллю.

Оба они таким образом отдавали свое своим учителям.

* * *

Ко мне обратились мои однополчане по 42-й армии.

— Как это так, блокадников приравняли к нам, фронтовикам, к тем, кто воевал, все же есть разница.

Чувства их были понятны, но, подумав, я сказал им:

— Воевали мы плохо, а блокадники держались хорошо.

* * *

Открытию, связанному с кровью, как кровь доставляется к пораженному участку, академик Ю. Овчинников не дал хода, как рассказывали мне его сотрудники — затормозил. Все потому, что его не присоединили, не сделали соавтором. Те не уступали из принципа. Тогда у одного из упрямцев четыре раза делали обыск, искали спирт, якобы похищенный из лаборатории. Не нашли. Дотравили

до того, что он повесился. На то и был расчет. Второго исключили из партии. Сам Овчинников, директор института, заболел, умирал, но все равно ходу работе по крови не давал до самой своей смерти.

В результате работа, нужная медицине, была заторможена и надолго, и все трое участников схватки пострадали.

* * *

Детство было самой счастливой порой моей жизни. Не потому, что дальше было хуже. И за следующие годы благодарю судьбу, и там было много хорошего. Но детство отличалось от всей остальной жизни тем, что тогда мир казался мне устроенным для меня, я был радостью для отца и матери, я был не для кого, не было еще чувства долга, не было обязанностей, ну сопли подобрать, ну спать лечь. Детство безответственно. Это потом стали появляться обязанности по дому. Сходи. Принеси. Помой... Появилась школа, уроки, появились часы, время.

Я жил среди муравьев, травы, ягод, гусей. Я мог лежать в поле, лететь среди облаков, бежать неизвестно куда, просто мчаться, быть паровозом, автомобилем, конем. Мог заговорить с любым взрослым. Это было царство свободы. Не только наружной, но и внутренней. Я мог часами смотреть с моста в воду. Что я там видел? Подолгу простаивал в тире. Волшебным зрелищем была кузня.

Любил в детстве часами лежать на теплых бревнах плота, смотреть в воду, как играют там в рыжеватой глубине, поблескивают уклеики.

Повернешься на спину, в небе плывут облака, а кажется, что плывет мой плот. Под бревнами жур-

чит вода, куда плывет — конечно, в дальние страны, там пальмы, пустыни, верблюды. В детских странах не было небоскребов, автострад, была страна Фенимора Купера, иногда Джека Лондона — у него снежные, метельные, морозные.

Детство — это черный хлеб, теплый, пахучий, такого потом не было, он там остался, это зеленый горох, это трава под босыми ногами, это пироги с морковкой, ржаные, с картошкой, это домашний квас. Куда исчезает еда нашего детства? И почему она обязательно исчезает? Маковки, постный сахар, пшенная каша с тыквой...

Столько было разного счастливого, веселого... Детство остается главным и с годами хорошеет. Я ведь там тоже плакал, был несчастен. К счастью, это начисто забылось, осталась только прелесть той жизни. Именно жизни. Не было ни любви, ни славы, ни путешествий, ни секса, только жизнь, чистое ощущение восторга своим существованием под этим небом. Еще не осознана была ценность дружбы или счастье иметь родителей, все это позже, позже, а там на плоту только я, небо, река, сладкие туманные грезы...

* * *

Рассказывал нам сын немецкого лейтенанта про своего отчима, как тот уходил на войну, как чванился, хвалился, обещал войну молниеносную, трофеи, презирал русских. Приехав в отпуск, рассказывал, какие они дикари, как бегут, как давим их танками и машинами, что всех их надо перебить. А после 1945 года стоял в очереди за супом. Вернулся из армии озлобленный, трусливый, заискива-

ет перед всеми, врет, русскому офицеру доказывает, что всегда ненавидел Гитлера, не знал ничего о лагерях, у него друзья евреи, что он не убил ни одного русского.

* * *

Цивилизация XXI века включила четвертую скорость. Врачи лечат больных по телевидению. На концертах певцы давно уже не поют, они открывают рты, за них работает качественная запись. В газетах журналисты выступают исключительно с заказными статьями. Энциклопедии дома не нужны, есть Интернет. Стихи не нужны потому, что не содержат информации. Свидания по Интернету. Знакомства — по нему. Секс тоже иногда хорошо получается по нему. Покупки — по Интернету.

* * *

Пришел к Юрию Павловичу Герману через несколько часов после его смерти. Его жена Таня, сидела, почерневшая от горя. Рядом Иосиф Хейфец, Саша Хазин, Юлий Рест. Шел какой-то нелепый разговор. Д. Данин рассказывал, что он собирает этикетки от жевательной резинки. Я подумал — а о чем надо говорить? Хорошо, что говорят о глупостях. Любые слова — не те.

* * *

Дарвинисты теперь выступают как реакционеры. Материализм стал оплотом невежества. В своей борьбе с религией дарвинисты-атеисты выглядят беспомощно.

В магазине:

— Позвольте узнать...

— Короче, папаша.

АЛЕКСАНДР МЕНШИКОВ

Кроме взяток, казнокрадства был и другой, и может, имел больше хорошего, чем плохого.

По возвращении из Великого посольства Меншиков начинает собирать себе библиотеку, и вскоре она становится одной из крупнейших в России. Его интересуют книги по фортификации, по строительству и по кораблестроению.

За границей он заинтересовался живописью. Закупает картины — пейзажи. Его коллекция вторая в России.

Организовал производство гобеленов. В Санкт-Петербурге несколько фабрик. Построил цех шпалер. Все это было для того времени в новинку (1697).

На Васильевском острове Меншиков построил «Французскую слободу» для мастеров, собранных строить Санкт-Петербург.

В 1704 году построил «Посольский дом» на Петроградской стороне.

Он наблюдал за строительством на острове Котлин (Кронштадт). Петр все свои решения по Крон-

штадту принимал с Меншиковым, который был губернатором. Должность — наблюдатель, то есть директор.

Меншиков был отличным хозяйственником. Кроме того, фортификатором-инженером. Ему надо было обеспечить защиту Санкт-Петербурга с моря и с суши. Организовать городское хозяйство. Он строит бани. Пожарные команды. Аптекарские огороды. У него большой штат, надо готовить отчеты царю. Канцелярии. Верфи. Кирпичные заводы.

Петр уезжал на войну, за границу и требовал отчеты — как идет строительство дороги в Петергоф, Стрельну, на Васильевский остров, Гавань, как очищаются берега Невы, дорога на Выборг.

Особое внимание Ладожскому каналу. Меншиков вместе с Петром Великим выбирал трассу канала.

Построил канатную фабрику за свой счет и подарил ее флоту.

1712 год. Опасались атак на Санкт-Петербург. Меншиков срочно укрепляет Кронштадт.

Меншиков — ближайший сотрудник Петра Великого все годы до смерти Петра.

Он подбирает архитекторов. Немец Шедель — для строительства Летнего дворца, Кронштадта, Петергофа.

(Может, в чем-то я преувеличиваю, но слишком долго мы были несправедливы.)

Не хватает рабочих. Бегут со строек.

Надо ехать то и дело в Москву. Там тоже стройки (церковь Архангела Гавриила.)

Собирает скульптуры. Заказывал портреты.

Архитекторы, нанятые им: Гербель, Швертфегер.

Пильные мельницы для строек он создает в Ижоре.

Едет обычно водой в Петергоф и Петр I.

В 1711 году Петр Великий уезжает в Прутский поход (на 1,5 года). Хозяином оставил в Санкт-Петербурге Меншикова. Надо сохранять темп строительства и Санкт-Петербурга и Кронштадта.

Меншиков строит Александро-Невскую лавру.

Строит Петрозаводск.

1703 год. Закладывает доменный цех (близко руда, медь). Олонецкие верфи.

Первый наплавной мост через Неву (проект делает сам Меншиков).

1705 год. Изготовлены пушки. Петр Великий благодарит за них Меншикова.

Повенецкие заводы строит за свой счет.

В Москве Триумфальные ворота (1702, 1703, 1704, 1721) — это все его рук дело.

* * *

Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, лучшие воины, они могут сокрушить любую армию, они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев.

Лебединскому было за сорок. Остролицый, в очках, лицо смуглое, голос дребезжащий, неприятно жестяной, облик человека сухого, академического. Располагал он к себе ясностью своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем, его решения были просты, очевидны, ни у кого не вызывали сомнений.

Две недели в начале сентября немцы атаковали наши позиции... Две первые атаки мы отразили и отошли к Пушкину. У нас остался один танк КВ из приданных нам. Он стоял на окраине парка, бил по немцам из пушки, передвигался то к прудам, то от них, чтобы его не засекли.

Появился Лебединский со своим адъютантом. Он что-то растолковал танкистам и отправился обратно, в этот момент ударил снаряд, ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, у него оказалась вывихнута нога. Или сломана. Адъютанта тоже стук-

нуло по голове, тем не менее он подхватил полковника с одного бока, я с другого, мы повели его к медикам. По дороге Лебединский давал указания адъютанту — что, где, кому делать. Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка, кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей.

Полководец, которого увозят с поля боя оттого, что вывихнута нога — выглядело несерьезно. Но полковник был весь в поту от боли. Медики взялись за него, адъютанта тоже оставили у себя, потому что у него кружилась голова и тошнило, он не мог ходить. Лебединский отправил меня на КП к начальнику штаба передать распоряжения. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел в роту. Там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, исчез. Короче говоря, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальником политотдела дивизии. Сашу я знал по отделу главного энергетика. Мы с ним оба ухаживали за одной чертежницей, Зоей Кухарчук. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров, пока что я остаюсь за начальство на связи.

Это «пока что» продолжалось двое с лишним суток.

Всякое со мною бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался никогда не вспоминать. Фактически я командовал полком. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали, я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал, но что творится там, на пе-

реднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Связь с дивизией поминутно прерывалась. Я снова звонил Михайлову, тот напомнил мне про Аркадия Гайдара, который в восемнадцать лет командовал полком. «А ты байбак...» — и дальше следовала моя характеристика, вряд ли стоит ее приводить.

В 1971 году я прочитал в газете «Кировец» статью о том, как я командовал полком. Написал ее Писаревский, добросовестный журналист, который занимался историей Ленинградского ополчения. Не знаю, какими материалами он пользовался. В статье ничего не говорится о моих промахах. Можно подумать, что все выглядело вполне достойно. На самом же деле...

С передовой все настойчивей требовали поддержки, куда двигаться, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно, отсекут, уничтожат. Где, какая рота, я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот... единственная мысль, которая удерживалась в моей опухшей голове, — нельзя отсиживаться, все бойцы, которые толпятся на КП, — отсиживаются. Время от времени я выбегал наружу и гнал всех на «передок», в роты. Какая-то команда сидела на траве, курила. Кто такие? Минометчики. Почему не стреляете? Мин не подвезли. А, отсиживаетесь! И я отправил их всех во вторую роту, которая просила помощи. Через полчаса докладывают, что мины доставили. Минометчиков нет, стрелять некому. Увидел писателей. Был у нас такой взвод писателей. Где командир? Командир в политотделе дивизии, получает задание. А, отсиживаетесь! Вызвал молодого

рослого, в очках. Кто такой? Поэт Лившиц. Назначаю вас командиром, выстроить взвод и на передовую! В распоряжение командира первой роты, помочь, эвакуировать раненых. Поэт Лившиц пытается мне объяснить, что он не умеет командовать, что их командир Семенов вот-вот вернется. А, отсиживается! Я вытащил пистолет и направил на него. Построить взвод и шагом арш!

Сколько таких командиров потом встречал, которые не слушали никаких доводов, могли только размахивать наганом и орать.

Лившиц не испугался, да и никто не испугался, они усмехались над моей запальчивостью, над глупостью, которую я совершал, тем не менее отступить я не мог, и они понимали это.

— Потом будете писать, сейчас надо воевать. — Такова была напутственная речь, с какой я отправил их на передовую.

Голосом мучительно застенчивым Лившиц подал команду «Шагом марш!». За всю войну я не встречал так предельно не подходящего для командирской должности человека.

Взвод не взвод, скорее, гурьба пожилых сутулых мужчин, кряхтя, переговариваясь, обреченно двинулись к дороге. К концу дня выяснилось, что ими удалось вовремя усилить разбитый центр.

Спустя двадцать лет меня, начинающего писателя, представили поэту Владимиру Лившицу. Я до этого читал его стихи, никак не сопоставляя его с тем Лившицем.

Он узнал меня, и я узнал его. Ничего он не сказал, отвернулся. Мне было бы легче, если бы он был плохой поэт, но он был неплохой поэт, и сти-

хи его мне нравились. Теперь я был без нагана, и я ничего не представлял собой. Невозможно было подумать, как я мог орать на этого человека. В толстых очках, с добрым застенчивым лицом, он идеально не подходил на роль командира. Как он их выстроил, куда он повел этот взвод? Об этом я никогда его не спрашивал. Потом мы подружались, но чувство вины перед ним у меня навсегда осталось.

Вскоре я разослал всех, кто был возле КП, оставил там только двух связистов и, взяв с собою старшину из хозчасти, прихватив винтовку, отправился на передовую, ибо больше командовать было нечем.

Было удовольствие, недолгое удовольствие ощутить себя просто солдатом, ползать от укрытия к укрытию, стрелять.

Плохо, что мы все знали друг друга. У трансформаторной будки я наткнулся на Казанцева, мы не ладили еще на заводе, ему не нравились терморегуляторы, которые мы устанавливали в его цеху.

— Полюбуйся, — сказал он санитарке, — кто у нас командир. Довоевались!

— Отправляйся на КП и действуй вместо меня, — сказал я.

Он сидел на земле, прислонясь к бетонной стенке, лицо его было серое, как тот бетон. Он закрыл глаза, потом открыл, посмотрел на меня с отвращением.

— Сделай хоть что-то... прикажи всем отходить ко дворцу... В сторону Камероновой галереи. Мы больше не продержимся.

Он говорил. Я выполнял. С пулеметчиками связи не было, я пошел к ним, передал распоряжение са-

перам, вторую роту я отвел под правое крыло дворца. Надо было выставить боевое охранение, разместить заново КП, сообщить в штаб дивизии... Оттуда появился какой-то представитель, брать командование на себя он отказывался, что-то советовал, но больше молча неодобрительно мотал головой.

ЛЮБОВЬ

Любовь хороша тем, что позволяет отдать сердечные силы другому. Через это ощутить себя, те залежи добра, заботливости, какие скопились. Можно осуществить лучший вариант своей натуры. Была у меня одна знакомая, вздорная ядовитая особа, злая на весь мир. Мужа ее разбил паралич. Она самоотверженно ухаживала за ним. У его постели преобразалась, светясь заботливостью, нежностью. Так продолжались долго. Оказывается, имелась в ней такая женщина, неизвестная нам. Вне дома по-прежнему была неприятна. Но теперь, когда я знал другую, я этой все прощал.

И ВСЕ-ТАКИ, ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО?

16 сентября 1941 года четыре танковые группы получили приказ немедленно остановиться и не занимать Ленинград. Генерал Рейнхард, командуя мотоармейским корпусом, снова докладывает, что никто не мешает ему войти в город.

Он недоумевает, возмущается, как это может быть, я не вижу причин, не желаю этого понимать.

Он криком кричит: «Если мы не войдем, мы упустим единственный шанс, мы никогда не возьмем Ленинград!»

Что произошло в Генеральном штабе, почему появился такой приказ Гитлера, какими соображениями он и его окружение руководствовались? Что-то ведь случилось, что в самый последний момент заставило остановить завершение всей операции. Как солдат, еще больше как офицер, я понимаю досаду, возмущение немецких командиров — добрались до цели, выиграли все сражения по пути, понесли немалые потери и вот, наконец, уже все, открылись купола, башни города. Он виден весь, на ладони, противник отступил в панике, ворота открыты, входи. Нет! Стоп! Почему? Стоять и все тут. Выглядит невероятно.

До того действия немецких войск считались «нормальным военным ремеслом», начиная же с 16 сентября Гитлер приступает к политике уничтожения. Вермахт невольно становится пособником этого преступления, бесчеловечного уничтожения гражданского населения, огромного европейского города. Ни о каком рыцарском поведении немецкой армии речи быть не может, она запятнала себя чисто людоедским актом, удушив голодом миллион горожан.

В ноябре 1941 года Гитлер уже открыто на торжественном заседании в Берлине признает, что он приказал взять город измором.

До этого, как утверждали немецкие историки, армия пыталась и не могла взять город.

Мне же запомнилось, что на всем протяжении блокады после сентября 1941 года, в 1942—1943 го-

дах немцы не предпринимали никаких серьезных попыток наступления.

7 октября 1941 года вновь Йодль издает директиву верховного командования вермахта, где говорится:

«Фюрер *вновь* (курсив мой. — Д. Г.) принял решение не принимать капитуляции Ленинграда, *как позднее Москвы* (курсив мой. — Д. Г.), даже в том случае, если таковая была бы предложена противником».

Значит, не только Ленинград не брать, но и Москву? Читатель Марк Медведев пишет мне: «...всегда говорится о блокаде Ленинграда, никогда об осаде».

Маршал артиллерии Василий Казаков говорил в своем выступлении: «Я окончил две военных академии. Но я не понимаю, почему немцы не взяли Москву. Наших войск в октябре под Москвой практически не было. Оборона не существовала. Говорят, что Сталин оставался в Москве. Не верю. Немецкие танки были в Химках. Это по прямой 16 км до Кремля. Но они дальше не пошли. Не понимаю, хоть убей».

* * *

На производственном совещании она выступила и заявила, что называть новый сорт именем Хрущева не стоит, он сам выступал против культа, зачем же нам опять создавать культ. Стали спорить, переругались. Назавтра сообщение — Хрущева сняли. Ее вызвали в дирекцию, осторожно выясняют — значит, она информирована. Откуда? Она посмеивается. Ничего от нее не добились. Выдвинули. Повысили. И пошла она в гору.

Энгельс, стоя на страже материализма, осуждал Ньютона за его постулат божественного первого толчка.

В Вестминстерском аббатстве, стоя у могилы Ньютона, я вспомнил, как нам в институте лектор с удовольствием цитировал Энгельса: «Ньютон это индуктивный осел». Что это за животные, мы не знали, но Энгельс был велик и неопровержим. А что такое Ньютон, его даже не было в Советской Исторической энциклопедии. А на памятнике было начертано: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов... Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого».

Неизвестный автор нашел правильное определение — разум божественный. В самом деле, заслуга Ньютона ни много ни мало состоит в том, что он открыл нам устройство мира. Разум для этого требовался воистину божественный. Недаром знаменитый английский поэт Поп писал:

*Природы строй, ее закон
В извечной тьме таился,
И Бог сказал: «Явись, Ньютон!»
И всюду свет разлился.*

Открытие Ньютона всегда казалось непостижимым. До сих пор оно изумляет. Немудрено, что его озарения кажутся превыше человеческого разума, единственное, что приходит в голову, — они даны свыше, они божественного происхождения.

Александр Поп был современник Ньютона. Это интересно, современникам оценить значимость гения, его масштабы в истории науки, в искусстве нелегко, но величие каким-то образом ощущается безошибочно. Так было с Моцартом, Бахом, так было с Пушкиным, недаром в некрологе о нем Жуковский написал: «Солнце русской поэзии закатилось». Солнце, оно одно. Ньютон тоже был солнцем, недаром спустя 250 лет академик Вавилов считал, что без Ньютона наука развивалась бы иначе.

Рядом с Ньютоном были погребены и другие ученые: В. Томсон, Ч. Дарвин, Д. Максвелл, Уильям Гершель, Джон Гершель — все великие, замечательные, но не «божественные».

Как-то мне пришлось читать небольшой курс лекций в Политехе и потом вести семинар. Один из студентов, отвечая, пояснял ньютоновский закон всемирного тяготения как простенькую модель — планеты ходят вокруг солнца, как козы на привязи. Очевидная система. Помню, как раздражала его самоуверенность. Он снисходительно удивился, чего я так нахваливал Ньютона.

— На привязи, — сказал я. — А привязь где? Где веревка? Ее-то нет. Что же притягивает планеты к солнцу? Тяготение — где оно? Чем оно действует?

Помню, как я навалился на этого парня, пусть объяснит, что есть тяготение, чем оно действует сквозь миллионы километров.

* * *

Кажется, в Ульяновске, в танковом училище, я услышал и запомнил: «Есть два рода офицеров, одни — перед которыми парадным строем идут

солдатские сапоги, другие — перед которыми идут солдатские сердца».

«МОИ ГОДА — МОЕ БОГАТСТВО»

Жизнь, прожитая моим поколением, испытала Великую Отечественную войну, а еще финскую, войны афганскую и чеченскую. И особую, «холодную», весьма, между прочим, тяжкую войну. Она сопровождалась множеством кампаний. Борьба с преклонением перед Западом, борьба с космополитами, с абстракционистами, с формалистами в музыке. «Убийцы в белых халатах» — это кампания против врачей. Борьба с вейсманистами-морганистами. Все кампании так или иначе касались меня, родных, близких.

Мы захватили остатки «Большого террора», это в школьные годы, а в зрелые хлебнули «Ленинградское дело». Каждая кампания — это не идеологические споры, увы, это инфаркты. Выгоняли с работы, высылали. 1937, 1949–50, 1951, 52-й, 53-й — без перерыва, дата за датой. Скрывали, что отец священник, есть родственники за границей, спрашивали национальность, происхождение — кулаки, дворяне, фабриканты.

Уникальная по насыщенности была эта жизнь. События следовали одно за другим и все исторические, все огромные, чего стоит распад Советской Империи.

* * *

Норвегия. 2007 год. Поднимались на ледник. Идут в гору сотни людей. Старые, молодые. Нескончаемый поток с утра до темноты. Ледник старый-пре-

Все было не совсем так

старый. Позеленел от древности. Все здесь тысячелетнее, и водопады, и камни. Заботливые указатели... Но что меня поразило больше всего. Больше этих величественных гор, цепких кустов, фиордов. Поразили туалеты. Всюду, в каждом, безукоризненная чистота. Бумага, мыло, горячая вода. Публичный этот туалет сохраняется в абсолютной чистоте в течение всего дня, несмотря на тысячи посетителей. Каким образом это достигается, не знаю. Наверное, не только услуга, но и люди. Разноплеменные туалеты — показатель культуры и учреждения и народа.

Кладбища и туалеты — два типичных для каждой страны объекта.

* * *

Искусство древних греков соблюдало две заповеди — «нужна прежде всего мера» и «ничего лишнего».

* * *

У нас если не могут сделать лучше — делай больше, выше, ярче. Наша архитектура жлобская, и бизнес жлобский.

* * *

Памятник Рентгену, доска Эйлеру, улица Бармалева, бывшая Халтурина, Малая Дворянская, Заячий остров и т. п. — это все следы той истории, которой нет в книгах.

* * *

Шпагой для дуэли он действовал лучше, чем мечом для битвы.

Его можно расширять, наполнять и наполнять, если вглядываться в него, в то, что дает нам небо, река, ветка.

Каждое мгновение полно событий и смысла. Будущее не имеет этого, оно ненаблюдаемо, прошлое упущено, пропало, замечать можно только настоящее:

*На мокрой ветке
Иволга щебечет,
И чайки плавают
У островка.
Цветы совсем поникли
В этот вечер,
И стала беспокойною
Река.
Седой старик —
Варю вино из проса.
Стучится дождь
У моего окна.
Я на судьбу
Не взглядываю косо:
В уединенье
Слава не нужна.*

(перевод А. Гитовича)

Писал это Ду Фу, один из двух величайших поэтов Китая. Вторым был Ли Бо. Они жили в одно время, в 700—770 годы. Стихи Ду Фу вновь и вновь переводятся. Они предельно просты, поэтому так

трудны для перевода и так значимы. Ни метафор, ни сравнений. Описание. Редкие звуки. Мир тот, что видит глаз, не больше нескольких предметов.

Одиночество. Покой. Все это видеть, слышать достаточно для полноты жизни. Даже в переводе из этого описания обыденных вещей вдруг каким-то непостижимым образом возникает поэзия. Поэзия, в которой ничего не может устареть, так же, как не стареет дождь и пение иволги.

* * *

Из записей кинорежиссера И. Е. Хейфеца во время работы над сценарием по «Блокадной книге».

«Обычное (смерть) не страшна, она — быт! Явь, как сон, а сон, как явь. Сны про хлеб, про буханки, которыми выложена улица... Дети-старички и старики, впавшие в детство. Привычная стеснительность, интуитивные отношения смещены, люди теряют ощущение пола, моются в общей бане, мочатся и испражняются на глазах друг друга.

Делят ломтик хлеба, и это длительный с подробностями, многозначительный *ритуал*, потому что значение этого ломтика равно значению жизни и смерти... Смерть, трупы, напротив того, *обычны*... Начинается самое многообещающее для фильма — все наоборот, сдвинутый с орбиты мир души. Мраморные статуи лежат, как тела мертвых, на снегу, рядом с упавшими людьми, такими же белыми и холодными, как эти статуи. У статуй по классической традиции слепые без зрачков глаза, приоткрытые рты. Кажется, они беззвучно зовут».

МОЛИТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Все было не совсем так

«Господи! Я старею и скоро стану стариком. Удержи меня от фатальной привычки думать, что я должен что-то сказать по любому поводу и в любом случае. Упаси меня от стремления выправлять дела каждого. Сделай меня думающим, но не нудным, полезным, но не властным.

При запасе моей мудрости кажется обидным не использовать ее целиком, но я хочу сохранить хоть несколько друзей к концу жизни.

Сохрани мой ум от подробного изложения бесконечных деталей. Опечатай мои губы для речей о болезнях и недомоганиях. Они возрастают, и любовь повторно рассказывать о них становится с годами все слаще. Я не смею просить милости не наслаждаться рассказами о болезнях других, но помоги мне сносить их терпеливо.

Я не смею просить об улучшении памяти, но лишь о возрастающей человечности и о меньшей самоуверенности, когда кажется, что моя память столкнулась с памятью других. Преподай мне блистательный урок того, что и мне случается ошибаться.

Сохрани меня разумно приятным: я не хочу стать святым — некоторые из них слишком трудны для совместной жизни; но и кислые люди — одна из вершин творения дьявола.

Дай мне возможность видеть хорошее в неожиданном месте и неожиданные таланты в людях и дай мне силы сказать им об этом».

(«Морфолоджи», 1975)

* * *

Чего только не пели, орали во весь голос, не вдумываясь в текст, важна мелодия и те, кто рядом, а рядом такие же охламоны:

*Где бы я ни был,
Что бы ни делал —
Перед родиной вечно в долгу.*

Считалось, что это вдохновляет.

* * *

Будучи в Париже в 1988 году, я уговорил Фиму Эткинда поехать к художнику Олегу Цингеру. Он жил где-то в предместье Парижа. У Фимы была машина, было любопытно, и долго уговаривать его не пришлось.

Олег Цингер был другом Тимофеева-Ресовского, моего Зубра, мы с ним переписывались. Время от времени он посылал мне свои рисунки и настойчиво приглашал к себе. Однако речь не об этом. А о письме после моего возвращения в Питер. О самом Цингере надо рассказать отдельно, и человек интересный и сюжет, связанный с ним, да и визит наш был удачным во всех отношениях. А вот письмо Фимы для меня имело особое значение. В Париже я встретил в тот раз настороженность среди эмигрантов последней волны. Из нашей встречи с Викой Некрасовым ничего хорошего не получилось. А ведь мы были давними друзьями. Не нравилось мое участие в советской жизни, меня, например, избрали делегатом XIX Партконференции. А мне было интересно побывать там,

послушать. Любопытство донимало меня всю жизнь, заставляя повсюду глазеть, слушать, бывать. В эмиграции многое видится по-иному.

Ефима Эткинда, крупнейшего переводчика, литературоведа, вынудили эмигрировать из СССР самым похабным образом, впрочем, так же как и В. Некрасова и многих других в ту пору. Там было свое разномыслие, свои направления.

Вот что писал мне Е. Э. в письме от 20.12.88.

«...У меня со всех сторон уходят друзья — нет, не одни в никуда, а другие в князья, а просто — в никуда. В князья это не так горько. Вот ты — вроде в "князья" угодил, а никуда не ушел, и не уйдешь. Удивительно ты верен себе, своей жизни и тем людям, которые ее составляли и составляют. Встречу с тобой я ощутил как возвращение к дорогому мне прошлому и, оказывается, оно живет и в настоящем».

Я обрываю цитату, мы с ним никогда не выясняли отношения, как-то не принято было, тем более среди фронтовиков, ныне же когда Фимы уже нет, я стал цитировать письма, и вдруг слова его обожгли.

* * *

Первая книга была толстая, переплет обклеен мраморной бежевой бумагой, корешок, тисненый золотом. Неизвестно, как называлась, я еще не умел читать. Когда научился, у нее уже не было ни переплета, ни титульного листа. Наверное, эти детали я считал ненужными. Главное были картинки. Шли караваны верблюдов, англичане были в пробковых шлемах, индейцы зачем-то в перьях.

Картинки помогали разыгрывать приключения. Для фантазии что-то надо было — иногда малость — узор на обоях... Впоследствии я искал эту книгу. Сколько раз у букинистов, роаясь в развалах, я знал, что сразу узнал бы ее. Вместе с ней появился бы наш диван, синяя обивка... Из-за этой книги я стал помаленьку читать. Откуда-то были астрономические атласы. Там звезды соединялись в фигуры Стрельцов, Лебедя, Близнецов, Пегаса, Медведиц. Оказалось, что небо населено фантастическими существами. Ночью я вставал, вглядывался в небо. Никто не мог мне объяснить, почему в атласе они соединены в рисунок, а в небе рисунка нет. Звезды мерцали, подтверждая, что небо живое, там должно что-то происходить. Окажись среди семейных знакомых астроном, он мог бы поддержать интерес мальчика... Угасших интересов было немало, как у каждого ребенка.

Среди книг детства впечатление произвели две совсем разные: «Синяя борода» и «Робинзон Крузо». Потом «Гулливер», но больше — в стране Лилипутов. В руки попала «Капитанская дочка» Пушкина. Ее я много раз перечитывал, знал куски наизусть. Спустя годы, то же самое произошло с моей дочкой, только она влюбилась в «Трех мушкетеров» и могла наизусть шпарить подряд с первой страницы. Есть какая-то потребность у детей заучивать любимое, всегда иметь при себе, как бы присваивать точно любимую игрушку.

Страсть к чтению, чтению торопливому, «глотанию» без разбора появилась позже, в студенческие годы, а в школьные были стихи. Есениным отболел быстро, стал выписывать себе в блокнот Тихонова:

*Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавке покупать
За медный мусор — золото лимонов.*

Или

*Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь мелкий камень прорастали горы...*

А еще —

*Но раздумья крупной солью
Я веселье посыпал,
Потому что веселиться
Мог и сорванный листок.
Потому что поселиться
В этом крае я не мог.*

Какие-то строки врезались в память... Перед войной вышла книга стихов Вадима Шефнера, там было:

*Но ни с каких вокзалов
В минувшее не ходят поезда.*

Почему-то эти слова сопровождали меня всю войну.

В Союзе писателей я чувствовал себя белой вороной. Люди здесь знали Горация, Пруста, Лажечникова, Тагора. Писателей новейших, древних, японских, они высказывали среди разговоров, их цити-

ровали: «Как сказал Глеб Чепонский», «Помните старика Шекра у Стерна, как там заводят часы?» Я не помнил ни старика, ни Стерна. Почитать их всех, как-то соответствовать было дело безнадежное. Не догнать. Даже классиков и тех не осилю. Вдруг мне пришла в голову: «А Пушкин ведь не читал Достоевского? А Достоевский Чехова не читал, а Чехов Шолохова — и что с того?» Соображение сие сильно утешило меня.

* * *

Жила-была старая женщина, жила бедно, на пенсию. Дети разъехались, кто куда. Все деньги ее уходили на квартплату, не хотелось обменивать квартиру, где прожито столько счастливых лет. Но вот однажды соседи сверху упростили ее принять на сохранение их вещи. Опасаясь описи. Она согласилась. Потихоньку перенесли ей ковры. Расстелили. Повесили гобелены, роскошную люстру, картины. Все разместили понатуральней. И зажила она среди роскошной обстановки. Покоя лишилась. Прошел год, второй. Привыкла. К ней ходят ее подружки, любят. Получила наследство, как уверила она. Ей говорят: продай что-нибудь, что ты живешь на овсянке, голый чай пьешь. Она только отмахивалась. Но вот что интересно — вошла во вкус, стала получать удовольствие от картин, старинных ваз, чего-то читала про этот антиквариат.

* * *

Честертон в «Книге Иова» обратил внимание на то, что Иов страдал не потому, что он хуже других, а потому что он лучше.

«Ведь только дай человеку подумать, что преуспевание награда праведности, он тут же погибнет, — писал Честертон. — Если преуспевание награда праведности, значит, оно — свидетельство праведности. Слишком трудно награждать успехом хороших людей».

ЦЕНзуРА

Нашел вырезку из «Московских новостей», услужливо присланную кем-то. Позабывтая неприятность, обычно подобное я выкидывал, а эта случайно затерялась среди бумаг. 1990 год, июнь, свидетельство генерала О. Калугина:

«Не так давно на партактиве одного из подразделений КГБ под гром аплодисментов осудили Рыбакова, Шатрова, Гранина как отщепенцев, превозносящих предателей и ползучую контрреволюцию».

Ничего себе, формулировочку приклеили. Уж не помню, как я тогда воспринял, но поскольку не впервой, то была закалка, такая у нас работа, ты им спуску давать не хочешь, и они тебе не дадут.

Тот же Олег Калугин позже написал в журнале «Новое время», что когда он был первым заместителем Ленинградского КГБ, происходило прослушивание телефонов — Товстоногова, Лихачева и Гранина.

Чего они там боялись, забавно вспоминать, какие это были трусливые учреждения — обкомы, райкомы и страшное КГБ с его огромным аппаратом, техникой, сетью агентов.

Все письма, какие я получал из заграницы, приходили вскрытыми. Изредка на конвертах стоял бледный лиловый штамп: «Получено в поврежденном виде». Остальные были надорваны, вскрыты без объяснений.

Пропагандистам города на инструктажах сообщали в 1989–1990 годах, что Гранин — один из самых богатых людей в СССР. В памятках агитаторам опубликовали цифру моего гонорара «в феврале, например, он получил столько-то тысяч». Это был гонорар за три года работы над «Блокадной книгой».

Бессмысленно было жаловаться партийным начальникам на их подручных. Люди, как правило, малокультурные, лживые, они терпеть не могли интеллигенцию. Может, и попадались среди них порядочные, например, в горкоме работал Виктор Лопатников — исключение, белая ворона. Секретарь обкома Борис Андреев, в войну он был награжден двумя орденами Славы. Такую награду заработать было нелегко. Парտработа лишила его смелости, стал приспособливаться, повторять чужие слова, стал мне однажды доказывать, что «Зубр» на самом деле книга не про Тимофеева-Ресовского, а про Сахарова, так я тайком прославляю этого антисоветчика. Он не позволял ничего самостоятельного, сразу бы вылетел за пьянство, держали, потому что был управляем.

Федя Абрамов советовал — сходи к первому, попроси себе, допустим, машину, они любят, когда их просят, потом благоволят к тем, кому оказали услугу, он вот попросил себе квартиру — и получил. Мне не хотелось, я был «не их». Понятие не-

определимое — «свой», «не свой». Я был всем им чужой. Феде тоже не совсем свой, но и не совсем чужой. А вот Лихачев, Товстоногов, Кушнер, Горбовский, или Твардовский, Панова, Берггольц — для них «не наши». Граница не анкетная, но четкая. Не оппозиционность, тут другое — чужой, интеллигент, внутреннее неприятие, оно уходит в родословную — он из раскулаченных, из репрессированных, из «врагов народа». Власти наши, слава богу, наготовили себе и обиженных, и ненавистников. Интеллигентность вызывала у них всегда аллергию, оба эти сословия нюхом, безошибочно ощущают друг друга.

* * *

«Вот вы восторгаетесь гением Пуанкаре, а между прочим, когда он умер, он оставил человечеству больше нерешенных проблем, чем когда он появился».

«Вы, ученые, умеете быть нужными всякой власти. Знамёна меняют, а вы остаетесь в первых рядах».

(Из читательских писем)

* * *

Нильс Бор был невысокого мнения о себе, никогда не требовал почитания, шуточки в его адрес его не обижали, его не занимала проблема самолюбия.

А. П. Чехов относился к себе и к своему творчеству иронично, никогда не считал себя классиком, свои рассказы — явлением, имеющим долгий успех. «Меня будут читать еще лет восемь от силы», — писал Чехов Суворину.

Самоирония свойственна многим гениям, хотя другим в такой же мере свойственно понимание, причем твердое, своего величия — «я памятник себе воздвиг...» Тут и Пушкин, и Маяковский.

Самоирония — одно из самых симпатичных качеств художника.

* * *

Основные психотипы нашей жизни:

1. А что, мне больше всех надо?
2. А что я могу один?
3. Все равно ничего не изменишь.
4. Чем хуже, тем лучше.
5. Лучше я, чем какой-нибудь подонок.

* * *

«Ненавижу Сталина за то, что стал трусливым, за то, что столько лгал, задушил свою совесть, предал себя, перестал думать, за все мои подлости, от которых корчусь до конца своих дней. За то, что должен помалкивать, когда говорят о том времени».

* * *

— Мама, почему «кака» можно говорить, а «говно» нельзя, если это одно и то же?

* * *

Не огорчайся, что ты пессимист, завтра может оказаться, что ты был оптимистом.

Время позади нас, время впереди нас, только с нами нет его.

(Китайцы)

* * *

Изданный роман может существовать без автора, но не без названия.

РАССВЕТ

Есть промежуток, когда появились первые краски рассвета, когда только разгорается, когда на западной половине еще ночная мгла — а теней еще нет, даже самых первых. Светлеет, светлеет. И все без теней, их приведет с собою солнце. Зато при закате тень маленькой березки растет, переправляется через реку, через луг и подбирается к лесу.

* * *

— Вы, писатели, как назначил Чехов, существуете для того, чтобы выдавливать из нас раба. Не только из русского человека, этот раб в каждом народе держится. Возьмите немца. Он верноподданный, ни на шаг от приказа. А нашему брату указ не закон, указ — команда, сказал царь Петр: «Я вам зубы рвать буду» — пожалуйста, все разом рты раскрыли.

* * *

Кто-то из стародавних ученых заметил, что самая справедливая власть и самая жестокая — это

Природа. Ее законы никому не дают поблажек, ее нельзя упростить, подкупить, ее не перехитрить. Нарушишь ее законы — и наказание будет неминуемо.

* * *

Я мечтал стать ученым, стал работать в лаборатории у создателя регулятора частоты, фамилия его была Остров. Работали мы в «Ленэнерго». Он был всполошенный, сумбурный мужик, но с хорошим чутьем. Регулятор все чаще начинал вести себя осмысленно, хотим сообразить, куда и как его подправить, а он уже исправился. Потом Острова забрали военные в какую-то спецлабораторию. Я остался один, было интересно действовать самому, все эти проволоочки, стрелки превращались в думающие существа.

Наука занимала меня все больше. Электрические сети, подстанции были все же инженерным занятием. Эксплуатация не требует особого творчества, но появлялись и там щели, сквозь них шел не свет, а тьма, непонятные явления. Нам преподавали то, что наука выяснила, ее результаты, а не рассказывали про ее тупики и ловушки, про загадочные явления. То и дело появлялись странности в параллельной работе трансформаторов. Мастера устранили их «на ощупь». Мы толком не знали, как пробивается изоляция в кабеле, как возникает дуга...

Совмещать исследования с инженерной работой не получалось. А тут еще мешала литература. Я писал по ночам, тайком от самого себя рассказы. Ну это уже другая история.

В последние годы выяснилось, что Владимир Николаевич Орлов в своих работах о А. Блоке использовал рукопись Иванова-Разумника. Его арестовали, подготовленная к печати книга о А. Блоке каким-то образом попала к Орлову, и он брал оттуда материалы без ссылки. Конечно, ссылаться на «врага народа» Иванова-Разумника он не мог, не пропустили бы, но получилась неловкость, плагиат.

Подобное было и у Бурсова в его книгах о Достоевском, он тоже цитирует без кавычек, без ссылок, так что считается текст его собственный.

Сколько авторов русских было использовано, по сути, обворовано, оттого, что находились под запретом, были недоступны рядовому читателю, хранились в спецхранах Бердяев, Флоренский, Шестов, Франк и т. д. В запасниках Русского музея скрывали картины Малевича, Шагала, Григорьева, Филонова, Лисицкого. И как скрывали, доступ в запасники был так же прегражден, как в атомный арсенал. Я попал туда под величайшим секретом, дав клятву, что никому, никогда...

Но все же как относиться к литературному «плагиату»? Благодаря ему кое-что из философского и литературоведческого наследия становилось доступным.

ВЕНЕЦИЯ

Меня пригласила во Флоренцию организация под названием «Мизерикордиа», что переводится

как «Милосердие». В письме было сказано, что Общество это существует с 1244 года. С такими датами я еще не общался. Пригласили они меня как руководителя питерского Общества «Милосердие», которое существовало только два с половиной года. Такой стаж не мог вызвать у них интереса, но и дело, оказывается, не в стаже, а в том, что наше Общество было первым в России, извините, тогда был еще Советский Союз. Короче говоря, вскоре наша делегация прибыла во Флоренцию. Несколько дней нас знакомили с работой итальянского Общества. Насколько я понял, им в свою очередь было интересно и удивительно узнать, как могло в стране ГУЛАГа, тюрем, возникнуть Общество милосердия, организация самостоятельная, не государственная, не финансируемая ни церковью, ни властью, не казённая.

Рассказ о «Мизерикордиа» особый. Мне же хочется о другом, о том, как мы вдвоем с руководителем кардиналом Франческо Джанели поехали в Венецию. Он спросил, что бы я хотел повидать в Италии. Я сразу назвал Венецию. Я уже бывал во многих итальянских городах, и всякий раз Венеция не выпадала. Меня отговаривали — не сезон, зима, Венеция не выглядит, это летний город... Но ничто не могло мне заменить Венецию. Если ехать, только туда.

Степень гостеприимства хозяев показала дорога. Шел снег, тяжелый, мокрый, густой, машина шла на перевалах с трудом, мы добрались до города под вечер и сразу отправились гулять, на машине в самой Венеции не поедешь.

Снегопад продолжался, он не мог удержаться на теплых камнях, на воде каналов. Но и фонари

не могли разогнать метель. Бистро, таверны, лавочки разом появлялись из белесой туманности и разом исчезали. Улицы, лишённые дали, были прозрачны, ни машин, ни светофоров, ни прохожих, безлюдность делала город нереальным. Живой и неживой. Кардинал сам никогда не бывал в зимней Венеции, он устал за рулем и ходил с удовольствием. Мы вместе воспринимали зимнюю Венецию как нечто фантастическое. На мостике парочка в белых венецианских масках пила из пластмасовых стаканов кофе. Петербург тоже бывает прозрачным, но в его пейзажи включены прохожие, трамваи, городской шум.

Эта Венеция была неслышной, как снег. Я купил тоже белую маску Пьеро с блестками, словно усыпанную снегом. Надел ее. Франческо сказал, что это типично венецианская маска, если я буду ходить в ней в Ленинграде, подумают, что я венецианец.

Я не стал говорить ему, что подумают мои горожане. Мы зашли в кафе. Согрелись. Я выпил кофе. Кофе был дрянной, но горячий, еще мы взяли по стаканчику граппы и окончательно расслабились.

* * *

Появлялись ли в Советской России гении? Появлялись, и немало, такова уж природа России. Список велик, но есть в нем одна особенность. Сахаров, Лихачев, Королев, Раушенбах, Тимофеев-Ресовский, Николай Вавилов, Капица, Маяковский, Мандельштам, Есенин, Тарковский, Шостакович, Бродский, С. Прокофьев, Шагал, Малевич, Платонов, Ландау...

Россия на удивление богата талантами. Они появлялись, несмотря ни на что. Стоило им обозначиться, как их сажали, ссылали, травили, либо просто уничтожали. Никому не досталось нормальной, благополучной жизни. Славу от своего Отечества выдавали после смерти. Власти не просили извинения ни у Королева, ни у Сахарова, ни у Бродского за тюрьму, ссылку. Она наделяла их трагедиями, несправедливостью. Мало кому досталось при жизни положенное признание. После смерти ими хвалились, они становились нашей гордостью. Обидно.

В БОЛЬНИЦЕ

Врач говорила со мною таким тоном, когда не ждут ответа, как говорят с собаками.

* * *

8.1978

Довольно точной эпитафией отмечена была повесть Валентина Катаева «Алмазный мой венец»:

*Из десяти венцов терновых
Он сплел алмазный свой венец.
И стал он гением из новых,
Завистник старый и подлец.*

Обыватели от повести в восторге. Писают кипятком. Все отгадывают — кто есть кто? Милая игра.

— А кто эсекс?

— Я всех отгадала.

— А колченогого?

— Это такой-то.

— Ну точно, я так и думал.

Эрудиты. Приобщились. Узнали закулисную жизнь писательскую. Кто еврей, кто плагиатор, кто с кем жил — о-очень интересно! И ведь не сплетни, не слухи, а достоверно, все приоткрыл очевидец, нам сообщил знаменитый писатель, какие они, оказывается, тщеславные, корыстные, какие трепачи, неврастеники и т. п. Очень приятно, они хуже нас, оказывается.

Что может быть слаще узнать всякие пакости про талантливых людей.

Мандельштам — он сам накликал свою судьбу.

Пастернак — это плагиатор, вот вам улики.

Зощенко — тщеславный маньяк.

Ильф и Петров — эти написали то, что им заказал автор, то есть Валентин Катаев.

Зачем Катаеву это, он ведь талантлив, бесспорный яркий талант. Как-то я спросил его — почему у вас так много метафор, сравнений? Он сказал — не могу удержаться, знаю, что чересчур, так ведь прет не считаясь.

Так, наверное, прет из него и пакость.

Тая Григорьевна Лишина знала его по Одессе. «Бандит!» — говорила она. В «Окаянных днях» И. Бунин записал: «Был Валентин Петрович Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: за 100 000 убью кого угодно, я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Это было 25 апреля 1919 года. Было ему, Катаеву тогда 23 года. Он добился чего хотел. Получалась причудливая смесь приспособленчества, славословия, искренности, любви

к зависти и во всем этом талант; кланялся, клеветал, врал, а все равно талант; время многое у него повычеркнуло, а какие-то вещи его опять выталкивают на поверхность, и морщишься, и наслаждаешься.

* * *

Дау кому-то из физиков:

«Если б ты написал в 10 раз меньше, то был бы гениальным физиком».

* * *

В 1926 году Малевичу удалось вывезти за границу большое количество своих полотен и разместить их в музеях Запада. Он быстро стал известен и одновременно стал запрещен здесь, на родине. А те, кто вроде Филонова не хотели или не сумели отправить картины свои за границу, десятилетиями оставались не известными широкой публике, томились в запасниках.

Можно назвать немало замечательных русских художников, которых Запад принял и широко выставлял, вроде Серебряковой, Ларионова, Добужинского, Бенуа, Гончаровой, Чехонина. А теперь они составляют гордость нашего русского искусства.

* * *

Маленькое, красное, земляничное личико.

* * *

Бунин писал в 1918 (?) году:

«Какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников ста-

ринного (ядрёного и сочного) народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуоряющих своей архирусскостью!

Последнее начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, "слова золотые" и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно».

То же самое творится и спустя девяносто лет, надо только добавить к литературе — радио, телевидение и Интернет.

* * *

Действительно, какой же он праведник, если он получает за это награду.

* * *

Как-то в одном доме зашла речь о человеке знакомом мне в молодости. В моей молодости, тогда я увлекался небожителями нации — физиками. Он был среди них талантом и внешне был хорош, обаятельный, веселый, неслучайно его выдвинули заместителем директора знаменитого Физико-технического института. Судя по всему, его ожидало блестящее будущее — звание академика, должность директора, а может и выше.

Однако шли годы, имя его упоминалось все реже. Странно, что-то видно случилось. История,

которую мне рассказали, показалась любопытной. Сводилась она к тому, что он влюбился в свою жену. Чем дальше, тем больше он увлекался ею. Или своей любовью? Спешил домой, хотелось все время проводить с ней, признаваться, что с ней все интереснее, никак не мог насытиться ею. Писал ежедневно ей письма, сочинял ей стихи, фотографировал ее. Можно ли было совмещать это с работой? Наверное. Но, судя по всему, он не хотел, ему хотелось все силы души отдавать ей, он был счастлив и до конца своих дней нисколько не жалел об этом. А она? Она пережила его надолго, но ею никто не поинтересовался. Можно ли считать его жизнь ущербной? Женщина предназначена для любви, мужчина же... А собственно почему? Человек, любой, предназначен для счастья, вот для чего, это наше божественное предназначение. Было предназначением, пока не случился первородный грех. Но предназначение ведь осталось. Устраивало ли ее все это, его несостоявшаяся карьера?..

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, немыслимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представления о сияющем лике Победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожно перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было соорудить пирамиды, как на

верещагинской картине. Цепь пирамид — вот приблизительный памятник нашей Победе.

В «Блокадной книге» мы с Адамовичем написали цифру погибших в блокадном Ленинграде — «около миллиона человек». Цензура вычеркнула. Нам предложили 650 тысяч — количество, которое дано было министром Павловым, она оглашена была на Нюрнбергском процессе. Мы посоветовались с историками. Валентин Михайлович Ковальчук и его группа, изучив документы, определили — 850 тысяч. Жуков в своих мемуарах считал, что погибло «около миллиона». Дело дошло до главного идеолога партии М. А. Суслова. После многих разборок в обкоме партии, горкоме, было дано указание: 650 тысяч, «не больше». Утверждали люди, которые не воевали, не были блокадниками, у них имелись свои соображения. Павлов заботился о своей репутации, он «обеспечивал» город в блокаду продуктами. Суслов хотел всячески сокращать потери войны, дабы не удручать картины. Теперь, когда война кончилась, они стали уменьшать потери, хотели украсить Победу. В войну потери никого не интересовали. После войны Сталин и его подручные выдали для истории цифру 7 миллионов. Что сюда входило, не раскрывали. Как бы и фронтовые потери, и на оккупированных землях. В Энциклопедии Великой Отечественной войны вообще слова «потери» нет. Не было потерь, и все.

Затем в 1965 году, во времена Брежнева, цифра потерь скакнула до 14 миллионов. Еще несколько лет, и разрешили опубликовать 20 миллионов. Следующую цифру военные историки называли уже спу-

стя четверть века — 27 миллионов. Опять же обходя всякие расшифровки.

Ныне говорят о 30 миллионах.

Пример ленинградской блокады характерен. Даже добросовестные историки не учитывают погибших на «Дороге жизни», в автобусах, что уходили под лед, и тех, кто погибал уже по ту сторону блокады от последствий дистрофии, и те десятки, сотни тысяч, что в июле, августе бежали из пригородов в Ленинград и там вскоре умирали от голода, от бомбежек «неучтенными». Потери обесценивают не подвиг ленинградцев, а способности руководителей, человеческая жизнь для них ничего не значила. Будь то горожане-блокадники, будь то солдат на фронте, этого добра в России хватит, его и не считали.

Главная у нас могила — Неизвестному солдату.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	157
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	369

Подписано в печать 15.06.2010
Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Гарнитура «AZGaramondC»
Печать офсетная. Бумага писчая
Уч.-изд. л. 18,0. Усл.-печ. л. 30,24
Изд. № ОП-10-0568-АП. Доп. тираж 2000 экз.
Заказ № 372

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
129626, г. Москва, Проспект Мира, д. 102, стр. 12
Почтовый адрес: 143421, Московская область,
Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия»,
комплекс ООО «Вега Лайн», стр. 3
www.olmamedia.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru> e-mail: sales@uralprint.ru

Даниил Гранин

ВСЕ БЫЛО НЕ СОВСЕМ ТАК

Ответственный за выпуск: *С. З. Кодзова*

Корректор: *О. В. Смушко*

Оформление обложки: *А. Ф. Щавелев*

Верстка: *А. Б. Ирашин*

Все было не совсем так



Даниил Александрович Гранин — лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей. Его имя давно уже стало символом не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Это писатель с потрясающей судьбой, наряду с талантом обладающий еще и набором лучших человеческих качеств.

Новая книга Даниила Гранина удивит читателя. В ней нет конкретного сюжета и главного героя, намеренно нарушена хронология, рассказы сменяются краткими заметками и воспоминаниями автора, смешное перемежается с трагическим, сложное — с простым. Нарушены все общепринятые нормы, но читать текст при этом — безумно интересно. Потому что из отдельных историй, мыслей и эмоций автора сложилась яркая картинка, противоречивая и неоднозначная, как сама жизнь.

ISBN 978-5-373-03322-0



9 785373 033220



ОЛМА
МЕДИА ГРУПП

www.olmamedia.ru